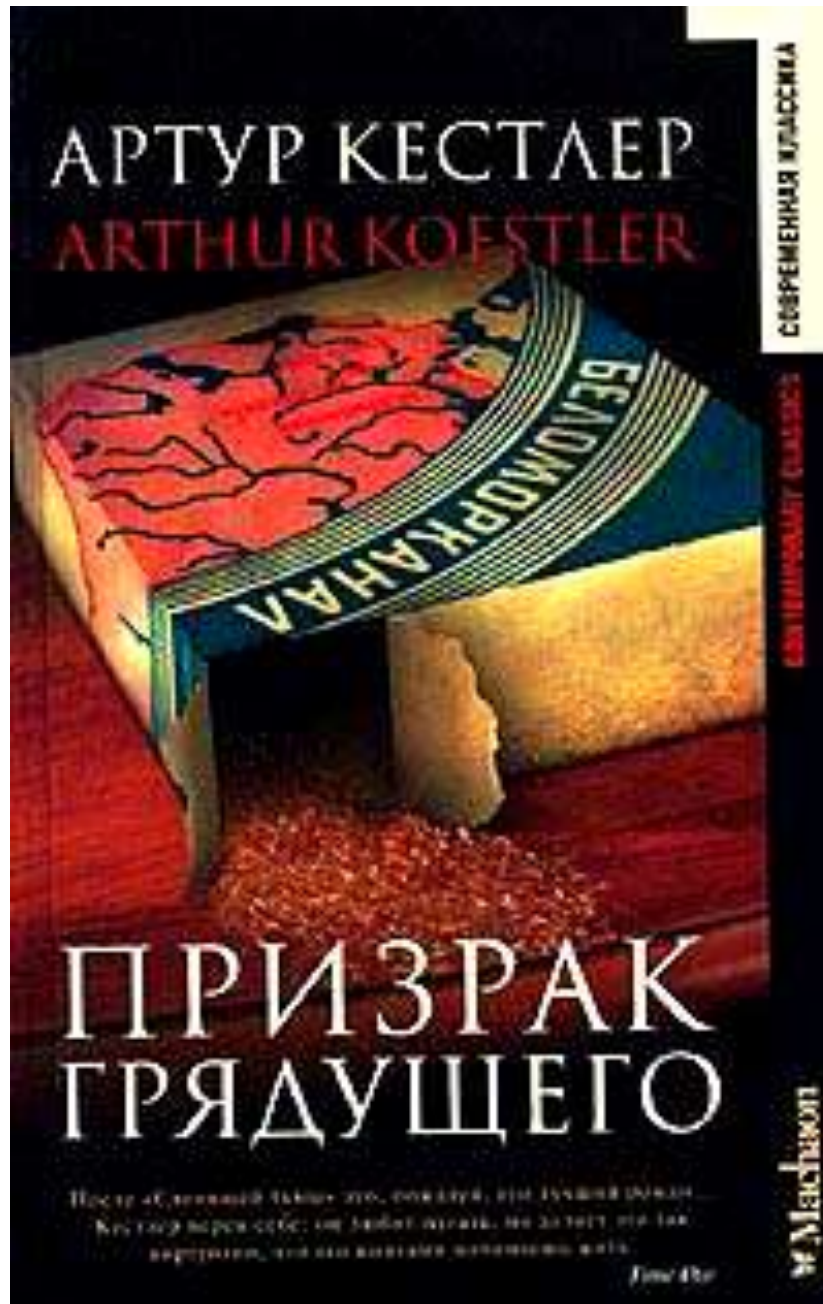


Артур Кестлер

# Призрак грядущего



*Все персонажи этой книги вымышлены, а события, описанные в ней, еще не произошли. Однако это не умозрительная ткань далекого будущего — лишь попытка заглянуть чуть-чуть вперед... или назад? Решайте сами. Интерлюдия между Частью 1 и Частью 2 может рассматриваться как глава из еще не написанного учебника истории.*

А.К

## ПРЕДИСЛОВИЕ К ВЫХОДУ КНИГИ В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «ДЭНЬЮБ»

Когда издательство «Дэньюб» переиздало мой первый роман «Гладиаторы», я написал к нему послесловие, которое начиналось следующими словами: «Романы должны говорить сами за себя; комментариям автора не следует вторгаться в отношения между читателем и его произведением, по крайней мере до тех пор, пока не окончится чтение. Поэтому я пишу не предисловие, а послесловие».

Но когда я перечитал «Призрак грядущего» спустя двадцать лет после того, как он был написан, то пришел к заключению, что и предисловие может принести пользу, напомнив читателю о политической ситуации, существовавшей в Европе в конце сороковых годов, которая и стала фоном действия романа.

Советская Россия с драматической стремительностью превратилась из союзника во врага. Холодная война достигла апогея. Сталинский террор свирепствовал, как никогда. То, что Сталин страдал паранойей, тогда все еще оставалось тайной, раскрытой гораздо позже, в мемуарах его дочери и в речах его преемника. Однако это делало жизнь на Востоке и на Западе полной непредсказуемых опасностей. В России находился на воле и пользовался абсолютной властью опасный безумец. Невозможно было предугадать, против кого он направит свой следующий удар, каковы будут новые фантастические обвинения. Заведомая абсурдность обвинений и признаний превращала все действие в тайный ритуал: граница между достоверным и невероятным была давным-давно стерта. Это был мир «1984» и тот самый период, когда был написан знаменитый роман.

За пределами России происходили не менее непредсказуемые столкновения, пожары, капитуляции и отступления. Блокада Берлина. Корейская война. Серия государственных переворотов, превративших Польшу, Венгрию, Чехословакию в однопартийные «народные демократии» (см. упоминания о «Кроличьей республике» в главе V). В Праге выбросили из окна Масарика. В странах-сателлитах прошли друг за другом чистки и показательные процессы, слепленные по единому рецепту, подобно телесериалу, поставленному лично Кафкой. Всякий раз дело кончалось ликвидацией бывших премьер-министров, героев Сопротивления, ветеранов войны в Испании: Райка, Клементиса, Сланского, Каца.

Одновременно набрало силу Движение за мир, символу которого — голубке мира Пикассо — удалось убедить миллионы простодушных людей в том, что единственный способ гарантировать мир — это признание принципов внешней политики России, а единственный путь к объединению Европы — «железные занавесы», минные поля и колючая проволока. В главе «Шабаш ведьм» описывается типичный «митинг за мир» того периода.

«Мирный Фронт» ориентировался, в основном, на прогрессивных интеллектуалов из среднего класса, в то время как свежее испеченный Коминформ принялся организовывать «революционную борьбу рабочего класса»

в Западной Европе. В Италии и во Франции (где я в то время жил) самой сильной политической партией после войны стала коммунистическая, продолжавшая свою воинственную революционную политику. В 1947 — 48 годах по этим странам прокатились волны политических забастовок и вооруженных выступлений, чреватые гражданской войной.

Страх рождает потенциальных коллаборационистов, «пятую колонну» и, самое главное, взаимное недоверие. Франция была в то время поражена этим недугом до мозга костей, за интеллигенцией приглядывали попутчики всех мастей — от дезориентированных простаков до циничных оппортунистов. Резюме ситуации содержится в изречении Жана Поля Сартра: «Если мне придется выбирать между Де Голлем и коммунистами, я выберу коммунистов». Марксистско-

экзистенциалистский журнал Сартра «Les Temps Modernes» стал ежемесячным оракулом французских интеллектуалов. Одним из его вдохновителей был профессор Мерло-Понти, сменивший Анри Бергсона в «Коллеж де Франс», который в серии статей оправдывал сталинские чистки и пакт с Гитлером «исторической необходимостью», клеймил англо-американскую политику как империалистическую агрессию и отвергал любую критику в адрес Советского Союза как косвенный акт агрессии. Статьи эти носили собирательное название «Йог и пролетарий», что было полемическим перефразированием моей статьи «Йог и комиссар», превратившей меня в глазах французских интеллектуалов в фашистское исчадие. Спустя несколько лет Мерло-Понти одумался и порвал с Сартром, как сделали до него Камю и Руссо; но в описываемое время «Шабаш ведьм» был в самом разгаре.

Послевоенный период, на фоне которого разворачивается действие романа, и похож и не похож на 70-е годы. Союз с Россией в военное время и храбрость коммунистов-маки еще были живы в памяти и оставались сильными эмоциональными доводами, эффективно эксплуатировавшимися крестonosцами Коминформа и пацифистами с голубками наперевес. Германия еще не вышла из хаоса, блокада Россией Западного Берлина еще не была прорвана, Франция и Италия переживали экономический и моральный кризис. Маоистскому Китаю, которому предстояло стать последней вершиной треугольника, еще предстояло обрести свой теперешний вид, так что внешняя политика России могла обрушивать всю свою мощь на Европу. Позднее, в 50-е годы, когда американская финансовая помощь в сочетании с зарождением Общего рынка возымела некоторый стабилизирующий эффект, триумф коммунизма в Западной Европе стал немислимым без прямой интервенции России; однако в то время, когда писался роман, вероятность такого исхода была весьма велика. Отсюда и мрачные признаки, сгустившиеся во время похорон мсье Анатоля. Это, конечно, не должно было звучать пророчеством — это предупреждение, раздавшееся в разгар сталинского террора.

Вот все различия между ранним, или классическим периодом Холодной войны и позднейшими, более сложными событиями. С другой стороны, лишний раз говорить о параллелях не приходится, они являются неизбежным производным действий все тех же идеологических и материальных сил. В тот момент, когда пишется это предисловие, стервятники, прикидывающиеся голубями, терзают очередную Кроличью республику. Однако одновременно мы являемся свидетелями еще более мрачного явления: подлинные, демократические голуби вчерашнего дня, подцепив заразу, начинают приобретать привычки стервятников.

*Лондон, февраль 1970*

## ЧАСТЬ 1

### 1. День взятия Бастилии

Полковник выпил так много вина, что, услышав свист ракеты, чуть было ни полез прятаться за парапет балкона. Его пальцы вцепились в закопченные стальные перила, глаза зажмурились, по тесно сомкнувшемуся строю гостей побежала волна от дрожи его тела. Но, почувствовав на плече твердую руку дочери, он открыл глаза и увидел, как ракета мелькнула, подобно золотой комете, среди звезд и бесшумно разорвалась, рассыпавшись в зеленую и фиолетовую пыль. Крышу Лувра осветила яркая вспышка, от зажженного на Новом мосту бенгальского огня голубым пламенем загорелась вода в Сене. Толпа на набережной восхищенно ахнула; по щеке полковника скользнула, как дуновение теплого летнего ветерка, прядь волос его дочери Хайди.

Река, черное небо, остров внизу заплесали перед его глазами, как при посадке самолета, потом замерли. Полковник Андерсон внезапно почувствовал себя протрезвевшим и совершенно счастливым. Он обнял за плечи дочь, почти не уступающую ему в росте, — стройную колонну, взметнувшуюся рядом с массивной римской статуей.

— Я только что был совсем пьяным, — сказал он на случай, если она заметила его состояние. — Никакой честный человек не смог бы выдержать четыре смены вин за один вечер. Не понимаю, как это удастся французам...

— Просто они пьют всего по бокалу каждого, а то и меньше, — сказала Хайди, не сводя глаз с фейерверка. — И у них нет язвы.

— Уж больно хорошая штука. Тем более, когда все время подливают, — жалобно проговорил он.

На перилах Королевского моста плевались искрами шесть разноцветных огненных колес. Хайди уставилась на них полуослепшими глазами. В следующее мгновение темный небосвод пронзили пять десятков ракет; взрыв — и от мансард Сите к самой Луне взметнулся чудовищный фазаний хвост.

Набережная отозвалась восхищенным гулом. Гости на балконе издали дружный сладострастный вздох; несколько молоденьких женщин взвизгнули, как дети в опасно накренившихся санках. Хайди резко повернулась, восторженно указывая рукой в сторону трех столбов разноцветного дыма, взметнувшихся ввысь от Сак-ре-Кер. Человек, стоявший с ней рядом, как раз подался вперед, и ее острый локоток угодил ему прямо в лицо. Она содрогнулась от прикосновения к чужой коже, голой и горячей, обтягивающей твердую кость, — она ударила его по переносице. Ощущение было вдвойне неприятным, так как сосед некоторое время назад окинул ее взглядом, от которого ей почему-то сделалось не по себе.

Хайди неуклюже извинилась. Жертва отвесила головой неуверенный, но достаточно грациозный поклон; но, стоило голове наклониться, как из ноздри на бритую верхнюю губу выкатилась темная капля крови. Ему было лет тридцать пять-сорок, рост чуть-чуть не дотягивал до среднего. Он был одет в голубой фланелевый костюм, слишком яркий, явно чужеземный и одновременно совершенно стандартный. Таким же чужеземным и стандартным было его открытое, симпатичное лицо славянина, круглая макушка и по-военному коротко постриженные густые светлые волосы. Книзу от висков лицо сужалось, чтобы потом вновь разбежаться в стороны широкими скулами, отчего напоминало песочные часы и имело слегка монгольские очертания. Его полные губы, явно склонные к улыбке, сейчас были поджаты. В отблеске кувыркающихся огненных колес все лица вокруг приобрели сине-зеленый оттенок, как при неоновом освещении; однако струйка крови, сбегаящая ему на губу, оставалась зловеще-алой. Еще немного — и Хайди слизнула бы ее языком.

— У вас кровь! — вскрикнула она и схватила его за руку. Грубая ткань рукава не располагала к длительному контакту.

— Ничего, — сказал человек с вынужденной улыбкой и отер кровь тыльной стороной ладони.

— У вас нет платка? — всполошилась Хайди и принялась копаться в сумочке. Секундой позже она готова была откусить себе язык, ибо увидела, что человек сильно покраснел; в отблеске фейерверка его лицо стало еще более синим. Деревянным движением он извлек платок из нагрудного кармана, вытер измазанную кровью руку, снова отвесил до смешного церемонный поклон и отвернулся. Его поведение говорило о том, что инцидент, а вместе с ним и знакомство, исчерпаны. Хайди почувствовала, что не только сделала ему больно, но и нанесла обиду. Встать к нему спиной и как ни в чем не бывало глазеть на фейерверк было теперь невозможно.

— Кровь все еще идет, — сказала она, ибо из его ноздри и впрямь бежал ручеек крови. Вместо того чтобы промокнуть ее платком, он делал вид, что ничего не замечает.

— Вам надо умыться холодной водой! — в отчаянии воскликнула она. — Знаете, где ванная? Пойдемте, я вас провожу. — Она снова взяла его за суровую руку в жестком рукаве. Сперва ей показалось, что он сейчас высвободится; но, поняв, видимо, что это будет нелепо, он сдался и последовал за ней через широкую балконную дверь в гостиную мсье Анатоля. Остальные пять-шесть гостей на балконе были слишком поглощены фейерверком, чтобы обратить на них внимание. Полковник наблюдал за сценой с ощущением неловкости; теперь же он решил, что тактичнее всего будет отвернуться и продолжить созерцание праздника.

Мсье Анатолий восседал спиной к камину, положив костыли по обеим сторонам кресла. Это было единственное удобное кресло в просторной, пышной и неудобной зале, обставленной в стиле «Людовик XV», где не было прохода от изогнутых позолоченных ножек, и где властвовала выцветшая шелковая обивка сидений с торчащими из щелей пучками волоса, напоминающими растительность, выбивающуюся из стариковского носа и ушей. Преданно охраняемый сыном и дочерью, караулящими его костыли, подобно стражникам или кариатидам, мсье Анатолий держал

речь перед небольшой группой восхищенных слушателей. При появлении Хайди, сопровождаемой ее робкой жертвой, мсье Анатолю немедленно устался на них с живостью записного болтуна; то же сделала и вся его аудитория.

— Глядите-ка! — провозгласил мсье Анатолю. — Гражданин Никитин, запоздалая жертва взятия Бастилии. Все еще льется кровь третьего сословия — прошу прощения, я хотел сказать, четвертого — революционного пролетариата, как вы изволите его называть.

Он умолк. Все присутствующие с любопытством воззрились на Хайди и Никитина.

— Несчастный случай, — сказала Хайди и покраснела. — Я просто задела его локтем.

Она знала, что это звучит неубедительно и что ей никто не поверит.

— Значит, началось! — прокудахтал мсье Анатолю. — Мировые войны всегда начинаются с таких незначительных инцидентов...

К Никитину подошла дочь мсье Анатоля — бесцветное, похожее на моль создание неопределенного возраста. Было известно, что она отказалась от замужества, дабы посвятить себя заботам об инвалиде-отце.

— Я провожу вас в ванную, — сказала она блеклым голосом.

— Ничего, — сказал Никитин. Он говорил с сильным иностранным акцентом, но впечатление скрашивал его приятный баритон, неожиданно сильно разнесшийся по притихшей гостиной. От этого его смущение только усилилось. Он помрачнел, надул губы и, неловко повернувшись к мсье Анатолю, произнес:

— Очень благодарен вам за гостеприимство, но теперь я должен уйти.

— Вы не можете уйти в залитом кровью пиджаке, — сказала мадемуазель Агнес, дочь мсье Анатоля. — Пятна можно смыть холодной водой, но только пока они не высохли. Пожалуйста, дайте это мне.

Властно, как медсестра, она взялась за его ворот. Никитин выглядел крайне раздосадованным. Он посмотрел на пятна, украсившие его новый костюм — его желтые туфли из телячьей кожи тоже были новыми и еще скрипели — и на какое-то мгновение стал похож на школьника, готового впасть в ярость. Очевидно, такого рода ситуации не были предусмотрены в курсе подготовки, который он проходил перед отправкой за границу. Мадемуазель Агнес продолжала мягко, но настойчиво тянуть его за ворот пиджака, словно перед ней был привычный непокорный пациент — ее отец; движения Никитина утратили присущую им грациозность. Он был близок к панике. Хайди снова схватила его за рукав.

— Да вы посмотрите, — сказала она, — остальные мужчины тоже без пиджаков. Очень душная июльская ночь.

— Верно, — каркнул мсье Анатолю, — закатывайте рукава, и дело с концом. — Он подхватил костыль и прицелился его резиновым наконечником в Никитина. Никитин грубо стряхнул руку Хайди со своего рукава и отдал пиджак мадемуазель Агнес.

— Вот-вот, — кричал мсье Анатолю, размахивая костылем. У него были сильные руки и широкая грудь, как у всех стариков, увлекавшихся в юности фехтованием и имеющих на счету не одну дуэль в Булонском лесу. — Бросьте вы это! Мы штурмовали свою Бастилию два века назад — а вы строите новые крепости под звуки революционных гимнов. Что же, вся наша работа идет насмарку? Подойдите поближе и объяснитесь.

Никитин поклонился. Он вновь обрел самообладание и сумел вежливо улыбнуться мсье Анатолю.

— Народ моей страны восхищается Французской революцией, — сказал он, тщательно подбирая слова. — Мы продолжаем ее дело, стремясь завершить его.

Оставшись в рубашке, туго обтянувшей его прямые мускулистые плечи, он выглядел отлично. Лицо его было простым и прямым, без тени коварства. Только его слегка раскосые серые глаза поражали полным отсутствием выражения: зрачки поглощали свет, но не испускали ровно ничего.

взамен. Обращаясь к мсье Анатолю, он повернулся к Хайди спиной, и она разглядела на его бритом затылке широкий шрам. Мадемуазель Агнес тихо выплыла из комнаты с перекинутым через руку пиджаком. Из кармана выскользнула записная книжка Никитина и беззвучно легла на ковер. Присутствующие были увлечены беседой и толпились вокруг кресла мсье Анатоля, и лишь Хайди стояла в одиночестве, мучаясь угрызениями совести. Увидев записную книжку, она подобрала ее и шагнула к остальным, намереваясь вернуть ее владельцу. К этому времени он полностью пришел в себя и отвечал мсье Анатолю коротко и точно своим приятным, несмотря на сильный акцент, голосом. Неужели опять тянуть его за рукав, чтобы отдать книжку? Стоя к ней спиной, он казался неприступным. Он был с ней груб, только что он стряхнул ее руку со своей, словно она прокаженная. Хайди постояла в нерешительности, не вступая в толпу почитателей мсье Анатоля; затем она пожала плечами и вышла на балкон, где, опустив записную книжку в сумочку, взяла за руку отца.

Фейерверк подходил к концу, и огненные колеса, снопы, стрелы, петарды, бураки и прочие чудеса вели неравный бой с первыми каплями дождя. По мере того, как дождь усиливался, небо постепенно теряло праздничную расцветку, превратившись сперва в пыльно-сумеречное, с запахом пороха, а потом в нормальное черное ночное небо. Последним развлечением была сложнейшая пиротехническая модель Бастилии, взлетевшая ввысь в языках пламени. Ее должна была сменить световая надпись из трех слов, символизирующих Революцию, но в небе успели полыхнуть только буквы «LIB...», остальное же, заодно с искусственными солнцами, фонтанами и водопадами, утонуло в тучах.

— О, не уходите, не уходите же, дорогая! — взывал мсье Анатоль наполовину в шутку, наполовину с мольбой. — Нет, я не выпущу вашу руку. Что за милая, мягкая ручка — дрожащая, как птенец в когтях старого ястреба! Побудьте еще немного, раз разошлись остальные; полковник, ваш отец, будет вас охранять, а я — всего лишь старик, стоящий одной ногой в могиле, хотя другой еще брыкаюсь...

Мсье Анатолю, страдавшему бессонницей, отчаянно не хотелось отпускать последних гостей, хотя большинство завсегдатаев его пятничных вечеров утомляли и раздражали его. Его жизнь все больше втискивалась в узкое пространство между скукой от скученности и боязнью одиночества. Он знал, что у его смертного одра то и другое сомкнется: окруженный родственниками и друзьями — сынок-махинатор и пресная дочь, вдовья сестра, ожидающая наследства, и верный друг, мечтающий вставить в свои мемуары его последние слова, — он должен будет выдержать последние муки, подобно гладиатору, ожидающемуся посреди арены церемониального удара, который прекратит его страдания. Поэтому он вцепился в ладонь Хайди обеими руками, наслаждаясь ее теплом. Его руки совсем не походили на ястребиные когти — напротив, пальцы были длинными и тонкими, но ногти утратили всякую окраску, а почти прозрачная кожа была усыпана веснушками, заставлявшими Хайди содрогаться от отвращения. В смущении она отдала ему свою руку, подобно Ависаге, согревавшей своим теплом умирающего Давида. Она стояла перед ним, поддерживаемая отцом, в той же позе, в которой ее застало начало прощания. Мадемуазель Агнес ушла спать, и эстафету подхватил сын Гастон: он стоял рядом с креслом отца у камина, вежливо скрывая скуку. Мсье Анатолю хотелось, чтобы он занимался делами издательства, но в двадцать лет Гастон, красивая и испорченная жертва отцовских тиранических костылей, стал полупрофессиональным наемным танцором. Кое-какие деньги, перепадавшие от отца, позволили ему не перейти к этому занятию на постоянной основе. Теперь он пробавлялся продажей подержанных спортивных автомобилей и время от времени участвовал в гонках. На полу, скрестив ноги и блаженно раскачиваясь с рюмкой бренди в руке, сидела его теперешняя любовница — несколько перезрелая, но исключительно привлекательная женщина. Она была американкой, как Хайди, но совершенно другого поколения и типа — из тех, что после Первой мировой войны запрудили Монпарнас, а после Второй — Сен-Жермен-де-Пре, и которые и после Третьей мировой станут, наверное, ковылять на высоченных каблуках по бульжникам бывших Бульваров в поисках импровизированных поилок, где подают абсент. Единственным оставшимся гостем был граф Борис, протеже мадемуазель Агнес. Он был беженцем с Востока, очень высоким и худым, с костлявой физиономией и высоким голосом, страдавшим от сложной формы туберкулеза, приобретенного в лагере за Полярным кругом, где он валил лес.

— Не уходите, дорогая! — повторял мсье Анатоль, лаская вялую кисть Хайди. Полковник, покорно смирившийся с участью дочери, попавшей в плен чести на маленьком плацдарме перед

креслом старика, осторожно опустился на хрупкий диванчик и зажег сигару. Он был готов принять любое испытание, на которое обрекала его Хайди.

— Ваша дочь, полковник, — проговорил мсье Анатоль, — доставила всем нам большое удовольствие, вогнав в краску этого неандертальца.

— А кто он вообще такой, черт возьми? — спросила американка, очнувшись от блаженного транса.

— Щеголь-неандерталец, — повторил мсье Анатоль. — Иными словами, посланец Новой Византии.

Гастон, сыновний долг которого состоял, в частности, в том, чтобы интерпретировать наиболее туманные высказывания мсье Анатоля, вежливо пояснил:

— Федор Никитин — один из атташе по культуре в посольстве Свободного Содружества<sup>1</sup>.

— Атташе по культуре! — воскликнул Борис, выпрямившись так резко, что непрочный стул под ним громко скрипнул. — Вы хотите сказать, что он работает на... — Когда он произносил роковую аббревиатуру, наполнявшую в те времена души миллионов почти мистическим ужасом, его высокий голосок сорвался на визг, как у подростка.

«Боже, снова они за старое!» — подумала Хайди, у которой от стояния по стойке «смирно» перед мсье Анатодем начинали подгибаться ноги. Она произвела хитроумный маневр, в результате которого ей удалось усесться на ковер, скрестив ноги, и одновременно попыталась мягко высвободить руку.

— Нет, вам нельзя уходить, — ласково повторил мсье Анатоль. — Вы, молодежь юного континента, должны научиться отдавать, отдавать, отдавать, не ожидая ничего взамен. На протяжении двух великих веков Франция делилась со всем остальным миром; теперь настал ваш черед. Ваша рука, дитя мое, — это ленд-лиз вредному старикашке. Ваш отец взирает на нас благосклонно, мы с ним старые друзья.

— Поберегись, Хайди, — сказал полковник. — Мсье Анатоль — старый волк в овечьей шкуре.

— Не слушайте его, — радостно проверещал мсье Анатоль. — Он просто завидует умирающему. Спросите мою дочь, если не верите: она расскажет вам о циррозе печени, повышенном давлении и прочем. Подоходный налог на пороки растет с годами, так что в конце концов не остается никаких доходов — одни налоги... Да, я обречен на смерть — но так же обречены и вы, мое милое дитя, и ваш отец, и мой никчемный сын. Мы угодили в западню — мы, представители обреченной цивилизации, танцующие на темнеющей сцене, на которую падает тень неандертальца...

Мсье Анатоль стал увлеченно произносить свой блестящий монолог. Рассчитанные на публику монологи под занавес его приемов по пятницам были решением его дилеммы, методом уклониться от скучной беседы и не испытывать ужаса безмолвия. Ему было семьдесят пять лет, и на протяжении последней четверти века он вряд ли хоть раз слышал чей-нибудь голос, кроме собственного. Когда его спросили однажды, не слишком ли это утомительно, он ответил, что наоборот, ему это по нраву: все, что стоит услышать, он уже услышал до того, как ему стукнуло пятьдесят. Кроме того, добавил он, все знаменитости — актеры, поэты, государственные мужи — живут по тому же принципу: после пятидесяти они по большей части разглагольствуют сами, когда же возникает необходимость дать высказаться другому, они начинают думать о своей печени и о малолетних девочках.

Как бы то ни было, мсье Анатоль обожал говорить в не меньшей степени, чем остальные — внимать его речам. Он сидел в своей черной тюбетейке, откинувшись на спинку кресла и напоминая белыми шелковистыми бровями и желтой козлиной бородкой хитрющего меланхолического лемура, притворяющегося, что его интересует происходящее, но на самом деле тоскующего по своему родному климату — в случае мсье Анатоля это был Париж Барреса и Гонкуров, Мишле и баррикад 1848 года, Людовика XIV и Мансара, но прежде всего — Шатобриана и Генриха IV. Но даже когда его монолог приобретал лирическое звучание, его язык оставался по прежнему точен, напоминая отретпетированное красноречие французского адвоката, выступающего в суде.

— ... Ах, милочка, — продолжал он, глядя руку Хайди, — есть, несомненно, некое утешение в мысли, что не ты один обречен сгинуть на живодерне, что вся наша цивилизация поражена атеросклерозом, высоким кровяным давлением и затвердением желез... — Он хихикнул. — Воспаление простаты у всей Европы — корчащееся лицо Запада между двумя ударами... В конце концов, разве это не утешение — дотянуть до абсурдного возраста, когда желание пережило возможности, и когда единственное доступное удовольствие — разглядывать специфические открытки для любителей...

— Кстати, они у вас есть? — промурлыкала с ковра подружка Гастона. — Хотелось бы взглянуть...

— Но с другой стороны, — продолжал мсье Анатолий, проигнорировав ее, — с другой стороны... Не улыбайтесь, дитя мое, — бросил он раздраженно. — Чему вы улыбаетесь? Открыткам? Одиноким стариковским радостям? Подождите, пока доживете до моих лет; мы, латиняне, более откровенны в таких вещах... А что вы скажете о ваших политиках, болтающих о Геттесбергской речи, Джефферсоне и Конституции? — победно выпалил он.

— Не понимаю, — пожаловалась Хайди.

— Это одно и то же, — пояснил мсье Анатолий. — Ваша демократия растленна и бессильна, и, цитируя Линкольна и Джефферсона, ваши политики получают то же презренное наслаждение, что и старые развратники, с вожделием взирающие на мощь юности, примеру которой им уже не дано последовать. «Мы полагаем само собой разумеющимся, что все люди...» — Свобода, Равенство, Братство — баррикады марта сорок восьмого года — Коммунистический манифест — 14 пунктов, 4 свободы, 32 положения для любви — все это торжество бессилия, вожделенное созерцание ушедшего и неоправданные претензии, что еще не все потеряно. Голосуйте за нашего кандидата, за справедливость, прогресс и социализм, за грязные открытки, грязные открытки!...

Он довел себя до нешуточного гнева и принялся колотить костылем по ковру; глаза печального лемура покраснели от ярости и боли.

— Так-то вот! — сказал он более спокойным голосом и вздохнул. — Что бы вам ни говорили, дитя мое, не верьте. Революции, реформы, программы, партии — все они продают вам одну и ту же картинку: «Проблеск рая», или «Что подсмотрела служанка в замочную скважину», причем «пламя страсти» разыгрывают все та же старая шлюха и старый сутенер. И все же — пусть, как сказал кто-то, единственным утешением для человека, садящегося на электрический стул, было бы узнать, что к Земле приближается комета и что в тот самый момент, когда будет включен ток, погибнет вся планета, — все же знать, что этот мир, бывший — плохо ли, хорошо ли — нашим миром, движется к своему концу, подобно Помпеям, Римской Империи, подобно Франции Людовика XV, — это более болезненно, чем нездоровая печень; а печень, пораженная циррозом, — это очень больно, дитя мое.

— Если вы считаете, что все прогнило, и ни во что не верите, то я не понимаю, почему все это вас волнует, — сказала Хайди, которая, не возражая против смирения, не терпела, чтобы с ней в ее двадцать три года обращались, как с ребенком, и беспрерывно гладили ее руку.

— Кто вам сказал, что я ни во что не верю? — воскликнул мсье Анатолий, уязвленный не на шутку. — Я не знаю, кто вы, дитя мое, — католичка, коммунистка или суфражистка, да это и неважно: в вашем возрасте и с вашей внешностью убеждения — роскошь. Если же старый циник все еще верит во что-то, то вера его подобна вере иссушенного засухой растения в почву, из которой его корни сосут скудную влагу. Это не убеждение, не догма — это сама сущность его жизни.

— Так во что же вы верите? — с жаром спросила Хайди, чувствуя в то же время, что ответ разочарует ее.

— Можно ответить одним словом, — сказал мсье Анатолий. Он помолчал, а затем произнес по слогам, отбивая такт костылем, но сохраняя торжественное спокойствие: — В пре-ем-ствен-ность.

— Вы имеете в виду традицию? — спросила Хайди, чьи пессимистические ожидания нашли подтверждение.

— Я имею в виду пре-ем-ствен-ность. Традиция опирается на инерцию. Пре-ем-ствен-ность означает осознание прошлого как прошлого, а не как настоящего или будущего. Повторять прошлое



или отменять его — одинаковые прегрешения против жизни. Все реакционеры страдают запором, а все революционеры — поносом.

— Это факт? — спросил полковник, верящий в статистику.

— Видимо, да, — объявил мсье Анатоль, — ибо логика подсказывает именно это.

Вздыхая и бормоча, он с помощью Гастона оперся на костыли и удивительно ловко запрыгал к балкону, приглашая гостей следовать за ним. Дождь перестал, и в небе вновь засияли свежеотшлифованные звезды, решившие, как видно, дать гала-представление в честь Дня Бастилии. В спокойной воде Сены отражались красные и зеленые огни мостов; со стороны площади Сен-Мишель, где все еще продолжались танцы, доносились звуки аккордеона.

— Смотрите, наполняйте глаза до краев, — провозгласил мсье Анатоль, — ибо все это уже ненадолго.

Опираясь на плечо сына, он положил правый костыль на перила и прочертил его кончиком линии от Нотр-Дам на востоке до моря огней на площади Согласия.

— Эта панорама — лучший пример того, что я имею в виду, говоря о пре-ем-ствен-ности, — объяснил он. — Знаете ли вы, что сделал народ Парижа с камнями разрушенной Бастилии? Из них сложили верхнюю часть моста Согласия. А знаете, сколько времени потребовалось, чтобы превратить площадь Согласия в чудо градостроительства, каковым она предстает сейчас? Три века, друзья мои. Начало положил Габриэль при Людовике Четырнадцатом, при Пятнадцатом дело было продолжено, после него работали Революция, Наполеон, Луи-Филипп. И все руководствовались одним планом, одним видением, неуклонно материализовавшимся на протяжении веков независимо от политических переворотов, пожаров, голода, войн и моров. Не воображайте, что мною руководит сентиментальность, сантименты мне отвратительны. Нет, я говорю вам о видимом примере явления преемственности. И поймите меня правильно: совершенно нормально, когда здание — собор, дворец ли — перестраивается, переделывается, и так далее, на протяжении трех и более веков. Но здесь — не здание, а площадь. Это участок организованного пространства. Стоя там, вы видите, что организованное пространство тянется на милю на запад, до самой Триумфальной арки, на полмили на север — до церкви Мадлэн и через Сену до Бурбонского дворца. Посмотрев на север, вы увидите два дворца семнадцатого века, а между ними — уменьшенный в полном соответствии с правилами перспективы, греческий храм, возведенный в начале девятнадцатого века. Что за ужасная идея! Но все вместе создает впечатление совершенной красоты, ибо мелкое растворяется в крупном, и различные периоды сливаются в гармоничной пре-ем-ствен-ности. Если же вы обратите взор к югу, через мост, опирающийся на плиту от крепостной башни, то увидите еще один античный фасад — Бурбонский дворец, замыкающий ансамбль, начатый на севере. Самое же забавное в том, что дворец этот обращен в противоположную сторону, и этот фасад сложен на задворках два века спустя. Еще одна отвратительная выдумка! На западе же — Елисейские поля с чудовищной Триумфальной аркой в конце! Но все это вместе создает впечатление полнейшего совершенства. Чтобы добиться совершенства, слагая вместе такое количество уродливых деталей, следует обладать видением, пронизывающим века, переваривающим прошлое, выращивающим из прошлого будущее. Необходима пре-ем-ствен-ность...

Снизу, из толпы, донеслись крики и смех, а затем послышался шорох танцующих ног. Несмотря на недавний дождь, все еще было удушливо жарко. Во многих мансардах вокруг мерцал свет, как на чердаках кукольных домиков, освещенных малюсенькими свечками. Никто в эту ночь не собирался отходить ко сну.

— Кто знает, — снова заговорил мсье Анатоль, — возможно, это наш последний День Бастилии перед пришествием Неандертальца. Или предпоследний, или пред-предпоследний — какая разница? Жителям Помпей повезло: они не знали своей судьбы заранее. Смотрите же, друзья, пока не поздно. Взгляните на остров, Париж-Сите, откуда началась Европа. У него форма овала, как у оплодотворенной материнской клетки, и из него выросло все остальное — не так, как современные города, разрастающиеся, как раковые опухоли, а как кристалл, как живой организм. Прямо перед вами, на площади перед Нотр-Дам, то самое место, где сперматозоид соединился с яйцом: здесь древняя дорога, ведущая из Рима на север, пересекалась с водным путем — Сеной. Здесь Север был оплодотворен Средиземноморьем, и все, что случилось потом, было продолжением этого события.

Ведь очарование Парижа — это уникальный синтез средиземноморской жизни с открытыми кафе, рынками и писсуарами — с одной стороны, и урбанизованной цивилизации Севера — с другой. Здесь готика повенчана с Ренессансом; представьте себе Париж, прорезанный по горизонтали на высоте вот этого балкона, футах в пятидесяти от земли; тогда под нами останется Ренессанс, барокко, модерн, на уровне же глаз и выше и метнется готический город, его чердаки, трубы, шпили. Фасады поднимались вместе со временем; но новые дома не попирали Средние века, а поднимали их на своих плечах ввысь, к небу; здесь, среди крыш, мансард и шпилей, — пи навечно обрели покой...

Немолодой слуга, похожий на упрощенное издание своего хозяина, вошел с подносом и предложил гостям шампанское. Бокал для мсье Анатоля был налит только до половины. Тот слабо запротестовал, не надеясь на победу и зная, что ни гнев, ни мольбы не принесут пользы; повиснув на плече сына, он жадно осушил стакан, как худосочный голодающий ребенок, дорвавшийся до молока.

— Кончено, — объявил он, не позаботившись объяснить, к чему относится это высказывание — к шампанскому или городу. — Кончено, завершено, употреблено. Преемственности настает конец, синтез нарушается, подобно хрупко сбалансированному органическому веществу, облитому сильной кислотой. Ибо именно это хрупкое равновесие северной индустрии, усердия и расслабленного гедонизма, праздности южан сделало цивилизацию долины Сены моделью для остального мира и научило его величайшему из всех искусств: искусству жить...

В последовавшей за монологом мсье Анатоля недолгой тишине было слышно, как Хайди сделала большой глоток, прежде чем спросить:

— Почему же вы не научили нас искусству умирать?

— Умирать? Это необходимость, а не искусство, дитя мое.

— Откуда вы знаете? — воинственно спросила Хайди. Она начинала приходить в себя после происшествия с Никитиным и роли школьницы, которую только что заставлял ее играть мсье Анатолий. — Откуда вы знаете? — с горячностью повторила она. — Искусство умирать, явленное Сократом, Христом и святым Франциском, выше вашего искусства жить. Но вы разрушили это искусство своим просвещением и «Республикой Разума». Нигде человек не уходит тяжелее, в большей запущенности, чем во Франции, — как шелудивая собака. Я была в «Сальпетриер» — это просто отвратительно!

Полковник мягко взял ее за руку, чтобы заставить замолчать. Мсье Анатолий взглянул на нее в некотором смятении.

— Что за удивительное дитя! — прыснул он, поправляя свою черную тубетейку. — Американские девственницы все такие?

— Я не девственница! — возмутилась Хайди. Мсье Анатолий был потрясен до глубины души.

— О, пардон... — только и вымолвил он.

— Моя дочь, — поспешил вмешаться полковник, — вышла замуж в девятнадцать лет и некоторое время назад развелась. Она воспитывалась в английском монастыре. Она хотела сказать, что... что смерть в безверии малопочтенна...

— А-а, так вы католичка! — воскликнул мсье Анатолий. Хайди почувствовала, что он вот-вот приступит к монологу о просвещении.

— Нет, — сказала она, с трудом сдерживаясь. — Но раньше была. — Она умолкла.

К счастью, паузу заполнил громко заигравший неподалеку аккордеон. Все неожиданно ощутили усталость — в том числе и мсье Анатолий, который, казалось, уменьшился в размере, и отчаянно цеплялся за плечо заскучавшего сына. Когда гости стали расходиться, он уже не протестовал. Хайди почувствовала, что его рука похолодела и обмякла, как у захворавшей обезьяны; он подумал, что, проглотив три, а то и четыре таблетки, сможет на несколько часов уснуть, примерив ненадолго ожидающуюся его вечную пустоту.

Федя Никитин протискивался сквозь толпу, озираясь в поисках такси. Не исключено, конечно, что он оставил записную книжку у себя в комнате, когда выкладывал на стол содержимое карманов, переодеваясь в новый костюм. В десятый, а то и в пятнадцатый раз он вспоминал каждое свое движение за последние несколько часов. Перед тем, как отправиться на вечер к мсье Анатолю, он пообедал в одиночестве в ресторанчике неподалеку от общежития. Еда там была безвкусной, а официантка недружелюбной, зато это было надежное место, рекомендованное Службой; ему предписывалось питаться там как можно чаще, дабы продемонстрировать, что он не намеревается «отправиться в Капую». В Капуре армия Ганнибала расслабилась и поддалась соблазнам более старой, утонченной, разлагающейся цивилизации; время от времени так происходило и у них: несмотря на тщательнейший отбор, кто-нибудь, по-сланный с заданием, ускользал от Службы и «отправлялся в Капую». Это было сродни болезни, внезапному бегству или приступу безумия — и случалось неизменно с тем, от кого этого можно было меньше всего ожидать: с самым надежным, выдержанным, дисциплинированным. Федя знал, что с ним этого не произойдет. Он не был пуританином и пользовался всеми удовольствиями, которые могла предложить ему Капуя, однако никогда не забывал, что их предлагает Капуя. Самое правильное в обращении с дьяволом — разделить с ним трапезу и заставить оплатить счет.

Самодовольство оставило его, как только он вернулся к хронологии вечера. После ресторана он вернулся в общежитие, чтобы переодеться в вечерний костюм и туфли. Мысленно он всегда называл свое обиталище «общежитием», — хотя официально это был простой парижский отель, — поскольку на самом деле им распоряжалась Служба. Он снял пиджак, чтобы побриться, когда] Смирнов, живший в соседней комнате, зашел попросить сигаретку. Пришлось небрежно набросить пиджак на плечи — Смирнов занимал гораздо более высокий пост, и, хотя они были друзьями, с ним следовало обходиться вежливо. Вопрос состоял в следующем: положил ли он назад все то, что перед этим вынул из карманов, хотя знал, что как только Смирнов удалится, придется снова переодеваться? Он дал Смирнову прикурить от своей зажигалки — он запомнил это, потому что это была новая зажигалка, купленная в Париже, и Смирнов не удержался от небрежного замечания, что он, мол, предпочитает зажигалки домашнего изготовления. На это Федя ответил, что и он выше ценит «родные» зажигалки, а эту купил ради сравнения, чтобы проверить, насколько эффективна французская индустрия товаров широкого потребления... Однако, поскольку зажигалку он обычно носил в кармане брюк, все это ничего не доказывало, ибо он вполне мог освободить карманы пиджака, оставив карманы брюк на потом. Если бы ему удалось вспомнить, находилась ли в нагрудном кармане во время разговора со Смирновым перьевая ручка, проблема была бы разрешена. Но здесь был полнейший туман. Туман упрямо отказывался рассеиваться и по прочности напоминал стену. Как-то раз ему пришлось присутствовать на допросе, который вел его приятель Глеткин, когда подозреваемый принялся биться головой о стену. Глеткин не стал вмешиваться, а неподвижно наблюдал за происходящим из-за стола; позднее он объяснил Феде, что человек может причинить себе таким способом серьезный вред разве что в художественной литературе. Ему внезапно остро захотелось попасть домой, к своему столу.

Вокруг не было ни одного такси — только пляшущая, целующаяся, вопящая, развлекающаяся вовсю толпа. Мелкая буржуазия Парижа праздновала буржуазную революцию двухсотлетней давности. Но чем же они занимались с тех пор? Почивая на лаврах, подарили миру несколько декадентствующих писателей и художников и проиграли несколько войн подряд, кроме того случая, когда их в последний момент спасли американцы, встревоженные угрозой утраты рынков сбыта. Конечно, праздновать они мастера, но достаточно сравнить их День Бастилии с впечатляющими первомайскими парадами, чтобы понять, в какую сторону дуют ветры Истории.

К Феде, держась за руки, подбежали три молоденькие продавщицы. Он попытался улизнуть, но они определенно намеревались увлечь его в танец. Они хохотали, называли его «капусткой» (хороши нежности, кто дома стал бы называть своего дружка «борщом»?) и цеплялись за пиджак, еще не высохший после удаления кровавых пятен. Он отпихнул их, стараясь сохранять дружелюбную улыбку, но они продолжали хихикать; наименее симпатичная показала ему язык. Он улыбнулся шире, показывая свои белые зубы, но не мог отогнать мысли о том, до чего же они вульгарные, несмотря на кокетливые платьица. Может быть, они проститутки — кто знает? При других обстоятельствах он был бы не прочь пойти с одной из них, но сейчас он так рвался домой, к своему столу, что сдавливало сердце.

Смирнов? Он в который раз отогнал навязчивое подозрение. Смирнов работал в другом отделе; вполне возможно, что ему приказано одновременно приглядывать за Федей; но пусть даже и так, с какой стати он стал бы его подставлять? Оставить записную книжку на столе на несколько минут в присутствии старшего товарища — вряд ли это можно квалифицировать как преступную небрежность. А вдруг... разве угадаешь? Требования революционной бдительности не имеют границ, а Смирнов — педант: достаточно вспомнить его замечание насчет зажигалки. Тогда Смирнов мог бы прихватить книжку, чтобы продемонстрировать его беспечность. Но опять-таки только в том случае, если у него есть мотив или зуб против него. Но почему у Смирнова должен быть против него зуб? Он, Федя, относится доброжелательно ко всем. А вдруг Смирнов затеял шалость? Только это будет смертельная шалость, влекущая по меньшей мере смещение с должности и отзыв. А то и высылку за Полярный круг. Его рассудок снова заволокло туманом.

Перед кафе на бульваре Сен-Жермен осталось совсем немного танцующих. Полковник отправился домой. Хайди, другая американка и поляк по имени Борис предприняли рейд по разным кафе, где пили бренди и рассматривали танцующих, пока американке не стало плохо. Пришлось отправить ее восвояси на такси. Хайди и поляк остались сидеть в кафе, став жертвами внезапного замешательства, какое овладевает незнакомыми людьми, встретившимися в гостях и оказавшимися при уходе с глаза на глаз друг с другом. Кто-то из гостей мсье Анатоля сказал Хайди, что граф Борис валил лес в заполярном лагере, где остался с одной половинкой легкого. Беженцы вселяли в нее ужас, присущий здоровому человеку: рядом с ними всегда чувствуешь себя виноватой. В сентиментальных романах бедный всегда служит укором; на самом же деле уборщицы и ночные портье живут собственной жизнью, и жалеть их — значит выглядеть глупцом. Однако у беженцев нет собственного стиля, собственного жизненного пути, если не считать необходимости скрываться и прятать лицо. Они стали жителями международных трущоб — даже те из них, кому выпало обитать в роскошных отелях.

Поляк был высоким мужчиной со впалой грудью и дерганными движениями. В его орлиных чертах не было ничего славянского. Он скорее походил на сержанта колониальной армии, измотанного малярией.

— Думаю, пора и по домам, — сказала Хайди, нарушив молчание.

— Как знаете, — откликнулся граф Борис. — Поскольку я все равно не могу уснуть до трех ночи, то не могу понять, зачем остальные растрачивают свою жизнь, так рано отходя ко сну. Я испытываю к ним презрение. Надо полагать, извращенцу свойственно презирать нормальных людей. Так же и с болезнями. Особенно груди. Вы читали «Волшебную гору»? Помните, там был клуб «Половинка легкого»? Все больные — своего рода клуб. Все заключенные заполярных трудовых лагерей — тоже клуб. Вы — хорошенькая женщина и, возможно, весьма умны, но вы не из нашего клуба. Даже выйдя за меня замуж, вы останетесь мне чужой. Разговор с чужаком всегда вдохновляет, но в итоге оставляет чувство разочарования... Потому что нет общего языка, — добавил он пресным тоном.

Хайди слишком много выпила, чтобы чувствовать смущение.

— А что вы обычно делаете, пока не уснете? — спросила она.

— Сажу в кафе и болтаю. Кафе — дом для беженца. Поэтому-то все эмигранты всегда стремились в Париж. Кафе — чудесное место. Правда, это не дом, а скорее зал ожидания. Нормальные люди ждут здесь обеда, ужина, возвращения на работу или домой, на боковую. Мы же, члены Клуба, просто ждем, что что-нибудь произойдет. Конечно, никогда ничего не происходит, и мы это знаем, но это легче пережить в кафе, чем где-нибудь еще.

Хайди поднесла к губам рюмку. Еще один человек, обитающий в собственной переносной стеклянной клетке. Как и большинство знакомых ей людей. Каждый заперт в невидимой телефонной будке и говорит с вами по проводам. Голоса доносятся до вас искаженными и то и дело ошибаются номером, даже когда раздаются в одной с вами постели. И все же ей очень хотелось разбить стекла будок. Если кафе — дом для потерявших свою страну, то постель — алтарь для утративших веру. Он сидел перед ней, горько поджав губы, и выглядел жалким. Глядя на него в упор, она мысленно сняла

с сутулой фигуры на другом конце столика всю одежду. Она знала, что мужчины поступают так с женщинами почти автоматически, и выработала в себе такую же привычку. Ее глазам предстала нездоровая желтая кожа, обтянувшая выпирающие ребра, бесполезные плоские соски, смахивающие на уродливые бородавки, впалый живот, чахлая поросль вокруг странного предмета, столь же неуместного на этих аскетических мощах, как на скульптуре Христа. Пиджак висел на его плечах, как тряпка.

— Вы похожи на мсье Анатоля — так же ни во что не верите, — сказала она.

— Верить? — рассеянно повторил он. — Я никогда не интересовался политикой, если вы имеете в виду ее. Я верю в самые обыкновенные вещи: что мою страну надо оставить в покое и что людям надо позволить жить так, как они хотят. Но все это стало фантазией, опиумным сном. Пройдет год, пять лет — и от Европы ничего не останется. Раз-два, — он неприятно прищелкнул языком и рубанул ребром ладони себя по горлу, — раз-два — и готово.

— Откуда такая уверенность? — раздраженно спросила Хайди.

— Когда гангрена съела половину ноги, разве можно надеяться, что она остановится у колена? Раз увидев все это, уже знаешь остальное. Я видел, и я знаю. Я видел, как чернеет и гниет в зловонии живая плоть моей нации. Но я знаю, что вы мне не верите. Вы считаете, что я преувеличиваю, что у меня истерика. Все здесь так считают; поэтому они обречены. Они будут терпеливо ждать, пока гангрена поднимается по их ногам...

Его костлявые руки лежали сложенными на столе; казалось, он безуспешно пытается их расцепить, скрипя побелевшими суставами.

— Хуже всего, — продолжал он, — это когда знаешь, что тебе не дано убедить людей. Греческая мифология полна ужасов, но греки забыли изобрести самое ужасное: чтобы в критический момент Кассандра онемела, и никто, кроме нее самой, не слышал ее предупреждающего крика. Один знакомый доктор говорил, что любая болезнь начинается в мозгу. Полтора года я спал в одежде, задубевшей от замерзшего пота, без одеяла, и оставался здоров. Потом я приехал сюда, и мои легкие отказались работать. Может быть, их разорвал крик, который не мог выйти наружу.

Хайди почувствовала утомление. Фейерверк, парижане, танцующие под звуки аккордеона — все поблекло, подобно привидениям, убоявшимся петушиного крика. Она вновь стояла среди развалин, именуемых реальностью. Полковник Андерсон работал в военной миссии, изучавшей возможности стандартизации европейского оружия. После второго мартини все благонамеренные американцы, скопившиеся в Европе, начинали говорить, как этот поляк: все они казались самим себе Кассандрами, пораженными немотой. Бывая на коктейлях, даваемых ее соотечественниками из отцовской или любой другой миссии, стремящейся спасти Европу, она чувствовала себя окруженной бодрящимися атлетами, догадывающимися о своем бессилии. Сила страданий, причиняемых им этой догадкой, зависела лишь от степени чувствительности каждого.

— Чем вы занимались до того, как это произошло?

— Фермерствовал. Еще я был офицером запаса. Моя жена, Мария, немного рисовала. Я взял ее в жены совсем молоденькой...

Боже, подумала Хайди, начинается...

— ...восемнадцати лет... Она совсем не походила на вас: маленькая, хрупкая, светловолосая. До самого замужества она училась в монастырской школе.

— Какого Ордена? — спросила Хайди.

— Пресвятой Девы.

— Я была в школе того же Ордена! — воскликнула Хайди. — В Англии.

— Неужели? — В голосе Бориса не было ни малейшей заинтересованности. — Некоторые уверяли, что она хороший художник. Она увлекалась натюрмортами: мимозы в голубой вазе. Вазу подарили нам на свадьбу... Еще у нас была дочка, Дуняша... — Славянское имя с долгими гласными прозвучало, как музыка; после него французский показался вдвойне скрипучим. — Она была очень миловидной, но мы беспокоились, что у нее редкие зубки; дантист предложил поставить золотую

скобу, но мы никак не могли решиться, хотя ей бы пришлось носить ее только до восьми-девяти лет...

— Что с ними стало?

— Раз! — Поляк издал языком тот же неприятный звук и снова прикоснулся ребром ладони к горлу. — Их угнали. Семьи при депортации полагается разлучать. Меня отправили за Полярный круг, их — в Казахстан. Нам, разумеется, не полагалось знать, кого — куда. Лишь потом я совершенно случайно узнал, что обе умерли от дизентерии... Но слушать все это вам так скучно! Поговорим о чем-нибудь другом. Вы любите играть в теннис? А в бридж? Или предпочитаете ходить в кино?

Почему все это сделало его таким агрессивным, ищущим ссоры? Как насчет очищающего воздействия страданий? Некоторых страдание превращает в святых. Другие выходят из тех же испытаний ожесточенными и помышляют только о мщении. Третьи становятся неврастениками. Чтобы страдание пошло человеку на пользу, он должен обладать правильным пищеварением, иначе недолго и скиснуть. Обречь на страдание всех, невзирая на лица, — неверная политика со стороны Господа, как если бы врач прописывал при любом заболевании одно слабительное.

— Ага, вот идут мои друзья, — произнес Борис с облегчением. — Так и знал, что они объявятся. Они члены Клуба. Мы — триумvirат, нареченный «Три ворона по кличке Невермор<sup>2</sup>».

Один из друзей Бориса был невзрачным толстоногим коротышкой с острыми чертами лица. Его представили ей как профессора Варди. Он потряс руку Хайди с нарочитой церемонностью, свойственной личностям его роста, и оценивающе окинул ее взглядом сквозь толстые стекла очков без оправы. Третий член триумvirата оказался поэтом Жюльеном Делаттром, пользовавшимся признанием в 30-х годах. Он прихрамывал, был худощав и носил спортивный свитер без пиджака. У него был высокий лоб с пульсирующей время от времени синей прожилкой. Верхняя часть его лица производила впечатление элегантной хрупкости, однако ему противоречила горькая складка рта и сигарета, навечно приклеившаяся к верхней губе, придававшая его внешности оттенок поношенности.

Возникла пауза, во время которой вновь прибывшие двигали стульями, не зная, как быть с Хайди. Сама она чувствовала себя непрошеной гостьей. Профессор жадно изучал ее внешность, но, стоило им встретиться глазами, как он начинал смотреть в сторону, изображая отсутствие интереса. Делаттр улыбался ей, не произнося ни слова. Хайди только теперь заметила у него на лице темно-красный след от ожога почти во всю щеку. Однако он ухитрился продемонстрировать собеседнику исключительно «хорошую» часть своей физиономии.

Хайди стала копаться в памяти, силясь вспомнить, читала ли она что-нибудь из написанного им.

— Я читала сборник ваших стихотворений, — вымолвила она наконец, — но, честно говоря, с тех пор прошло пять-шесть лет, и я не помню названия.

К ее удивлению, Делаттр покраснел и замигал глазами за завесой сигаретного дыма, служившей ему, видимо, защитным экраном.

— Ничего, — сказал он, — что забыто, то забыто.

— Наверное, «Ода ЧК», — поспешил напомнить профессор.

Поляк рассмеялся.

— «Ода ЧК!» — повторил он и закашлялся. — Какими же вы были дураками — и всего-то десять лет назад.

— Не все рождаются непогрешимыми, как вы, — сказал Варди.

— Кажется, вспоминаю! — воскликнула Хайди. — «Элегия на смерть трактора» и «Похищение прибавочной стоимости — оратория».

— Хотелось бы, — сказал Жюльен, — чтобы люди умели забывать чужие глупости, как они забывают свои собственные.

— Зачем? — встрепенулся Варди и повернулся к нему. — Стыдиться былых своих ошибок — просто трусость. Кто станет утверждать, что при конкретных обстоятельствах того периода было ошибкой верить в Мировую революцию и посвятить ей свою жизнь? Я признаю, что наша вера опиралась на иллюзию, но продолжаю считать, что это была достойная иллюзия — заблуждение, стоявшее ближе к истине, чем протухшая обывательская болтовня о либерализме и демократии. Правда оказалась на стороне обывателей, хотя можно оказаться правым по ложным причинам; мы же оказались не правы, однако можно заблуждаться, рассуждая вполне здраво.

— О, заткнись ты со своей диалектикой! — бросил Жюльен.

Борис очнулся от невеселых размышлений.

— Вы хотите сказать, что в раю больше радуются одному раскаявшемуся грешнику, чем десяти праведникам. Пусть меня повесят, но не могу взять в толк, отчего это так. Отлично представляю себе десять праведников, всю жизнь старавшихся оставаться честными, благородными, разумными, как вдруг — всеобщее смятение, и вводят отвратительного типа, как наш Жюльен, посвящавшего оды ЧК; он становится почетным гостем, и приличные люди должны уступать ему дорогу. Покаявшийся грешник — это звучит хорошо и богобоязненно, но пока вы писали оды во славу некоей организации, эта самая организация обрекала мою жену и дочь на гибель в собственной крови и экскрементах... Прошу прощения, я не хотел задеть вашу чувствительность, — повернулся он к Хайди и прекратил кусать нижнюю губу.

— Слушайте! — взвилась Хайди, — ну почему вы все время набрасываетесь на меня?

— Набрасываюсь? — повторил Борис. — Да, наверное, я плохо повел себя. Потому, должно быть, что вы выглядите не ведающей горя... Простите меня, — чопорно закончил он, обретая манеры старорежимного джентльмена. Его плечи поникли.

Профессор откашлялся.

— Дело не в личных трагедиях, — сказал он. — Мы все прекрасно понимаем, но это ничего не доказывает. — Он говорил агрессивно, с почти талмудистской непримиримостью. Хайди подумала, что именно такое грубое обращение с Борисом и есть самое милосердное, но было видно, что такого рода милосердие было в натуре коротышки. Что может быть двусмысленнее милосердия хирурга? — Ничего! — повторил Варди и резко взмахнул своей короткой ручонкой, — единственный способ добиться конструктивности — избавиться от ложного чувства вины по отношению к прошлому. В первый, самый обнадеживающий период Революции, по другую сторону баррикад оставались одни реакционеры.

— Вот именно, такие реакционеры, как я, — сказал Борис. — Владельцы нескольких акров плодородной земли, мужья своих жен и отцы малолетних дочерей, которых надо было защищать, невзирая на доктрины.

Хайди показалось, что Борис говорит о жене и дочери, подобно еврею, вспоминающему дедов, погибших при погроме, — зарабатывая на мертвых политический капитал. Но разве не то же делает Церковь с ее культом мучеников? А французы со своей Жанной или англичане с их немногочисленной кучкой, спасшей миллионы? Мертвых никогда не оставляют в покое. Она почувствовала себя совершенно изможденной, поникло все ее тело, даже грудь. Она покосилась на свою блузку, чтобы проверить, так ли это.

— Уж вы-то, конечно, никогда не ошибались, — ядовито выговаривал поляку Варди. — Вы и ваша каста всегда все знали. Мой двоюродный брат умер в вашей тюрьме в Брест-Литовске, и, когда его хоронили, половина его лица оказалась съеденной крысами. Он даже не был революционером — просто честный перед Богом социал-демократ. Если мне придется выбирать между вашими и их крысами или между проигрывателем-автоматом и «Правдой» — я до сих пор не знаю, что лучше.

— Неужели? — подал голос Жюльен, моргая от дыма своей сигареты.

— Раз вы не знаете, то почему вы здесь, а не там? — спросил Борис. — А вот почему: здесь вы можете ссориться с нами в кафе и читать нам нотации. Там бы вам оставалось держать речь перед

крысами на Лубянке — да и то шепотом, так как донести могут даже крысы.

— Варди не возражал бы, лишь бы это были крысы-радикалы, — сказал Жюльен. — Их укусы для него роднее.

— Роднее, — невозмутимо отвечивал Варди. — Как и для тебя, при всем твоим цинизме. Сейчас мы очутились с Борисом в одной лодке, но на самом деле между нашими взглядами и его — бездна различий.

— Это верно, профессор, — молвил Борис. — Различие в том, что вы трудились в библиотеках, а я — в заполярных шахтах.

— Вы несправедливы, Борис, — сказал Жюльен. — Что бы ни случилось с Варди, он не выпустит из рук своего ржавого ружья. — Он улыбнулся Хайди и продекламировал по-английски:

— «For right is right and left is left, and never the twain shall meet...»<sup>3</sup> Хотя, — добавил он, снова переходя на французский, — и то, и другое слово полностью лишились своего смысла.

— Разве? — уперся Варди. — На мой взгляд, они остаются единственными маяками во всеобщем хаосе, и в них не меньше смысла, чем в словах «будущее» и «прошлое», «прогресс» и «упадок». Если бы дело обстояло иначе, зачем же тогда ты был в Испании, зачем шел на пули и горел?

Кожа вокруг глаз Жюльена собралась в складки.

— То же самое могло случиться в войне Алой и Белой розы, Ланкастера и Йорка, янсенистов и иезуитов, жирондистов и якобинцев, дарвинизма и ламаркизма, правых и левых, социализма и капитализма — все это были в свое время маяки среди хаоса. Каждому периоду свойственна острая альтернатива, которая кажется самой важной на свете, пока история не пройдет мимо, пожав плечами; людям же остается недоумевать, из-за чего был весь сыр-бор.

— Ты говоришь всего лишь о диалектическом движении от тезиса к антитезису.

— К черту диалектику! Католицизм сражался с протестантизмом на протяжении многих поколений, и где же синтез? Величайшие в истории диспуты обычно заканчиваются тупиком, а потом вызревает новая проблема, совершенно другого свойства, которая притягивает к себе все страсти и лишает старое противоречие всякого смысла... Люди утратили интерес к религиозным войнам, когда в них начало просыпаться национальное сознание; их перестали волновать монархия и республика, когда вперед вышли экономические проблемы. Сейчас мы снова в мертвой точке, но скоро произойдет новая мутация сознания, и важны станут совсем иные ценности. Когда это случится, боевые кличи нашего века покажутся такой же глупостью, как и вопрос, из-за которого шли на войну лилипуты: с какой стороны разбивать яйцо...

— Bravo, bravo! — вскричал Борис. — Вы будете сидеть в ожидании этой своей мутации, а если в это самое время Антихрист мотает кишки из ваших друзей и родных — что ж, тем хуже для них...

— Не будьте ослом, — сказал Жюльен. — Для меня очевидно, что человек должен сражаться в целях самообороны, защищая минимально достойные условия жизни, и так далее. Я просто хочу подчеркнуть, что это не имеет никакого отношения к любезным Варди маякам и диалектике, а также к левым, правым, капитализму, социализму и любому другому «изму». Когда я слышу эти слова, я чувствую запах клоаки.

— Не воспринимайте его серьезно, — обратился профессор к Хайди. — Он счастлив только тогда, когда может бороться, как в Испании, доказывая одновременно самому себе, что бороться совершенно бессмысленно.

Борис словно опомнился от забытья, в которое он время от времени погружался. Он хмуро уставился на собеседников, и Хайди поняла наконец, что беспокоило ее в его лице: все линии на нем были вертикальными: от впалых висков к провалившимся щекам и дальше вниз — к заостренному подбородку.



— Слова, слова, — рассеянно проговорил он. — Книги, книги, книги... Идите читать лекции лубянским крысам.

— Крысы всех стран, соединяйтесь! — провозгласил Жюльен. — Вам нечего терять, кроме своих крысоловок. — Он взмахнул над столом рукой и опрокинул рюмку с бренди. Липкая желтая жидкость образовала на мраморной поверхности неопрятную кляксу. Постепенно клякса стала лужицей, напоминающей формой череп Никитина. Отходящие в сторону ручейки походили на щупальца.

— Мне пора домой, — сказала Хайди, поднимаясь.

— Я найду вам такси, — сказал Жюльен. Он оставил на столике деньги и захромал к выходу. Борис и профессор возобновили спор. В ответ на «спокойной ночи», вежливо произнесенное Хайди, как благовоспитанной девочкой, они лишь слегка кивнули.

Предраассветная улица была серой; кое-где дворники уже начали убирать мусор, оставшийся после Дня Бастилии.

Они сели в такси. Жюльену пришлось долго ворочаться, прежде чем он нашел верное положение для своей больной ноги.

— Что скажете о нашем зоопарке? — спросил он, дождавшись, пока Хайди назовет шоферу адрес. Его английский был аккуратным и точным, как у одной монахини-француженки в школе, в которую она была влюблена... — Помните «Одержимых» — толпу маньяков, которым впору позавидовать? Из нас же изгнан злой дух — дух веры. Все мы бездомные — физически или духовно. Горячий фанатик опасен; остывший фанатик жалок. Борис жаждет мести, но сам уже не верит в нее и знает, что побежден. Варди нравится доказывать, что, пусть он заблуждался, зато был прав в своих заблуждениях. Я... вы умеете слушать, — сказал он изменившимся тоном.

— Потому что я из тех, кто расстался со злым духом.

— Вы состояли в Движении? — с надеждой спросил Жюльен.

— Нет — не в вашем. Я из другого прихода.

— Неважно, — откликнулся Жюльен. — Какой бы ни была ваша церковь, ваш храм, конец всегда один. Все руины выглядят одинаково. Это и удерживает наш триумвират единым. Мне бы хотелось написать рассказ под названием «Возвращение крестоносца». В одна тысяча сто девяносто первом году от рождества Христова он, молодым человеком, покинул отчий дом, чтобы завоевать Новый Иерусалим, построить Небесное Королевство и все такое прочее. Он пошел той же стезей, что и остальные: насильствовал, грабил, разил шпагой мавров, подцепил сифилис и делал все, чтобы разбухал кошелек Филиппа Августа. И вот он вернулся — один из десяти. Честные прихожане-соседи все так же ходят в церковь, покупают индульгенции и делают взносы на следующий крестовый поход...

— А что делает он?

— Это не имеет значения. Может быть, пытается объяснить им, что было на самом деле, и гибнет на костре как еретик. Или держит язык за зубами и заживо гниет от сифилиса. Что действительно важно — так| это «Песня возвращения», песня всех распрощавшихся со злым духом, песня поедаемого сифилисом идеалиста, знающего, что он живет в гибнущем мире, и не имеющего ни малейшего представления о новом мире, призванном заменить старый.

— Так почему вы не напишите его?

— Потому что я больше не пишу, — сказал Жюльен. — Доброй ночи.

Такси затормозило перед многоквартирным домом, где жила Хайди.

— Доброй ночи, — откликнулась она, с неприличной поспешностью выбираясь из такси. Нажав на кнопку у парадного и обернувшись, чтобы помахать на прощанье — этого, по крайней мере, можно было ожидать от добродетельной Алисы из Страны Чудес, — она увидела, что он сидит откинувшись, вытянув больную ногу и привалившись головой к окну. На переднем сиденье

терпеливо дожидался распоряжений шофер.

Полковник еще не ложился; узкая полоска света под его дверью показалась Хайди сигналом надежды: стоило только перешагнуть ее — и она окажется в раю. Но для этого пришлось отворить дверь, и полоска превратилась в залитую светом комнату, а отец из смутной надежды на утешение вырос в фигуру с седеющей головой, склонившуюся над столом и погруженную в сочинение отчета. Услыхав шаги, он повернулся к ней с приветливой улыбкой.

— Что с тобой приключилось? — спросил он.

Она рухнула на диван и рассказала ему о Борисе и о «Трех воронах по кличке Невермор». Время от времени полковник и его дочь предпринимали храбрую попытку установить интимное взаимопонимание и интеллектуальное сообщничество, хотя оба знали, что результатом неминуемо будет разочарование. Мысленно полковник присвоил Хайди сентиментальную кличку «темноволосая нимфа», Хайди же думала об отце как о «растерянном либерале», однако их взаимная стеснительность была так велика, что одна мысль о том, чтобы произнести это вслух, заставляла обоих заливаться краской в своих стеклянных клетках.

— Бедняга, — посочувствовал полковник, потирая рукой розовый и совершенно гладкий, несмотря на седые виски, лоб. — Потерять жену и ребенка, да еще так... И подумать только, что в таком же положении находятся миллионы людей!

— Да не в этом дело! — нетерпеливо воскликнула Хайди. — Самое ужасное — не само страдание, а его бесполезность.

— Ну, об этом я ничего не знаю, — сказал полковник. — Не знаю, может ли быть какой-то смысл в выплевывании своих легких. Главное, все это только начало. Когда начнется настоящая заваруха...

— Боже! — всплеснула руками Хайди. — Снова? Полковник утомленно взглянул на нее.

— Знаешь, мне не стоит этого говорить, но новости тревожные.

— Вот и хорошо, — сказала Хайди. — За кризисом всякий раз следует затишье. Я испытываю страх только во время затишья.

— Да, — отозвался полковник, — но на этот раз все по-другому. — Он поколебался. — Понимаешь, действительно не стоило бы этого говорить. Но, думаю, ты — особый случай. И еще я думаю, что всякий раз, когда происходит утечка информации, в этом виноваты вот такие особые случаи.

— Не хочу ничего слышать, — сказала Хайди. Она пожалела, что находится не у себя в комнате и не лежит с крепко закрытыми глазами.

— Но я хочу, чтобы ты знала, — продолжал полковник. Хайди только сейчас поняла, что он ждал ее возвращения, чтобы что-то сообщить ей. Это было совсем не в натуре ее отца. В последний раз он изъявлял желание уменьшить таким способом давившую на него тяжесть много лет назад. Тогда она была еще совсем ребенком. Сколько ей было лет — четырнадцать, тринадцать? Мать казалась не более пьяной и страшной, чем обычно, и Хайди не знала, кто были те мужчины, которые так мягко и умело увели ее неведомо куда. Однако отец настоял на том, чтобы объяснить ей нейтральным, чужим голосом причины, по которым ее мать было необходимо забрать в психиатрическую лечебницу.

— Дело вот в чем, — начал полковник. — Когда ты вошла, я составлял список. Список из двадцати французов, отобранных из числа тех, с кем сводило меня ремесло. Эти двадцать — обрати внимание, не более двадцати, а лучше бы еще меньше — погрузятся в летающий ковчег, когда подступят волны и нам придется уносить ноги. Думаю, многие наши люди из различных миссий получили такие же приказы и составляют сейчас сходные списки. Скажем, человек сто. Выходит, Ноева воздушная эскадра поднимет в воздух тысячи две пассажиров. Остальным сорока с лишним миллионам придется уповать на счастливый случай.

— А как насчет семей тех людей, что войдут в твой список?

Полковник пожал плечами, указывая пальцем на свои бумаги.

— Здесь сказано: «Проблема родственников изучается». Идея, кажется, заключается в том, что люди из списка должны считать себя чем-то вроде отправленных в зарубежную командировку, ядром будущей освободительной армии и правительства. — Он тяжело опустился в кресло. — Хотел бы я, чтобы мы перестали освобождать друг друга.

— Почему тебе понадобилось рассказывать мне об этом?

Полковник снова поднес ко лбу ладонь.

— Я подумал, что тебе надо быть готовой на случай, если нам вдруг придется эвакуироваться.

— И что мы сможем сделать это с более чистой совестью после того, как ты представишь свой список?

— Вот именно, — устало молвил полковник. — Хотя я не знаю, при чем тут совесть. Не мы же, черт побери, изобрели Европу — или Азию.

— Но разве мы не нарастили силу благодаря гарантиям, оборонным пактам и тому подобному?

— Наверное, ты права, — сухо проговорил он. — Если у тебя есть план, что еще можно сделать, передай его господину президенту.

— Извини — я просто так. Я всегда болтаю просто так, когда не знаю, что сказать.

Она легонько чмокнула его и вышла из комнаты. Полковник подумал, что ее саморазоблачения еще более невежественны, чем осуждение порочности всего мира. Все это пошло еще с монастыря; с тех пор Хайди превратилась в глазах полковника в картинку-загадку в жанре экспрессионизма, которую он отчаялся разгадать, ибо так и не понял, где полагается быть носу — на лице или ближе к пупку.

Он вздохнул и снова склонился над бумагой.

Хайди медленно разделась и подошла обнаженной к зеркалу, чтобы, как всегда по вечерам, рассмотреть себя. «Когда же ты вырастешь? — спросила она у своего отражения. — Ни лица, ни личности. То есть слишком много и того, и другого». Она вела себя, как неуклюжий подросток, с Никитиным, как невинная дева — с мсье Анатолем, как старшая сестра — с Борисом. При этом она не притворялась, а просто автоматически начинала исполнять ту роль, которую уготовили для нее другие. Женщина-хамелеон! Ни внутреннего стержня, ни веры, ни твердых убеждений. Русский был совершенно прав, когда взирал на нее с отвращением.

Она оглядела себя в зеркале с головы до ног. Как бы изысканно она ни наряжалась, в ее внешности всегда было что-то не так. Даже сейчас, когда она осталась без одежды, в ней оставалась какая-то несообразность. Основная беда — конечно, ноги, слишком толстые и бесформенные. Они совсем не гармонировали с узкими плечами и тонкой талией. И хотя ее овальное личико с мягкими каштановыми волосами, расчесанными на прямой пробор, и карими глазами было определенно милостивым, в нем тоже чувствовалось какая-то неправильность: оно не соответствовало ее фигуре ниже бедер. Хайди умела безошибочно угадать, беременна ли женщина, просто взглянув на ее лицо. Точно так же она знала по опыту, что в лице красивой женщины с некрасивыми ногами или с каким-то еще скрытым дефектом всегда есть что-то трогательное и обезоруживающее. Лица таких красавиц как будто просят прощения.

Она накинула халат и оперлась коленями о потертую скамеечку. Она повсюду возила ее с собой с тех пор, как покинула монастырь. Она крепко сцепила пальцы, закрыла глаза и сделала два глубоких вдоха. «ПОДАРИ МНЕ ХОТЬ КАКУЮ-НИБУДЬ ВЕРУ», — медленно выговорила она. После этого, нырнув в постель, она потянулась за сумочкой и стала рыться в ней в поисках аспирина. Ее пальцы наткнулись на записную книжку Никитина, и она, почувствовав любопытство, извлекла ее на свет. Теперь она знала, что мысль о ней весь вечер оставалась у нее в подсознании.

Книжка не была разбита на дни, как дневник, а состояла из простых разлинованных страничек. Некоторые оставались чистыми, другие были исписаны мелким почерком на чужом языке. Текст

походил на стихи, так как строчки располагались колонками, а справа и слева оставались поля. В каждой строчке было всего по два, максимум три слова, завершались же строчки зачастую какими-то значками — то минусом, то плюсом, то вопросительным, то восклицательным знаком. Некоторые буквы кириллицы не отличались от латинских, и, проговаривая про себя оборванные на середине слова, она внезапно поняла, что все это имена, возможно — людей, с которыми господин Никитин встречался на различных вечерах. Он был, должно быть, аккуратным человеком, раз записывал имя каждого; но, кажется, кто-то говорил, что он атташе по культуре, так что это, наверное, часть его работы. Значки, сопровождавшие имена, говорили, вероятно, о том, нравились ли господину Никитину эти люди или их политические взгляды, кого из мужчин стоит приглашать на ленч и кого из девушек — в постель. Все это было довольно-таки отвратительно, но отвратительнее всего была она сама, сующая нос в убогий людской каталог чужого человека. Завтра же надо будет найти способ, чтобы вернуть книжку владельцу.

А вдруг Никитин — зловещий шпион? Такое случается сплошь и рядом. Но инстинкт подсказывал ей, что шпионы не разгуливают с карманами, набитыми списками агентов. В списках был не один десяток имен: «Жаны», «Пьеры» и «Максимы» повторялись по несколько раз. Последняя страничка завершалась именем «Борис», что свидетельствовало о том, что Никитин записывал имя человека, как только встречался с ним. Ей стало интересно, фигурирует ли среди прочих и ее имя, однако не смогла отыскать словечка, которое напоминало бы его хотя бы отдаленно. Хотелось бы знать, каким знаком Никитин пометил ее — может быть, восклицательным? Нет, скорее крестом — желая ей поскорее сойти в могилу...

Она сунула книжку обратно в сумочку, выключила свет и со знакомым ощущением пустоты внутри приготовилась ко сну.

## II Приглашение в Оперу

Утром Хайди позвонила мсье Анатолю, добилась от мадемуазель Агнес номера телефона Никитина и позвонила ему в отель. Нелюбезный консьерж заставил ее трижды повторить фамилию по буквам, а затем потребовал, чтобы она назвала себя. Последовало томительное ожидание. Наконец, на другом конце провода раздался хриплый голос, звучавший по телефону вдвойне чужеземно: — Да? Хайди назвала свое имя.

— Вы помните меня? — спросила она. Последовала пауза, и голос повторил так же бесстрастно:

— Да.

— Я звоню, чтобы сказать вам, что нашла вашу записную книжку. Может быть, вы даже не знаете, что потеряли ее? Она выпала из кармана, когда уносили в ванную ваш пиджак, и я положила ее в свою сумочку. Мне очень неудобно — это я во всем виновата.

Она замолчала в ожидании ответа. Голос в трубке снова проговорил «да».

— Хотите получить ее назад?

— Да.

— Я бы выслала ее вам, но у мсье Анатоля не оказалось вашего адреса — только номер телефона. Назовите, пожалуйста, куда ее можно выслать — или, может быть, мне куда-нибудь подойти? — добавила она запоздало. Ей следовало предложить это с самого начала — она и так причинила ему столько неудобств.

Голос Никитина помедлил и сказал:

— Давайте встретимся.

Даже среди парижских женщин Хайди выделялась привлекательной внешностью. Федя Никитин подивился, как он не заметил этого накануне. В своих овальных темных очках она походила

на неуловимую кокетку в маске с венецианского карнавала.

Никитин был облачен в тот же немного кричащий голубой костюм, в котором явился к мсье Анатолю. Он с беззаботным видом ступил на террасу кафе «Вебер», будто не ждал никаких встреч. Но, хотя на его хмуром лице не появилось приветливого выражения, он, видимо, сразу узнал ее в толпе, ибо направился напрямиком к ее столику. К удивлению Хайди, он церемонно поцеловал ей руку, после чего уселся рядом, предварительно отбросив стул пинком ноги. Этот последний поступок так контрастировал со старомодным целованием руки, что Хайди не смогла удержаться от смеха.

— Где вы приобрели эту привычку? — спросила она.

— Какую привычку? — вежливо осведомился он.

— Целовать ручку. Мы так не делаем, и я думала, что и вы больше этого не делаете, во всяком случае, после революции.

— Французам это нравится, — осторожно ответил он, словно боясь угодить в ловушку. — Положено следовать обычаям страны.

— Это ужасно негигиенично.

— Да.

Возникла пауза. Его лицо оставалось непроницаемым, он все так же избегал улыбаться. Хайди подумала, не стоит ли сразу отдать ему записную книжку. Но это было бы слишком грубо и поделовому; потом останется только встать и распрощаться.

— На пиджаке не осталось пятен? — спросила она, разглядывая его лацкан. Ее внимание привлек его новый галстук кричащей расцветки.

— Нет, ничего, — сказал он и тоже скосил глаз на свой пиджак, желая удостовериться, все ли в порядке.

— Я очень виновата, простите меня.

— Ничего, — повторил он.

Хайди подумала, что он ведет себя, как надувшийся мальчишка, но сочла такое поведение довольно привлекательным.

— В общем, я захватила с собой вашу книжку, — сказала она, надеясь, что это заставит его расслабиться. Но стоило ей заглянуть в сумочку, как он выбросил вперед руку и защелкнул замок.

— Не здесь, — произнес он. — Потом, когда я поведу вас к такси.

— Почему? — удивленно проговорила Хайди. Она с любопытством отметила, что у него большие руки сельского парня, с неотмываемыми темными каймами под тщательно обработанными ногтями.

Он оставил ее вопрос без ответа. Вместо этого, впервые глядя ей прямо в глаза, он сам спросил:

— Зачем вы ее взяли?

Его голос звучал ровно, почти беспечно, чего никак нельзя было сказать о взгляде. Его широко расставленные глаза, расположенные на одной линии с впадиной, отделяющей его виски от широких скул, смотрели на нее с пристальностью, делающей бессмысленной легкую светскую болтовню и отмечающей всякие формальности, подобно тому, как он минуту назад отбросил ногой стул.

— Не знаю, — пролепетала Хайди. Она почувствовала, что ее лицо, несмотря на косметику, заливают бледность. — Я подобрала ее, когда она выпала из кармана, и собиралась отдать ее вам — но вы были заняты беседой с мсье Анатолем, поэтому я сунула ее в сумочку и забыла о ней...

— Забыли, — повторил он с иронией и надменно улыбнулся.

— Должно быть, так. — Только что она чувствовала, что бледнеет, теперь же покраснела, как девчонка, уличенная во лжи.

— Кому вы ее показывали? — спросил он почти грубо.

— Показывала? — Ее брови поползли вверх, и она беспомощно уставилась на него. — Да вы с ума сошли!...

Он пристально посмотрел на нее. Поняв, насколько ее удивил его вопрос, он стал преображаться на глазах: после беззвучного вздоха его мышцы расслабились, взгляд, перестав быть острым, как сверло, пополз к ее шее, плечам, груди, после чего он снова стал глядеть ей в лицо, но уже с чуть насмешливой улыбкой.

— Значит, это было простое любопытство?

— Думаю, что да, — виновато призналась она.

— А вы сами в нее заглядывали? — Его взор вновь ожесточился.

— Да — лежа в кровати. — Зачем было сообщать ему об этой подробности? Она ругала себя, зная при этом, что, чем больше она ощущает себя мошенницей, тем более ангельской становится ее внешность. Папина темноволосая нимфа... Однажды, еще ребенком, притворившись спящей, она слышала, как он шептал ей эти нежные слова.

— Вы понимаете кириллицу? — спросил Никитин.

— Нет. Но я догадалась, что там записаны имена людей, с которыми вы встречались в гостях. Вы, видимо, часто ходите в гости.

Выражение его лица вновь утратило озабоченность и стало по-доброму насмешливым.

— Я работаю в культурной миссии.

— А что там за значки после имен? — полюбопытствовала она.

— А вы догадайтесь. Вы же такая умница!

Удивительное нахальство! Еще более удивительным было то, что она позволяла ему так себя вести. Он понимает, как обходиться со мной, подумала она. Улыбнувшись до ушей, как догадливая ученица, она отбарабанила:

— Я подумала, что вы ставите каждому оценку за любезность, политические взгляды, сексуальность и кто знает, что еще. Я права?

Он все так же улыбался ей с поощрительной насмешкой.

— Да. Все мы играем в маленькие тайные игры, правда?

— Думаю, это гадкая игра — делить людей на категории.

— Разве? Что же здесь гадкого? — Ее замечание вызвало у него неподдельное изумление.

— Ну как же — это все равно что браковать скот, клеймить овец или метить деревья для вырубки.

— И что же в этом плохого? Категории приходится различать, разве нет?

Она пожала плечами и решила сдаться.

— Лучше угостите меня, раз мне пришлось столько из-за вас пережить.

Он поднял короткий палец, и запыхавшийся официант каким-то чудом мгновенно заметил сигнал и поспешил к ним, лавируя между столами. Хайди была сражена.

— Если бы я вела свой список, я бы поставила вам за это восклицательный знак, — сказала она.

— За что? — Всякий раз, когда до него не сразу доходил смысл ее слов, на его лице снова появлялось выражение настороженности и недоверчивости, почти что агрессивности, как у обидчивого подростка.

— За то, что вам удалось поймать взгляд официанта, — объяснила Хайди. — С точки зрения женщины, это показательный тест.

— А-а, понимаю. На властность, да? — Он улыбнулся, определенно пораженный женской проницательностью.

Хайди заказала подошедшему официанту перно. Федя восхищенно посмотрел на нее.

— Вы пьете ЭТО?

— Да, мне нравится.

— Очень сильная штука. Если выпить ее слишком много, можно потерять зрение и...

— Потенцию, — пришла ему на помощь Хайди.

Он во второй раз одарил ее откровенным, прямым взглядом, от которого у нее перехватило дыхание. Он не произнес ни слова, и Хайди стала отчаянно придумывать, что бы еще сказать. Наконец, она решилась броситься в омут с головой.

— У вас в стране все такие скромники? Но оказалось, что она нырнула в довольно теплую воду бассейна, освоенного множеством пловцов еще с незапамятных времен.

— Скромники? Дома мы говорим о естественных вещах естественно.

— Тогда почему вас покорило мое естественное замечание о предполагаемых свойствах перно?

Он улыбнулся и неожиданно мягко сказал:

— Вы говорите не естественно, а фривольно.

Официант принес заказ. Рассматривая желтую жидкость в рюмке, мутной пеленой окружившую кубик льда, она поймала себя на том, что кусает губу. Плохой признак. Федя подозвал официанта и одним глотком опрокинул свою рюмку.

— Еще две порции, — бросил он пораженному официанту.

— Боже! — вскричала Хайди. — Разве можно поступать так с перно?

— А что? — Он дружески улыбнулся ей, показывая зубы. — Дома мы всегда так пьем.

— Но это же не водка.

— Нет. Это с запахом духов.

Он мирно поставил рюмку на стол. Даже выпивка у них пахнет духами. Вероломная Капуя! Солнце ласково освещало спинки плетеных стульев на террасе и сидящих на них прелестных женщин, размышляющих о том, с кем лечь в постель в следующий раз. На площади Согласия образовалась пробка из-за очередного парада в честь взятия Бастилии, и все таксисты и прочие водители беспрерывно гудели, забыв о хороших манерах. Сколько ждать вторую порцию? Желание выпить еще было единственным напоминанием о вчерашнем потрясении. Подумать только, что еще за пять минут до того, как его позвали к телефону, он терялся в догадках, что его ждет — Караганда или Заполярье!... И все из-за этой дамочки с лицом ангела при течке!

— Хотите пойти со мной в оперу? — спросил он с коротким кивком, обретая прежние церемонные манеры.

Вопрос прозвучал настолько неожиданно, что она чуть не подпрыгнула. Она как раз раздумывала о том, зачем ей все это понадобилось, как из всего этого выбраться, и хочется ли ей из этого выбираться.

— А вы любите оперу? — неуверенно спросила она.

— Конечно. Самая демократичная музыка, уступающая только хоровому пению.

— В каком смысле «демократичная»?

— Устав от музыки, вы можете разглядывать сцену. Устав от сцены, можете снова слушать музыку. Так необразованные массы приобретают привычку к музыке. Если вы поведете колхозников на симфонический концерт, их сморит сон.

— Неужели на все необходимо смотреть с точки зрения образования?

— А как же! Так говорил даже аристократ Лев Толстой. А еще греки — Платон, например.

Только ваши декаденты называют целесообразность в искусстве тиранией и регламентацией. Ну и пусть болтают!

Объясняя ей что-то, он говорил ласковым, теплым голосом, каким терпеливый учитель разговаривает с отстающим учеником. Кроме того, стоило затронуть абстрактные материи, как его французский становился более точным, как всегда происходит с людьми, учившими язык по книгам.

— Разве не ужасно, когда над поэтом или композитором довлеет цензура?

Он одарил ее снисходительной улыбкой.

— Цензура существовала всегда. В зависимости от классовой структуры общества менялись только ее формы. Данте, Сервантес и Достоевский творили в условиях цензуры. Литература, как и философия, всегда подвергалась регламентации, как вы это называете, со стороны церкви, князей, законов или реакционных предрассудков общества.

— Как насчет Греции?

— Что случилось с Сократом, а? Мы обходимся с людьми, проповедующими дурную философию, куда более культурно.

Он отправил второе перно следом за первым, не переставая улыбаться. Теперь он предстал совсем другим человеком по сравнению с тем, каким он казался вчера. Что за невыносимая смесь противоречий! Но говорил он просто и с полной убежденностью в своей правоте — в этом и состояло его превосходство над ней. У него есть вера, подумала она, сгорая от зависти, ему есть во что верить. Это и делало его таким замечательным и совершенно непохожим на людей, которых ей обычно приходилось встречать, — непохожим на нее, на ее отца, не говоря уже о клубе «Три ворона по кличке Невермор». Наконец-то ей повстречался человек, не запертый в стеклянную клетку.

В такси, увозящем ее домой, она отдала ему записную книжку. Он небрежно сунул ее в карман.

— Почему вы не хотели, чтобы я отдала ее вам в кафе? — спросила она.

— Да просто потому, — ответил он, улыбаясь ей своими светло-серыми глазами, — что тогда у меня не осталось бы времени пригласить вас в оперу.

Дома ей сообщили, что звонил мсье Жюльен Деллатр и оставил номер своего телефона.

### III Томление плоти

Одно из самых ранних воспоминаний Хайди было о том, как однажды ее разбудила мать. На матери вечернее платье из белого шелка. Она оставила дверь детской распахнутой, и в комнату проникают звуки играющего внизу граммофона, человеческие голоса и смех. Джулия Андерсон упирается рукой в стену в том месте, где висит картинка, изображающая Дональда Дака, словно пытаясь оттолкнуть стену от себя, и тело ее раскачивается, как раскачивались потом однажды люди на корабле во время шторма, когда Хайди тошнило. Она смотрит на Хайди, сжавшуюся в кроватке, и Хайди с ужасом замечает, что глаза у матери сильно налились кровью, как у сенбернара, так что между верхним веком и белком образовался красный ободок.

Сонная Хайди пугается еще сильнее и начинает хныкать. Мать, не сводя с нее глаз, ковыляет по комнате, все время отталкивая от себя грозящую наехать на нее стену. Она пробует улыбнуться Хайди, но из-за набухших глаз улыбка превращается в злобную гримасу. Она шепчет непонятные Хайди слова, то и дело хихикая и икая. Из ее рта доносится чудовищный запах. Хайди отодвигается к стене, но пальцы матери с острыми, покрытыми эмалью ногтями дотягиваются до нее и впиваются в тело. Наконец, до Хайди доходит, что мать хочет поиграть с ней в лошадки.

— Я лошадка — как папа, как папа, — пылко повторяет Джулия и неожиданно опускается на корточки, не обращая внимания на рвущийся шелк. Она описывает по полу круги, не переставая хихикать. Наступив коленом на подол, она прорывает в нем огромную дыру. Затем, оказавшись у постели Хайди, она снова тянет ее к себе, приговаривая:



— Пойдем, милая, поскачем вниз по лестнице! Неожиданный рывок — и она силком сажает Хайди себе на спину.

— Почему ты не мальчик?! Тогда ты могла бы скакать, как полагается...

Они вместе ползут по полу. Потом — толчок, падение, Хайди чувствует, что летит вниз, и — темнота. Когда она просыпается вновь, рядом с ее кроваткой сидит отец.

— Все нормально, Хайди, — говорит он, — мама больна, у нее мигрень.

Мать часто лечат от мигрени в больнице; кроме того, она подолгу лечится дома, где слоняется без дела с серым лицом, не произнося ни слова, не зная, куда себя деть, то и дело заливаясь слезами, почти не прикасаясь к пище и неожиданно поднимаясь из-за стола, отставляя полную тарелку. Слугам приходится передвигаться на цыпочках; все домочадцы ходят, приложив палец к губам. Хайди знает, что следует держаться от матери подальше, так как она утомляет и расстраивает ее. Она знает, что виновата во всем сама, потому что не родилась мальчиком. Усилия быть невидимой и неслышной парализуют ее. Ее жизнь протекает, словно в гагачьем пуху.

Еще ей помнились моменты, когда дом ломится от гостей, граммофон грохочет часами, а мать неестественно оживлена. Однако всякий раз это заканчивается какой-нибудь кошмарной сценой, навсегда отпечатавшейся в памяти. Как-то раз в воскресенье, когда слуги разошлись по домам, она застала мать в гостиной на кушетке полураздетой, в компании какого-то мужчины, собиравшегося сделать с ней что-то страшное. В другой раз мать привели вечером домой двое мужчин, и ее немедленно стошнило на ковер. Засел в памяти и вечер, когда, разбудив дочь, Джулия заявила, что им нужно серьезно поговорить о внутренней жизни Хайди.

— Мы так мало видимся, моя милая. Ты, наверное, умираешь от желания доверить мне свои секреты. Ну, расскажи мамочке все, все свои секреты, которых ты сама стыдишься — ВСЕ...

Хайди корчится от смущения: это пострашнее, чем катание на лошадке. Годы спустя, когда у нее возникало побуждение поговорить о своей «внутренней жизни», в памяти тут же воскресала эта сцена, и она замирала как вкопанная; так поднимались вокруг нее стены стеклянной клетки.

Хайди было четырнадцать лет, когда мать исчезла из дома и вообще из ее жизни, более внезапно и необратимо, чем если бы ее унесла смерть, ибо существовало табу на воспоминания и на слезы, которые могли бы пролиться в связи с тем, что Джулия еще жила где-то — трясухая, хихикающая незнакомка с вывернутыми ресницами сенбернара. В тот день, когда увезли мать, у девочки началась первая менструация, и оба события остались в ее сознании связанными одно с другим. Рядом с ней не было никого, к кому бы она могла обратиться за утешением; она заглядывала в медицинский словарь, но все равно чувствовала себя грязнулей, таящей постыдные секреты, — нечистой дочерью нечистой матери. И тогда, жадно читая все подряд, она наткнулась на место в 1-м Послании Коринфянам: «Сеется в тлении, восстает в нетлении; сеется в унижении, восстает в славе; сеется в немощи, восстает в силе».

Слова эти поразили ее, подобно молнии. Ей показалось, что у нее в глазах мелькнула вспышка озарения, за которой последовало странное чувство покоя, подобно тому, как после грома по траве начинают мягко шлепать капли дождя. Однако это ощущение скоро покинуло ее, и много месяцев подряд ей снилось, как она сидит у матери на плечах, а потом летит вниз, в темноту. Она пробуждалась от собственного вопля и с трудом понимала, что не издала ни звука; крик застревал у нее в груди и оставался гам вместе с пылью от высохших слез. При свете дня, чувствуя на себе озабоченный отцовский взгляд, она напускала на себя призрачное веселье, похожее на кустарный грим. Первый опыт ласк, на которых она настояла сама, оставил ее холодной. Выдохшийся школьник спросил ее: «Если на тебя это совершенно не действует, какого черта надо было все это затевать?» «Чтобы доказать самой себе, что я чиста», — искренне ответила она.

Когда ей исполнилось пятнадцать лет, полковник получил назначение в Англию в качестве военного атташе, и Хайди по ее собственному желанию отдали в интернат при монастыре Ордена Пресвятой Девы, где матерью-настоятельницей была сестра Джулии. Когда Хайди родилась, Джулия настояла, чтобы ее крестили в католической вере; однако на этом интерес Джулии к религиозному воспитанию дочери кончился. Теперь же, оказавшись за древними каменными стенами монастыря на

Котсуолдских холмах, девочка почувствовала, что перед ней открывается иной мир — далекий, безмятежный, холодный: такой она представляла себе жизнь на Луне. Даже запах ладана был для нее новостью. Его сладковатые, чистейшие пары, как будто проникали во все ее поры, изгоняя из нее все шлаки, подобно божественному бальзаму. Стараясь сберечь эту вновь обретенную ясность и простоту, она сторонилась других девушек своего класса. В большинстве своем они были англичанками и отставали в физическом и умственном развитии от Хайди; рядом с ними она казалась самой себе взрослой и опытной. В первый же месяц Хайди стала schwarmen<sup>4</sup> об учительнице французского — симпатичной крепенькой монахини из Перигора и очень скоро получила от нее весьма резкую отповедь. Сестра Бутийо шла одна по парку после хоккейного матча — она была капитаном команды, — когда Хайди окликнула ее и, схватив за руку, проговорила, задыхаясь:

— Вы играли божественно — о, я так вас люблю!

Монахиня остановилась, как вкопанная, вырвала руку и, залившись краской гнева, словно Хайди сказала что-то оскорбительное, произнесла с сильным французским акцентом, придававшим английским словам несвойственную им округлость:

— Наречие «божественно» относится к Богу, а не к хоккею.

Они стояли на тенистой липовой аллее, рядом с каменной скамьей, примостившейся под крашенным деревянным распятием.

— Если же вы обладаете таким избытком любви, лучше обратите ее на Него. — Она указала на поникшую фигуру на кресте и собиралась продолжить путь, когда заметила наворачнувшиеся у Хайди на глаза слезы. Она поколебалась и закончила более ласковым голосом:

— Это самый лучший methode... У вас есть прекрасные английские переводы псалмов. — Старательно выговаривая слова, она продекламировала: — My soul thirsteth for thee, my flesh also longeth for thee in a dry and lonely land, where no water is<sup>5</sup>... Поразмысли над этим. — Ее хорошенькие губки, юные, но уже цвета подвявших розовых лепестков, сложились в подобие улыбки: — Это самый лучший methode. — Она кивнула, повернулась и зашагала прочь по аллее.

Хайди оглянулась на деревянную фигуру на кресте. Она была очень старой, так что даже растрескался череп; трещины напоминали страшные раны, словно над телом измывались до сих пор. Чем больше Хайди всматривалась в Христа, тем больше ей начинало казаться, что в любую минуту гвозди, удерживающие руки на перекладине, могут перестать выдерживать вес тела, и оно рухнет на землю, покрытую гниющими осенними листьями. В тех местах, где гвозди пронзали ладони, дерево и впрямь стало совсем трухлявым, словно раны разъела безжалостная гангрена. Пальцы не были плоскими, стилизованными; наоборот, они отчаянно корчились в воздухе, словно от непереносимой боли. На лице лежала печать безнадежного мученичества, которому не видно конца. Хайди почувствовала, как внутри у нее все переворачивается от спазм жалости при виде столь кошмарных физических мук. Ее обдало горячей волной, стеклянная клетка не выдержала жара, и уже через мгновение в ее памяти вспыхнули, как наяву, два ярчайших воспоминания. Сперва она вспомнила, как год тому назад у них в гостинной производили генеральную уборку; служанка сняла с дивана ситцевое покрывало, и на свет появилась истертая обивка, вся смятая, в дырах, с торчащими наружу ключьями конского волоса; Хайди сделалось до того жалко старого дивана, оставшегося без одежд, что она расплакалась. Следом явилась та ночь, когда мать неожиданно опустилась перед ее кроватью на четвереньки и разодрала белое шелковое платье от колена до бедра, оголив бледную, поросшую волосами кожу. Тогда Хайди знала лишь одно — свой испуг; теперь же до нее дошло, что она испытала тогда не только ужас, но и жалость к матери с ее болезненной плотью.

Оба воспоминания быстро померкли, оставив после себя одну жалость; но теперь это чувство не походило больше на жалость к самой себе: это была более чистая, зрелая боль любящего сердца. Она поняла, что сделала колоссальное открытие, которое нельзя выразить словами. Она оглянулась и увидела, что и деревья, и удаляющаяся фигура сестры Бутийо выглядят теперь иначе, словно с них спала пыльная пелена. Все зримое стало совсем другим — сползла защитная оболочка, обтягивавшая

раньше все вокруг, подобно коже, и глазу предстала обнаженная плоть. Теперь все вокруг одинаково невыносимо страдало, и ей стало вдруг совершенно ясно, что и она, и все, что окружает ее, сделано из одного теста, что все сущее — звенья одной хитроумной цепочки. Хайди почувствовала такую нерасторжимую связь с миром, что ее собственное «я» стало растворяться в блаженной боли. Надо было быть слепой и глухой, чтобы не постигнуть эту очевидную истину гораздо раньше! «Тебя жаждет душа моя, по тебе истомилась плоть моя» — о, до чего все просто, почему же людям не дано разгадать этот секрет? Все они живут на иссушенной, истомившейся земле, ослепленные своими бесплодными страданиями, не ведая благодати, потому что им незнакома жалость. Ибо жалость есть сила, скрепляющая живой мир, дарующая ему связность, подобно тому, как сила тяжести удерживает на орбитах планеты. Без жалости мир людей рассыплется, как взорвавшаяся звезда.

Она снова посмотрела на скорбную фигуру на кресте, на разъедаемые гангреной руки, на скрюченные пальцы, на трещины, разбегающиеся по повисшей голове. Как только люди умудряются говорить столько ерунды о религии, когда все так ясно и очевидно! Он пришел, чтобы научить людей жалости — только для этого, ни для чего больше, — и он добился цели самым простым, самым прямым способом — приняв худшие телесные муки с единственной целью: чтобы люди учились жалости, глядя на его изображение, пусть даже минет тысяча лет. До чего же глупо утверждать, что он искупил своими страданиями грехи человечества! Ей никогда не удавалось постичь, как смерть одного человека в незапамятные времена может быть прощением ее грехов. Все это — недомыслие и чистое недоразумение. Связь между тем далеким событием и ее теперешним состоянием может появляться только тогда, когда, глядя на его изображение, она услышит в своей душе эхо его боли, несмотря на гигантскую удаленность в пространстве и времени, — подобно тому, как бледная, далекая Луна поднимает на земном море громадные валы. Конечно же, то же самое должны испытывать миллионы людей, взирающие на изображение на кресте! Их омывает волна жалости, и с этой волной их посещает смутное осознание слитности всего сущего — и любви. Ибо в любви сочетается восторг и боль, она рождается из боли — желание же не ведает жалости, это нечистый зуд, проклятие первородного греха, совершенного амебоподобным предком и не изжитого с тех самых пор. Растения роняют сухую пыльцу, подхватываемую ветром, пыльца оседает на благоуханных пестиках, звери же спариваются в омерзительных норах, *inter faeces et urinam*. Ее мысль потеряла ясность, в голове поплыл туман, и в глазах появилось осторожное выражение — почти как выражение Фединога лица, когда ему не удается понять слов собеседника. Однако облако пропало так же быстро, как приплыло, не покусившись на осознание того, какое грандиозное открытие ей удалось сделать, и на блаженное ощущение умиротворенности, похожее на шум дождя, пролившегося после грома.

Время от времени наступали моменты, когда в ее юном теле просыпались непомерные аппетиты и боль томления, но ей всякий раз удавалось вернуть душевный покой, неподвижность плоти и ума, сбережение которой казалось ей теперь единственной радостью жизни и ее целью. Вера ее, питаемая чувствами и умом, была абсолютной и до того очевидной в своей правоте, что она вскоре утратила способность понимать и людей, не разделявших ее, и то, чем была ее душа до прозрения. Она училась без труда, однако без любопытства и воодушевления, которые знала раньше. Ботаника, география, кавалькады князей и исторические сражения все еще воздействовали на ее воображение, однако ненадолго, подобно тому, как какой-нибудь ребус или головоломка, на короткое время занимая ум, не оказывают ни малейшего влияния ни на восприятие реальности, ни на интересы. Она посвящала молитвам не больше времени, чем ее одноклассницы, и избегала просьб ко Всевышнему — ведь для того, чтобы привести свое сознание в состояние созерцательного покоя, ей достаточно было присесть в одиночестве на каменную скамью на аллее и поднять глаза на деревянное распятие. Проходило совсем немного времени — и по аллее, подобно осеннему ветерку, к ней подкатывала волна нежности; омыв ее, волна милосердно продолжала свой путь, унося прочь все нечистое и само ощущение ее отдельного «я».

Она пробовала читать сочинения мистиков, но все слова, слишком потрепанные от частого употребления, вставали между ней и реальностью, подобно стене. У нее не было оснований сомневаться, что святая Тереза Авильская умела летать и иногда, сама того не зная, подлетала к потолку, как пузырек в стакане; но, если судить по словам, которыми она описывала свой экстаз, то, скорее всего, бедная Тереза, что называется, ходила на стоптанных каблуках. Одно время Хайди

увлекла проблема святости; она воображала, что ей явились признаки собственной избранности, постилась по несколько дней, думая, что этого никто не замечает, и носилась с дикой идеей, что, если она и впрямь святая, то у нее больше не будет менструаций. Однажды месячные действительно запоздали на целую неделю, и она всю эту неделю прожила в состоянии восторга, замечая время от времени, несмотря на напускное безразличие, любопытные взоры одноклассниц и бессловесное неодобрение монахинь, пока, наконец, во время редкой прогулки с сестрой Бутийо по излюбленной аллее, не почувствовала, что ошиблась. Она ринулась домой, плача от злости и унижения; во время исповеди ей показалось, что в голосе священника слышится ироническая насмешка, и до нее дошло, до чего чудовищной была ее самонадеянность; после этого эпизода она стала более уравновешенной и вообще повзрослела.

Теперь она знала, что до святости ей очень и очень далеко, да и шансов быть принятой в Орден у нее было маловато, если только она не научится хитрить и скрывать свои истинные намерения. Политика Ордена состояла в том, чтобы не потворствовать каким-либо поползновениям учениц в данном направлении, — частично дабы подвергнуть испытанию решимость и подлинность призвания возможных кандидаток, частично из-за того, что репутация и само существование школы зависели от отказа заниматься ловлей душ. Сестра Бутийо поведала ей об этом с тем лукавством, которое, казалось, было припасено у нее специально для Хайди.

— Тебе никогда не стать хорошей католичкой, малышка, — заявила она. — Хорошие католички не вырастают в небоскребах. Они вырастают в латинских странах, среди виноградников.

— А как же ирландцы? — возмутилась Хайди. — Знаете, я наполовину ирландка.

Она была выше монахини-француженки на несколько дюймов; когда они прохаживались парой, Хайди походила па хрупкого пажа или молоденького идальго, галантно сопровождающего строгую полноватую сеньору. Целостность впечатления нарушали только далеко не худые ноги пажа.

— О, ирландцы — кельты, значит, почти галлы, — ответствовала сестра Бутийо. — Они пришли со Средиземноморья. А вы посмотрите на баварцев! Они изображают из себя католиков, а сами — настоящие боши, дикари с необъятными зобами, литрами дующие пиво из глиняных кружек. Католицизм не сочетается с пивом — это протестантский напиток, безвкусный, fade би пресный. А вы, моя маленькая, будете пить коктейли — фи! — Она пренебрежительно сморщила свой курносый носик. Хайди знала, что монахиня испытывает ее по каким-то плохо понятным ей соображениям, но все равно побледнела и без всякой подготовки, даже не будучи уязвленной, с ходу разревелась.

— Ну вот, хотите быть католичкой и даже не понимаете шуток, — произнесла сестра Бутийо и удалилась по аллее своим обычным решительным шагом.

Хотя больше ни одна монахиня не разговаривала с ней с таким сарказмом, как сестра Бутийо, Хайди научилась не раскрывать своих намерений, глубины и напряженности своего религиозного чувства. Она знала, что, прояви она искренность, ее тетушка-настоятельница — высокая, костлявая, грозная придира, обращавшаяся с Хайди с ледяной официальностью — сочтет своим долгом уведомить ее отца, который, скорее всего, заберет ее из школы.

Повинуясь инстинкту, она освоила технику скрытности, превратившуюся в привычку. Она старалась казаться веселой, интересующейся учебой, не такой мечтательной и самоуглубленной. Поскольку ей нельзя было оставаться собой, ее личность почти не проявлялась. Ей всегда удавалось без особых усилий играть ту роль, которую от нее ожидали те или иные партнеры по общению. Во время прогулок с сестрой Бутийо она была юным пажом с прижатой к ноге невидимой шпагой; при разговоре с матерью-настоятельницей она превращалась в беспрерывно заливающегося краской подростка с опущенными долу глазами; с подругами же она вела себя, как типичная американская болтушка, забросившая мрачные медитации и воспылавшая страстью к хоккею на траве. Парадоксальность ее ситуации напоминала анекдот, рассказанный как-то раз в спальне одной девочкой еврейского происхождения.

— Как вы знаете, а может, и не знаете, — начала эта девочка по имени Мириам Розенберг, когда погас свет, — в евреев принято, чтобы во время больших праздников и ход в синагогу был

платным — места на скамьях продаются по билетам, цены на которые зависят от близости к алтарю. Так вот, однажды в День Искупления — самый большой еврейский праздник — синагога в городке, где жил мой дедушка, была набита до отказа боролатыми евреями, колотящими себя в грудь кулаками и хором исповедующимися в своих грехах. Это — наиболее торжественный момент богослужения. В этот самый момент к двери синагоги подошел какой-то помятый тип и попросил разрешения переговорить с дедушкой, сидевшим в первом ряду. «У вас есть билет?» — подозрительно спросил его служитель. «Нет, — ответил тот, — мне просто нужно поговорить с Моисеем Розенбергом. Это очень, очень срочно». Тогда служитель осмотрел его с ног до головы и сказал: знаю я эти фокусы, мошенник, ты хочешь помолиться...»

Слушатели прыснули со смеху. Хайди еще долго не могла перестать смеяться: ее состояние было близко к истерике.

Шли месяцы, и вера Хайди стала изменяться. Ее ткань постепенно утрачивала неровности и начинала больше соответствовать тому, что существовало вокруг, — под влиянием наблюдений, исповедей и редких, но неизменно болезненных разговоров с сестрой Бутийо. Сперва мозг Хайди восставал против догмы, отчаянно сопротивлялся приколачиванию ее собственного зыбкого эмоционального опыта к шероховатой стене произвольной последовательности событий, раз и навсегда установленных дат и географической привязки. Ее посещала догадка, что, несмотря на все ее ухищрения, наставницы отлично знали, что с ней творится. Как-то раз, беседуя с сестрой Бутийо, она не смогла удержаться от иронического замечания по поводу абсурдности, какая виделась ей в жесткой, догматической форме веры. Они как раз шли по берегу крошечного пруда в конце ее излюбленной аллеи. Немного помолчав, сестра Бутийо сказала:

— Какая же вы умница-разумница! Выходит, вы изобрели подлинную религию, подобно человеку в далекой русской деревне, который изобрел велосипед в 1936 году...

Хайди покраснела. Они прошли еще немного, не произнося ни слова. У самого пруда монахиня остановилась и сказала:

— Созерцание — размышления — мистические переживания — вы думаете, это все, что требуется. Но переживания подобны воде — они то переполняют вас, то выливаются через малюсенькое отверстие, сделанное пустяковым, но острым соблазном, незамеченным грехом, злобой, кольнувшей, как острие иглы. Вам покойно, вы, возможно, чувствуете благодать, дружбу Господа, как мы говорим, — и вдруг легкий укол, разрыв, и где он, покой? Где благодать? Чувство оставляет вас — кап-кап, — вы опустошены и иссушены. Но взгляните на этот пруд, на эти водяные лилии! Это тоже жидкость, но почему пруд всегда полон и спокоен? Потому, что его удерживают берега, ограничения, твердые, очерченные формы. Без этих ограничений, без жесткого догматизма берегов не было бы ни наполненности, ни покоя. Voila <sup>7</sup>...

Она помолчала и с улыбкой на подвядших губах — единственной подвластной времени части ее лица — добавила:

— D'ailleurs <sup>8</sup>, согласившись с необходимостью берегов, вы увидите, что форма пруда не может быть отличной от существующей. Il n'y a que le premier pas qui route <sup>9</sup> — остальное последует само по себе. Можете принять это, можете отринуть, но изменить что-либо вы не и силах... — Ее улыбка стала еще более иронической, однако голос зазвучал мягче обычного: — Кажется, вы уже созрели, чтобы принять, — все равно это лучший methode... Бесперывно изобретать велосипед утомительно даже для умных малышек, правда?

Сестра Бутийо была, как водится, права. Однажды, еще ребенком, Хайди была поражена романом Жюль Верна, где говорилось об озере, которое не замерзало, несмотря на сильный мороз, пока мальчишка не запустил в него камешек, и рябь за несколько секунд превратила всю поверхность воды в лед. Этот процесс, называемый химиками «инокуляцией», казался ей самой близкой аналогией внезапной кристаллизации ее веры, всего за несколько недель после того разговора приобретшей жесткие очертания и структуру. Когда при ближайшем же посещении ею Лондона

---

7

8

9

отец, после продолжительного топтания вокруг да около, преодолел робость и поинтересовался, что заставляет ее принять доктрину Церкви, Хайди ответила не задумываясь, улыбнувшись столь наивному вопросу:

— Да просто потому, что она правильна!

Полковник не стал настаивать.

В семнадцать лет, через два года после поступления в школу при монастыре, у Хайди сложилась уверенность, что она выдержала первый круг испытания. В отношении к ней монахинь — исключая сестру Бутийю, зато включая теперь мать-настоятельницу — произошла некая перемена. Ей все так же приходилось вести себя с крайней осмотрительностью под их спокойными, но пристальными взглядами, которые ничего не упускали, хотя ни на что не реагировали, однако теперь она меньше боялась их бдительности. Она давно уже поняла, что здесь фиксируются не только все ее самые незначительные действия, но и неосуществленные порывы и невысказанные мысли. Какой наивностью было воображать, что она сможет их провести! Порой это постоянное наблюдение — ненавязчивое, но вездусущее — вселяло в нее панику, сравнимую с тем, что должен был бы, по ее представлениям, испытывать гражданин полицейского государства. Однако мало-помалу, по мере того, как ее вера научилась приспосабливаться к неодолимому давлению среды, страхи пошли на убыль, и она обрела уверенность в себе, подогреваемую молчаливым одобрением старших. Как далеки были теперь те дни, когда она смела верить по собственному разумению, утверждать, пусть только наедине с собой, что сущность христианства есть сострадание, и что задача Иисуса состояла в том, чтобы научить человечество жалости, и ни в чем больше! Теперь она знала, что такие взгляды были пантеистической, в лучшем случае деистической ересью, вдвойне опасной из-за высвобождаемых ею неконтролируемых эмоций — болезненного блаженства и восторга, которые теперь, с высоты прожитого, казались ей таким же грубым потворством собственным желаниям, как и плотские наслаждения.

Вера Хайди, когда-то сравниваемая сестрой Бутийю с текучей жидкостью, теперь походила на кристалл с твердой, но ломкой поверхностью, тщательно оберегаемой от малейших повреждений. Если чему-то внешнему удавалось пробраться в потайные закоулки ее души, она горевала много дней. Теперь, однако, монахини спешили прийти ей на помощь; приступы сомнения воспринимались ими как обычное дело, и у них всегда были наготове способы их лечения. Снова, как в начале своего обращения в истинную веру, она относилась к себе самой в прошлом, как к чужой — с отвращением и презрением. Непримиимость, с которой она воспринимала теперь собственное прошлое, стала распространяться и на других людей. Ведь они жили в так хорошо знакомом ей невежестве и самодовольстве! Они находились на стадии развития, давно пройденной ею, упорно цеплялись за свои вопиющие ошибки, долбя, как попугаи, одни и те же дешевые, избитые, псевдоразумные доводы. Она улыбалась с вежливой снисходительностью, однако внутренне содрогалась от гнева, подобно тому, как взрослые краснеют от глупостей подростков, повторяющих, как в кривом зеркале, их собственные прошлые прегрешения. Несмотря на все старания, ей не хватало терпения; рассудок подсказывал ей, что только крайние меры могут открыть истину всем этим слепым и глухим.

И вот однажды, при очередной вспышке внутреннего озарения, посещавшего ее теперь все чаще (до чего же права была сестра Бутийю, говорившая, что труден бывает только первый шаг!), она осознала глубину мудрости воинствующей Церкви прошлых веков. О, бессмысленность всей этой поверхностной болтовни об инквизиции! Она прочитала несколько книг об этом и задохнулась от стыда за собственную глупость. Как она могла не видеть фактов в их подлинном свете, как могла так долго оставаться ослепленной преувеличениями и лукавыми искажениями, исходившими из вражеского лагеря? Она с трудом дождалась очередной прогулки с сестрой Бутийю, хотя знала, что у монахини уже есть наготове очередная обидная отповедь. Как и следовало ожидать, замечания Хайди, пусть высказанные нарочито бесстрастным, почти незаинтересованным тоном, были встречены с хорошо знакомой хитрой улыбкой.

— Как жаль, что Торквемада и Лойола были мужчинами, правда, малышка? Была еще, конечно, Жанна д'Арк, но англичане не склонны почитать дев, закованных в доспехи. Ах, вот если бы вы стали мужчиной...

Слушать это было больно, но такая боль уже не слишком беспокоила ее; гибкая защита,

выставляемая ее разумом, оставляла неприкосновенной кристальную оболочку ее веры. Впечатления от внешнего мира, все, от всего, что она читала и слышала, доходили до этой драгоценной оболочки, уже будучи преломленными защитными призмами и трансформированными в волну надлежащей длины. Ведь истинная вера находит для себя подтверждение в каждом факте жизни, подобно тому, как листья растения преобразуют все спектры света в зеленый. В ответ на это из самых глубин ее души поднималось к самым глазам и стремилось через них наружу яркое свечение, дополняемое изменившимися жестами и голосом, которые были заметны даже чужим.

Когда Хайди давала свои первые обеты, она была уже молодой женщиной старше восемнадцати лет с безусловно предначертанной блестящей карьерой в Ордене. Во время единственной за все эти годы встречи со своей свояченицей, матерью-настоятельницей монастыря, полковник спросил ее с тоскливой покорностью:

— Моя дочь собирается стать святой?

— Из нее выйдет неважная святая, — последовал сухой ответ, — и мы позаботились о том, чтобы выбить эту идею у нее из головы. Нам нужны не святые, а крестonosцы, и, к счастью, это больше соответствует наклонностям моей племянницы Клодах.

Она всегда называла девушку ее вторым, ирландским именем.

Хайди была счастлива, как никогда раньше или потом. Лишь изредка, подобно тому, как на солнце появляется иногда черное пятно, ее торжество порой заслонял неожиданный приступ смятения, недолгое завихрение страха, что все это слишком хорошо, чтобы быть правдой, и что наступит день, когда она снова погрузится в темноту, где поджариваются на углях собственной жажды души невежд.

#### **IV Атомы и обезьяны**

Дедушка Арин был родом из Турецкой Армении. В 1895 году, на Рождество, тысяча двести армян — мужчин, женщин и детей — были заживо сожжены в храме Урфы. Дедушка Арин чудом избежал смерти, но его жена и шестеро детей сгинули в пламени. На него самого рухнуло горящее бревно, переломив ему позвоночник. Но для того, чтобы убить его, потребовалось бы падение всего церковного свода. Его фигура осталась скрюченной на всю жизнь, подобно дереву, пережившему удар молнии, но он не превратился в калеку. Он был очень высок ростом, и угол, образованный верхней и нижней частями его тела, придавал ему особое очарование, словно он все время вежливо кланялся своим собеседникам. У него были худые, но широкие плечи, длинная шея и голова старого ястреба, которую он держал гордо запрокинутой, что скрашивало его сутулость.

Примерно неделю Арин пролежал в канаве; турецкие солдаты приняли его за мертвеца. Затем его подобрала миссионеры и прятали до тех пор, пока он не смог снова ходить. «Что ты собираешься делать, несчастный?» — со слезами в голосе спросила его жена одного из спасителей. Он поднял голову, окинул ее неукротимым взглядом своих черных, близко посаженных глаз и сказал: «Я найду себе другую жену и заведу еще шестерых детей, только на этот раз это будут мальчики».

Он был сапожником по профессии и, несмотря на неграмотность, состоял членом тайного общества, стремившегося возродить свободную, независимую Армению. Несколько членов общества учились и торговали в России и даже в Германии, и благодаря им Арин нахватался современных европейских идей. Много лет спустя он делился ими со своим внуком Федей. «Секрет жизни, — сказал он Феде, — это атом. Бога нет: он был стариком и умер давным-давно от разрыва сердца. Теперь все зависит от атомов, маленьких дьяволят». Качая маленького сироту на колене, он объяснял ему происхождение человека: «Адам был обезьяной. В те времена, много столетий назад, обезьяны правили миром. У них случилась война, и обезьяна с самыми сильными атомами стала человеком. Сразу видно было, что это человек, потому что у него имелось достоинство». Когда мальчик подрос, дедушка Арин продолжил разъяснения по поводу вопроса, по которому у него имелись свои теории. «Обезьяны, — сказал он, — совокупляются через живот. Но Адам перевернул свою жену и, поцеловав ее промеж глаз, вошел в нее. Так он обрел достоинство и стал человеком».

Окрепнув в миссии, он прошел по армянским вилайетам Турции до самого Еревана. По дороге он зарабатывал на жизнь как странствующий сапожник. Кроме того, он рассказывал жителям деревень об атомах, обезьянах и человеческом достоинстве. Он подыскивал себе новую жену, но резню пережило мало армян, а все их дочери были обесчещены турецкой солдатней; кроме того, ему хотелось добраться до России, чей царь, как говорили, защищал армян и обещал им независимость.

Однако Ереван разочаровал его. На узких, пыльных улочках, вьющихся среди убогих домишек, жили лагерями сотни жалких беженских семей с детьми и всем имуществом. В тот самый день, когда Арин появился здесь, рота русских солдат окружила половину из них и препроводила назад, к турецкой границе, в страну смерти, откуда они бежали. Оказалось, что русский царь не лучше турецкого султана, а солдаты остаются солдатами, несмотря на форму. Поэтому Арин в тот же день отправился дальше, через хребет Малого Кавказа, в Тифлис. Там, в этом большом, оживленном многонациональном городе он, наконец, почувствовал, что удалился на достаточное расстояние от своих воспоминаний. Крики, дым, запах горящих волос больше не преследовали его. Проходя по узенькой улочке мимо лавки обувщика, он заметил в дверях глазастую девушку. Он зашел в лавку, спросил, не найдется ли здесь для него работа, добавил, что ему неважно, сколько ему станут платить, и был принят. Девушку звали Тамар; хозяин, отец Тамар, был пожилым грузином и, значит, врагом Армении, но, подобно Арину, он был атеистом, верил в атомы и состоял членом тайного общества, боровшегося за свободу и независимость Грузии. Общество Арина называлось по-другому, но какое это имело значение? Они были ветвями одного и того же дерева — дерева прогресса человека, стремящегося к достоинству и прозрению.

Спустя три месяца Арин женился на глазастой девушке, а спустя еще шесть месяцев она родила ему ребенка. Но его испытания еще не подошли к концу; атомы были пока против него. Хотя он обещал самому себе, что у него будет шесть сыновей, ребенок оказался девочкой; через три дня после родов мать умерла от септической лихорадки.

Малышка и тяжелая утрата связали мужчин теснее, чем тайные общества. Они просиживали целыми днями, склонившись над работой, в мастерской на грузинском базаре, выходявшей прямо на улицу, неспешно вгоняли деревянные гвозди в старые шлепанцы и беседовали, а девочка возилась у них в ногах. Ее назвали Тамар, как мать. У нее были тонкие черты лица матери, ее молчаливый характер и огромные глаза. Арин и Нико, старый грузин, часто философствовали насчет своей утраты. Они пришли к согласию, что виновна не Божья воля и не жестокость природы, а грязь и невнимание повитухи, а также отсутствие в Тифлисе врачей, которые лечили бы бедняков. Подобные же трагедии случались вокруг базара ежедневно; отец мог считать себя счастливым, если из пятерых его детей выживало двое. Трудно было придумать что-нибудь глупее; но как тут быть? В тайных обществах и Арина, и Нико говорили о свободе и независимости, однако никто, как видно, не знал удовлетворительного ответа на вопрос, что делать с убийственной бедностью. Свобода необходима, как воздух, однако ею не набьешь живот. Друзья говорили об этом много раз, изобретая самые дикие способы и тут же отбрасывая их. Оба были склонны к размышлениям, страдания научили их мудрости и достоинству. Однако оба не знали грамоты; они понимали, что ответ должен существовать, но найти его не могли.

Ответ появился лишь спустя несколько лет, на заре нового века. Он прибыл в обличье паренька по имени Гриша, работавшего на нефтеперерабатывающем заводе братьев Нобеле в Баку. Он был невысок ростом, с круглым загорелым лицом, усыпанным веснушками, круглой, как бильярдный шар, макушкой и удивительно гибкими суставами, казалось, специально предназначенными для мастерского исполнения кавказских танцев на пятках.

Гриша вошел в мастерскую как-то раз на исходе дня в 1905 году — в том году; когда шла русско-японская война и разразилась первая, неудавшаяся русская революция. Слухи о ней бродили по тифлисскому базару, но двум безграмотным сапожникам оставалось только беспомощно разводиться руками. Можно было подумать, что всему виной евреи на Украине и шпионы Микадо, подстрекающие народ на мятежи и подговорившие моряков Черноморского флота учинить бунт. Раз-другой юнцы сумасшедшего вида раздавали на базаре листовки, но их арестовывали и били смертным боем; так же поступали с теми, у кого находили такие листовки, пусть даже эти люди и не могли их прочесть. Долгие месяцы Арин и старый Нико жили в состоянии крайнего возбуждения: они знали, что так необходимый им ответ теперь почти у них под рукой, что вокруг них происходят



невероятно важные события, но события эти почему-то обходили стороной их неприметную мастерскую, подобно тому, как бури и землетрясения шадят чертог спящей красавицы.

Странного паренька первой заметила девятилетняя Тамар. Он без видимой цели слонялся по улице, заглядывая во все магазинчики, но не спрашивая ничего определенного. Что-то в его внешности заворожило девочку — то ли его высокие сапоги, то ли копна стриженных песочных волос над круглой веснушчатой физиономией. Она ничего не сказала, но скоро ее отец и дед глядели в ту же сторону, что и она. Гриша Никитин неуверенно подошел к их лавчонке и вошел внутрь. Сначала он ничего не говорил, но его светлые глаза, казавшиеся слишком безмятежными на насмешливом лице, быстро скользнули по немолодому мужчине, потом по старику, наконец, по девочке.

— Сможете починить мне сапог? Я подожду здесь, — сказал он.

Старый Нико молча кивнул, и Гриша уселся на табурет, предназначенный для заказчиков и зашедших поболтать соседей, и стянул правый сапог. Носок под сапогом затвердел от пота и крови стертых мозолей. Нико внимательно осмотрел сапог и произнес:

— Сапог цел, его не надо чинить.

— Нет, — ответил Гриша и, не меняя тона, продолжил: — Можете спрятать меня на ночь в своей мастерской? Я приехал из Баку, меня ищет полиция.

Арин медленно поднял голову от банки с клеем. Оба сапожника оглядели паренька со спокойным любопытством, но сердца их забились с тем возбуждением, которое охватывает старых дев, обнаруживших подкидыша на своих ступеньках. Они сразу догадались, что ответ, по которому они так тосковали, сам идет к ним в руки, что наконец-то забрезжил свет, способный пронзить тьму их невежества.

— Ты вор? — спросил Нико, не желая уронить достоинства.

— Нет, — ответил Гриша, пытаясь засунуть ногу обратно в сапог и морщась от боли, и добавил, словно это могло все объяснить: — Я же сказал, что приехал из Баку.

Глаза Тамар оставались прикованными к лицу незнакомца с той самой минуты, когда она заметила его на улице. Не говоря ни слова, она взяла у него сапог и зажгла примус, чтобы вскипятить воды. Когда она принесла таз и нагнулась перед ним, чтобы смыть с его ног запекшуюся кровь, он потрепал ее по головке, как котенка, и легонько подергал за длинные косички.

— Она сможет разносить записки, а может, и листовки, — заявил он, словно они уже обо всем договорились.

В мастерской была всего одна задняя комната без окна, где спали на циновках оба мужчины. Между циновками лежал набитый соломой матрас — кровать Тамар. Гостя можно было уложить только у стены, к которой вся троица была обращена ногами. Все последующие годы, приезжая по делам в Тифлис, Гриша спал у их ног на земляном полу, как большой сторожевой пес. Для всех четверых это были счастливые годы. Гриша состоял в большевистской фракции Бакинского революционного комитета. Политическое воспитание своих хозяев он начал с объяснения разницы между большевиками и меньшевиками. Из его рассказов получалось, что несколько лет назад эти две группы поссорились на партийной конференции в Англии, в Лондоне, и теперь ненавидели друг друга больше, чем общего врага — царя. Гриша, всегда расположенный пошутить и не терявший уравновешенности, впадал в бешенство всякий раз, когда речь заходила о меньшевиках — вся сложность заключалась в том, что в бакинском комитете эти самые меньшевики имели большинство. Ни Арину, ни Нико не удавалось постичь разницу между двумя фракциями до тех пор, пока в один прекрасный день Тамар, нарушив свое обычное молчание, не объяснила им нетерпеливо:

— Те, за которых Гриша, хотят всего, а другие — только половины, поэтому они вообще ничего не добьются.

Гриша одобрительно потрепал ее по волосам. В последнее время у него появилась привычка наматывать себе на ладонь ее косы во время разговоров, когда она сидела у его ног, а двое сапожников знай себе постукивали по гвоздикам. Было ясно без слов, что, как только Тамар минет пятнадцать, они поженятся.

За год до этого старый Нико тихо скончался после удара. Арин с дочерью жили теперь только появлениями Гриши, которые становились все более редкими. Дела у Гришиной партии шли все хуже. Ее члены, как видно, только и знали, что ссориться промеж себя, а вожди, в большинстве своем отправленные в ссылку после поражения революции 1905 года, продолжали заниматься этим и там.

Хотя Гриша никогда не рассказывал о себе, Арин с дочерью знали, что ему принадлежит теперь главная роль в революционной организации на бакинских приисках. Иногда он приносил газету «Бакинский пролетарий», которую тайно издавали его друзья, и читал им вслух некоторые статьи. Старый Арин, так и не научившийся за все годы правильно говорить по-русски, понимал его только наполовину; но девушка определенно упивалась каждым словом, меньше доверяя ушам и больше — своим черным, широко распахнутым глазам, раз и навсегда прикованным к Гришиному лицу. Гриша учил ее чтению и письму и иногда посылал передать записку или забрать у кого-нибудь рукопись, которой ждала бакинская газета.

Как-то раз он направил ее с заданием на другой конец города. «Не ходи мимо губернаторского дома», — наставлял он ее, разъясняя, как обойти опасное место. Тамар безмолвно кивала; она никогда не оспаривала то, что слышала от Гриши. Стоило ей уйти, Гришей овладело беспокойство — что случилось с ним редко, ибо всякий раз, когда ему приходилось оставаться в мастерской на какое-то время, он моментально валился на пол в задней комнатухе и читал статью или книжку, ничего не видя и не слыша вокруг. Через некоторое время Арин осведомился, не происходит ли чего-нибудь необычного.

— Скоро узнаете, — угрюмо отвечал Гриша.

Прошел час, и по базару разнеслась весть, что террористы бросили перед домом губернатора бомбу, убили не меньше дюжины людей и исчезли с огромной суммой денег, прихваченной из тщательно охраняемого почтового фургона. В те дни такие события случались часто, и Арин не одобрял их.

— Такие методы, — внушал он Грише, — расходятся с благородной борьбой народа.

— Согласен, — потупившись, отвечал Гриша. — Большинство из нас тоже против этого. Но другие доказывают, что партии нужны деньги и что цель оправдывает средства, так что на данный момент наше руководство поддерживает эти акции. Во всяком случае, терроризм — временная мера. Когда положение прояснится, нам не придется больше прибегать к подобным методам.

Такие разговоры убеждали Арина только наполовину, но он не находил слов, чтобы спорить с Гришей.

Однажды ночью, когда все трое спали в темной задней комнате, Арина разбудил тихий, сдавленный крик и частое дыхание. Он знал, что случилось неизбежное. Он давно был готов к этому и не сомневался, что честь семьи не будет страдать. Через несколько месяцев Тамар стукнет пятнадцать, и, хотя атомы не предрасположены к таинствам, молодые поженятся, чтобы не нарушать традицию. Кто знает, возможно, его внуки — а он поклялся, что у него будет не меньше шести внуков — увидят зарю новой жизни, когда иссякнет наследие мерзкой обезьяны, и все люди заживут мирно и достойно.

Через несколько недель молодые поженились, и Тамар уехала с Гришей в Баку. Арин остался в мастерской один; это были самые одинокие дни в его жизни, даже более одинокие, чем его путь из Урфы в Ереван. Однако они договорились, что он продаст мастерскую, как только найдется покупатель, и последует за дочерью и зятем.

Федя, Федор Григорьевич Никитин, родился в 1912 году в темном, сыром подвале Черного города в Баку. Теперь Гриша служил на нефтепромысле мастером. Все ранние воспоминания Феде были связаны со всепроникающим запахом нефти. Нефтью пахла комната, улица, хлеб, даже отец. Вернувшись с работы, Гриша залезал в маленькую лохань с водой и, распевая песни, пытался с помощью жесткой щетки и жидкого мыла очистить поры своей кожи от этого запаха. Это было неслыханное занятие, и Тамар так и не смогла к нему привыкнуть. Посадив Федю к себе на колени, она забивалась в дальний угол и сидела лицом к стене, не глядя сама и не давая глядеть сыну на бесстыжего Гришу, плещущегося в своей лохани, совершенно голого и белого как снег. Она ничуть

не возражала против мужниных объятий на расстоянии вытянутой руки от ребенка, спящего или притворяющегося спящим, лишь бы царила тьма; скромности требовало только ее зрение. Большинство нефтяников вокруг были мусульманами, и их женщин нельзя было увидеть иначе, чем закутанными в черное. Сама Тамар, выросшая в грузинской вере и не носившая покрывала, стыдилась своей принадлежности к меньшинству женщин, показывающему посторонним открытое лицо. Гриша частенько посмеивался над ее скромностью, и мальчик, еще не понимая, о чем идет речь, принимал его сторону. Он чувствовал, что его маме почему-то нравится, когда они подтрунивают над ней; так он начал проявлять свою любовь к ней.

Наплескавшись вволю, Гриша обычно уходил на собрание; иногда же, когда малярия вынуждала его остаться в постели, его навещали товарищи. Они были честными и добрыми, как сам Гриша; они были ласковы с Федей, хотя и обходились без сюсюканья, и разговаривали с ним, как с взрослым. Один из них был врачом с бородой, другой — адвокатом в пенсне, третий, с двойным подбородком, — певцом из Бакинского оперного театра, остальные — рабочими с приисков. Федя всегда мечтал, чтобы Гриша слег с малярией, и чтобы к нему пришли эти люди, расселись на ковриках и, беседуя, наполнили комнату синими клубами махорочного дыма. Сам он никогда не болел ни малярией, ни золотухой, от которой у большинства детишек Черного города глаза слезились, как у хворых щенят. Кроме того, у них были непропорционально большие головы и раздутые животы, под которыми подгибались их и без того кривые ножки, отчего походка делалась весьма шаткой. Федя, отличавшийся крепким здоровьем, относился к ним покровительственно, они же, как более слабые, признавали его верховенство. Однако отец говорил, что скоро все изменится, и все дети станут такими же сильными и здоровенькими, как Федя. Такая перспектива вызывала у Федеи некоторые опасения, однако их перевешивало любопытство и нетерпение, когда же грянут великие перемены, о которых без усталости рассуждал его отец и остальные мужчины, хотя ему самому не разрешалось заговаривать об этом вне стен родного дома. Он хранил тайну, как трудно это порой ни было, ибо знал, что, стоит ему проговориться — и эти люди никогда больше к ним не вернуться, а его папу заберут солдаты. Однако таинственность делала неминуемые перемены еще более загадочными и желанными. По утрам, едва проснувшись, он первым делом подбегал к окну, чтобы проверить, не стряслись ли уже эти самые перемены, так как не сомневался, что с их приходом изменится буквально все: небо из серого станет красным, домишки из обмазанных грязью камней превратятся в мраморные дворцы, такие же прохладные на ощупь, как мамина щека; самый воздух будет благоухать, как букет беленьких цветов, которые отец, сойдя как-то раз с ума и сам стыдясь этого, принес однажды домой, и которые заставили мать плакать от счастья, смешанного с расстройством из-за такого непозволительного мотовства.

Однако перемен не происходило. Черный снег от нефтяных вышек и огромных труб нефтеперегонных заводов падал на город с серого неба день и ночь, так что даже пыль на узких крутых улочках была черной, черной была и слюна больных, и жидкость, сочащаяся из детских носов. Позади Черного города лежал Белый город, но и он был черен. Вокруг широким кольцом располагались нефтяные поля. Каждое носило прекрасное название: Сурахани, Балахани, Биби Айбат; Федеин отец сказал однажды, что если бы его послали туда с завязанными глазами, он отличил бы каждое месторождение по запаху, подобно тому, как кавказские виноградари умеют по запаху определить, из какой лозы выжато вино. Нефтяные поля образовывали мрачную чашу, деревья в которой заменяли буровые вышки, а кустарник и лианы — переплетение труб; вместо зеленого мха, ноги в этой чаше тонули в топкой глине, а вместо шепота ручейков, ухо ловило бульканье грязевых вулканов и шипение газа, вырывающегося сквозь растрескавшуюся землю. Вблизи вышки приобретали индивидуальность: одни из них были сколочены из дерева, другие свинчены из металла, одни напоминали скелеты, другие были целиком укрыты щитами; над свежими, кровоточащими ранами в земле вздымались новенькие стройные башни, над старыми зарубцевавшимися шрамами готовились рухнуть, чтобы быть перемолотыми безжалостным временем, старые, заброшенные чудовища.

В душные летние месяцы город тонул в клубах едкого дыма. По ночам раздавались свистки и гудки танкеров, отходящих в Персию и Туркестан. Путь им освещал луч света с маяка, прозванного Девичьей башней, в котором когда-то держал в заточении своих возлюбленных безумный хан. Кили танкеров задевали на дне крыши домов и шпили минаретов, проглоченных Каспием много веков назад.

Все это перемешалось в Фединой головке с пришествием Великой Перемены. Кое-кто из детей лепетал что-то о старике, восседающем на троне высоко-высоко, над нефтяными вышками, в клубах дыма, и высматривающем мальчишек, ворующих яблоки на базаре, чтобы сурово покарать их. Федя знал от отца, что это суеверие, изобретенное людьми, называемыми капиталистами, которые насылали на несчастных малярию, золотуху, нищету и отвратительные запахи. Всю эту гадость они напридумывали для того, чтобы предотвратить наступление Великой Перемены. И все-таки ничто не в силах помешать ее воцарению; когда же это произойдет, из глубин Каспия восстанет утонувший город, с маяка спустятся, танцующие, прекрасные жены безумного хана, а на улицах и в домах будет пахнуть только настоящими, белыми снежинками.

Он никогда не расставался с этой верой. Он понял позднее, что изменения происходят постепенно, что они не упадут с неба, что их приходу должны помочь человеческие свершения, в том числе и его; что для достижения конечной цели человеку предстоит пережить немало заблуждений и время от времени даже терять эту цель из виду. Когда Гриша был убит, а Тамар вскоре после этого умерла, идея перемен слилась с идеей мести. Но одновременно вера в Великую Перемену осталась путеводной звездой всех его мыслей, мечтаний и поступков; она была корнем, источником, выбивающимся из неподвластных взгляду глубин, подобных тем, что исторгают дымящиеся фонтаны среди чудовищных буровых вышек.

Феде было пять лет, когда зимним вечером адвокат в пенсне на носу ворвался к ним так стремительно, что едва не перекувырнулся, и, швырнув шапку на земляной пол, вместо того, чтобы аккуратно повесить ее на гвоздик, закричал хриплым, срывающимся голосом:

— Началось! Началось! В Пе-тер-бур-ге!

Федя сразу понял, что именно началось. Он поскакал к окну на одной ноге (он дал себе клятву, что, когда начнется, он пропрыгает на одной ноге весь день), чтобы посмотреть, успело ли небо окраситься в красный цвет. Небо оставалось серым, зато скоро в комнате стали происходить невероятные события. Гриша, всего минуту назад лежавший на полу с лязгающими от лихорадки зубами, бросился адвокату на шею, после чего оба принялись целовать друг друга, вопя, как дети. Еще через минуту они прыгали по комнате и плясали так, словно совсем рехнулись. Вскоре вбежал бородатый доктор и, не потрудившись затворить за собой дверь, врзался в Федину мать, как раз собирающуюся выбросить за дверь пустую бутылку, и они тоже начали целоваться, что было тем более невероятно, ибо мать всегда разговаривала с другими мужчинами, потупив взор, если разговаривала вообще, так как происходило это крайне редко.

С этого момента все смешалось. Комната заполнилась людьми, говорившими хором и со страшной силой хлопавшими один другого по плечам, так что матери пришлось сходить за новой бутылкой, потом еще за одной, после чего объявился оперный тенор с миской, полной икры, имевшей горький и вообще неприятный вкус, и Федю заставили сидеть у него на плечах и тянуть его за бороду, что, кстати, ему всегда хотелось сделать. Тенор ушел и скоро вернулся с бутылками, пробки от которых вонзались в потолок, как пули, и коробкой рахат-лукума для Феде. Потом его принудили хлебнуть стакан жидкости из бутылки с пузырьками, и тут-то уж перемены начались всерьез: знакомая комната стала казаться новой, странной и очень красивой; все цвета стали яркими и мерцающими; небо за окном раздвинулось до необъятных размеров, луна и звезды грозили его ослепить; он чувствовал радость, которую скоро стало трудно вынести, поэтому он запрыгал на одной ножке по комнате и прыгал до тех пор, пока стены не заколебались, в его ушах не загремел оглушительный гром и его желудок не сжался в страшной конвульсии и не выбросил наружу то, что только что было причиной счастья. После этого он почувствовал себя покойно и не захотел иметь ничего общего с прочими людьми, даже с матерью, пытавшейся его убаюкать, — она улыбалась ему словно бы издали, и он с трудом различал ее овальное лицо в обрамлении черных кос и улыбку, которую делала еще более ласковой дырочка в том месте, где был сломан передний зуб.

На следующее утро он проснулся, чувствуя себя больным; и с этого дня на протяжении нескольких лет, пока они с дедушкой Арином не отправились в Москву, события представлялись ему запутанными и совершенно непонятными. Перемена началась, но в другом городе, очень далеко, и к ним она приближалась медленно, так же медленно, как тень от минарета, поднимающегося за их

домом, путешествует нескончаемым днем по пыльной улице... Прошла неделя, а может, и целый год, прежде чем она добралась до Баку. Это было все, что он смог уяснить; события же, разворачивающиеся вокруг, он был не в силах понять, хотя Гриша, разговаривавший с ним, как с взрослым, старался их ему объяснить. Лишь много лет спустя хаос тех двух лет осел и рассортировался в его голове: обозначилась череда войн, правительств, казней и иноземных захватчиков. Подобно стенам в комнате в тот вечер, когда он впервые попробовал спиртного, люди и армии к югу от Кавказских гор плясали и кружились в смертоносном вихре. Сначала была провозглашена Федеративная Республика Закавказья, затем поднялись татары, провозгласившие Независимую мусульманскую Республику, затем русские и армяне сражались против мусульман, потом, не успев что-либо всерьез изменить, недолго правило эфемерное Революционное правительство, свергнутое Центральной Кавказской Директорией; потом была британская оккупация, после нее — турецкая, а в промежутке — еще одна небольшая война с Арменией... Каждая смена режима ознаменовывалась арестом и казнью прежних правителей, еще вчера олицетворявших Закон и Власть. Гриша пал жертвой одного из таких мгновенных пересмотров отношения к законности. Он был схвачен британскими оккупационными войсками после падения первого Бакинского Совета, перевезен вместе со своими товарищами, среди которых были бородатый доктор и адвокат в пенсне, на другую сторону Каспия, загнан в каракумскую пустыню, а там расстрелян и зарыт в горячий песок. Из всех частых посетителей их комнаты одному лишь оперному певцу удалось перекуситься и избежать гибели: после освобождения Баку Революционной армией он стал видным сановником и был расстрелян много позже, во время большой чистки в 1938 году.

Гриша скрывался в подполье, но на него донесли, и солдаты притащили его обратно домой, так как собирались искать оружие и золото. Солдаты были пьяны; Федя, которому тогда было шесть лет, проснулся, когда они вломилась в дом, ведя его отца на веревке, как козла; веревка тянулась от его рук, связанных за спиной. Он стоял, выпрямившись, посреди комнаты и улыбался Феде почти как обычно, пытаясь создать впечатление, что держит руки за спиной по собственной воле. Но Федя сразу все понял; он натянул брюки прямо на ночную рубашку, влез в башмаки и загородил мать, защищая ее и держа за руку, чтобы успокоить. С обритой головой, круглой, как бильярдный шар, веснушчатым лицом и светлыми, чуть раскосыми глазами он выглядел точной копией своего отца. Гриша одобрительно кивнул; с его лица сошла улыбка, теперь его зеленые глаза смотрели прямо в зеленые глаза сына, неся послание, которое мальчик не должен был забыть никогда. И он не забыл. В этом послании была ненависть, жестокость и месть; еще в нем говорилось о любви и непоколебимой уверенности в Великой Перемене и о детской вере в чудеса и счастье, которые придут вместе с ней. Солдаты обшарили всю комнату, хотя там негде было шарить и нечего искать: их взору предстало несколько циновок, половиков и полка с кастрюлями и книгами. Но солдаты были пьяны, и в их головы втемяшилась мысль о спрятанном золоте. Поэтому они стали колотить Гришу, чтобы он выдал им тайник. При первом же обрушившемся на него ударе Гриша тряхнул головой, как боксер в нокауте, и спокойно проговорил: — Выведите меня наружу. Не надо при сыне.

Это были его последние слова, и единственный раз, когда он упомянул о сыне. Слова эти как-то подействовали на солдат, у которых тоже, наверное, были сыновья. Они попинали его по коленям и в пах, но без особого рвения, Гриша стоял, широко расставив ноги, не выказывая ни боли, ни ярости; он всегда обращался с Федей, как с взрослым, и призыв в его глазах был адресован взрослому, Один из солдат, выругавшись и крикнув что-то о золоте, ударил его в челюсть прикладом винтовки. На этот раз Гриша упал; но падал он медленно и осторожно: сперва на колени, потом, после последнего, твердого взгляда, предназначенного сыну, его глаза закрылись, и обмякшее тело распласталось на полу. Солдаты постояли немного, не зная, что делать дальше, а потом выволокли его за дверь на веревке. Гришина голова болталась на плечах; казалось, что он мирно дремлет.

На следующий день у Фединой мамы случился выкидыш. За ней вызвалась присмотреть старая татарка в черной парандже, Федю же приютило соседское семейство, имевшее шестерых детей и не возражавшее против седьмого. Все дети спали вповалку на земляном полу. Феде досталось местечко под боком у двенадцатилетней девочки, обучившей его любовным играм, которые он считал не менее приятным занятием, чем сосание рахат-лукума. То ли на вторую, то ли на третью ночь его подняли и отвели к матери, умирающей от заражения крови. Она не узнала его и выглядела до того изменившейся и уродливой, лицо ее было до того серым и исхудавшим, что он был скорее напуган,

чем потрясен. Понукаемый татаркой, он поцеловал ее влажный лоб, после чего его снова отвели к соседям, где подружка обвила его руками, испытывая одновременно страсть и жалость. Он уснул, прижавшись к ней, чувствуя тепло и уют. На следующий день Тамар скончалась; ее жизнь до мелочей повторила жизнь ее матери, которую тоже звали Тамар и которая тоже умерла от родильной горячки, подобно бесчисленным Тамар, ушедшим до нее.

Судьба Феде тоже сложилась, как типичная судьба пролетарского ребенка этих широт в годы революции и гражданской войны. Правда, ему повезло больше, чем другим бездомным и беспризорным детям, разбросанным Великой Переменной по всему континенту, подобно тому, как грязевые вулканы усеивают нефтяное поле своими пузырящимися выбросами. Он не стал сифилитиком, воровал лишь от случая к случаю и имел подружку, которая любила и нянчила его. Спустя несколько месяцев его спас дедушка Арин, которому удалось сбить мастерскую с рук как раз перед тем, как Армения напала на Грузию, и тифлиссские грузины стали убивать армян на базаре. Арин приехал, чтобы забрать внука и бежать с ним на север; как оказалось, Кавказ лежал слишком недалеко от Урфы, и воспоминания об Урфе снова мучили его. Злоба, алчность и попросту глупость непобежденных обезьян поглотила и вторую его семью; Федя был единственным, кто выжил, из всех тех, кому дали жизнь его обильные чресла. Он решил забрать его с собой в сказочную землю, впервые заставившую обезьян отступить. До этого он видел Федю всего один раз, когда тот еще был грудным младенцем, и сейчас был приятно удивлен ярким сходством между ним и его отцом. В нем не было ничего ни от армянских предков, ни от грузинского дедушки Нико; Азия полностью покинула его кровеносные сосуды, подобно тому, как ее не было и в венах Гришиных прародителей, если не считать слегка раскосых глаз — наследия давней примеси татарской крови.

Федя немедленно привязался к высокому старику с гордой осанкой, махорочным запахом и пронзительными близко посаженными глазами под нависшими белыми бровями; если бы не огромные ноги и мозолистые руки сапожника, Арин походил бы на аристократа. Они двинулись в долгий путь к столице, предвкушая захватывающее приключение; Федя даже забыл проститься со своей ночной подругой. Подобно деду и в отличие от матери он мог страстно любить, но забывал быстро и навсегда; он был наделен ценным даром почти автоматически выбрасывать из памяти все свои потери. Даже последнюю сцену прощания с отцом он помнил теперь довольно смутно: это было воспоминание не для каждого дня, слишком тяжелое, чтобы плавать на поверхности его мыслей. Достаточно было уверенности, что в момент, когда он, не мигая, встретил отцовский взгляд и понял все, что тот хотел ему сказать, он дал зарок, перед строгостью которого меркли обеты любого монашеского ордена.

Путешествие длилось несколько месяцев. Они двигались во влекомах быками повозках, в поездах, пешком, на крышах вагонов, набитых солдатами. Они несколько раз пересекали линии фронтов. У них не было никаких документов; на вопрос, куда они идут и с какой целью, Арин неизменно отвечал: «Я старый человек из Урфы, а этот сирота — мой внук». Раз или два их принимали за шпионов, и солдаты угрожали Арину, что расстреляют или повесят его; но он притворялся слабоумным и только повторял свое «я старый человек из Урфы, а этот сирота — мой внук», пока начальник — иногда офицер, иногда комиссар, — пораженный достоинством старика и не желающий обременять себя ребенком, — не приказывал им оставить бродяг в покое. Солдаты, как правило, делились с ними сдой или, по крайней мере, давали в дорогу хлеба. Иногда предлагали и мелочь, но Арин отказывался от денег. Федю редко посещал испуг, а по мере продвижения в глубь территории, занятой революционными армиями, он и вовсе забыл о всяком страхе и просил еду и приют, словно никто и не подумает ему отказать: ведь он был среди товарищей отца! Однажды они предстали перед комиссаром высокого ранга, говорившим так же спокойно, прямо и просто, как люди, наведывавшиеся к ним в Баку. Он задал Арину несколько вопросов, но тот все твердил свою заветную тираду. Тогда комиссар повернулся к Феде и сказал ему, словно они были закадычными друзьями:

— Скажи своему деду, чтобы он прекратил дурачиться. Федя без малейшего колебания ответил:

— Если бы он не дурачился, нас бы давно убили, как... Так что он привык.

— Убили как кого? — поинтересовался комиссар. Федя поднял на него глаза, помялся и сурово произнес:

— Как моего отца.

— Где убили твоего отца?

— В Баку, в Черном городе.

— Как его звали?

Федя ответил. Комиссар посмотрел на него с любопытством.

— Назови имена друзей своего отца.

Федя тем же суровым, твердым голосом назвал имена адвоката, врача и оперного певца.

— Так ты и впрямь сын Григория Никитина? — воскликнул комиссар.

Федя, сочтя этот вопрос излишним, промолчал.

— Он сирота, а я старый человек из Урфы... — завел было свое Арин, не будучи уверен, чем все это кончится.

Комиссар пристально взглянул на Федю. Федя смотрел на него набычившись, и комиссар не смог побороть улыбку. > — Ты знаешь, что твой отец был великим героем революции и что его имя войдет в историю?

— Нет, — ответил Федя, — он был мастером на нефтяных приисках Нобеля в Баку.

Они приехали в Москву весной 1920 года, когда Феде было восемь лет.

## V Шабаш ведьм

Узнав о том, что ей звонил Жюльен Делаттр, Хайди, не мешкая, взялась за телефон. Прошлой ночью у нее не было желания снова видеться с ним или с кем-то еще из триумvirата. Сегодня же она не могла отвергнуть приглашения, особенно исходившего от нового знакомого. Она подчинялась предвкушению неожиданного и боязни упустить что-то настоящее; она металась по вечеринкам и приемам, подобно тому, как неизлечимый больной попадает в замкнутый круг шарлатанов.

Жюльен пробормотал нечто, отдаленно напоминающее извинение за вчерашнее, после чего осведомился, может ли он пригласить ее на ужин, а потом — «в одно очень»абавное местечко». Он обращался к ней по-английски, как и прошлой ночью в такси, и его тщательное произношение снова напомнило ей говорок сестры Бутийо.

— Что за забавное местечко? — предусмотрительно спросила она.

— О, что-то вроде шабаша ведьм; очень необычно.

— Сомнительные ночные клубы уже стоят у меня поперек горла.

— Ночные клубы? Нет, дорогая моя, я предлагаю вам посетить митинг за мир и прогресс.

Она отметила про себя, что «дорогая моя» звучит несколько преждевременно, но, отнеся это на счет его французской крови, не стала возражать. Они прекрасно поужинали в ресторане, который выглядел весьма дешевым заведением, но на поверку оказался достаточно дорогим. Публика состояла из тучных пар буржуа средних лет, которые тоже выглядели бедняками, но сорили деньгами направо и налево. За соседним столиком одна такая пара с суровой сосредоточенностью поглощала пищу. Муж выглядел, как преуспевающий мясник в воскресном облачении, однако жемчужная булавка в галстук и золотые запонки заставляли предположить, что перед ними — мелкий промышленник или, по крайней мере, адвокат. Он заткнул салфетку за воротник и, поедая одно за другим три блюда, не обмолвился с супругой ни единым словом. Супруга тоже была в черном; ее неправдоподобно-огромные груди вздымались вверх, подпираемые корсетом, подобно готовым взмыть в воздух воздушным шарам; ей не стоило бы никакого труда опереться о них подбородком. Лица обоих потемнели от натуги; женщина то и дело вытирала мокрые губы салфеткой, а мужчина издавал свистящие звуки, расправляясь с застрявшими между зубами кусочками пищи; больше никаких звуков от их стола не доносилось.

— Взгляните на них, — сказал Жюльен с подрагивающим от нервного тика глазом. — Вот она, наша буржуазия, становой хребет Франции, истинный, самый что ни на есть средний класс. В свое время их величали «третьим сословием», их предки штурмовали Бастилию, они подарили миру Права Человека и возвестили об эре Либерализма. Все это случилось всего полтора века назад, минуло только пять поколений; готов поспорить, что прапрадедушка вот этого персонажа колотил в барабан в битве при Валми. И посмотрите на них сейчас — не напоминают ли они вам несчастных спутников Одиссея, превращенных в свиней, после поглощения каши из ячменной муки и желтого меда на острове Эя?

Мужчина с заткнутой за ворот салфеткой подобрал остатки соуса куском хлеба, сделал добрый глоток вина, утерся и принялся цыкать зубом, дожидаясь десерта. Впервые за полчаса его жена открыла рот.

— Здесь жарко, — заявила она.

Муж ничего не ответил; засунув в рот большой и указательный пальцы, он извлек оттуда кусочек мяса, застрявший между зубами, посмотрел на него и вытер пальцы о салфетку.

— У нас в школе не изучали греческого, — сказала Хайди. — Что случилось с соратниками Одиссея?

— Он спас их, прибегнув к колдовству и одолев Цирцею при помощи меча. Иными словами, он произвел революцию, дабы вернуть своим спутникам человеческое обличье. Видимо, это единственная революция, которой удалось достичь такой цели. Но, по правде говоря, он не обошелся без содействия богов, так что ему не было нужды писать хвалебные оды в адрес ЧК. Он выпутался из этой истории живым и невредимым.

Жюльен, как обычно, сидел, повернувшись к ней неповрежденной стороной своего лица. Хайди так и подмывало сказать ему, что он напрасно постоянно помнит о шраме, которого она уже не замечает, но он казался таким напряженным и ироничным, что у нее не хватило смелости. Вместо этого она спросила:

— Что же послужило первым толчком для вас — для нашей «Одиссеи»?

Жюльен опорожнил рюмку и закурил.

— Я впервые заметил, что люди теряют человеческий облик, на похоронах бабки. Это походило на волшебство. Только что я был нормальным тринадцатилетним мальчишкой, затерявшимся на краю длинного поминального стола. В следующее же мгновение все дядя, тетушки и двоюродная родня с обеих сторон внезапно утратили свой обычный вид и превратились в странных существ с горящими лицами, свинячьими глазками, булькающими и визгливыми голосами. Это продолжалось недолго, но то же повторялось потом еще и еще по разным поводам...

Он умолк с прилипшей к верхней губе сигаретой, и Хайди пришло в голову, что Жюльен никогда не был «нормальным тринадцатилетним мальчишкой». Он был расколот и ущемлен задолго до того, как стал хромать, а его щеку украсил шрам. Его грубая, довольно вульгарная манера говорить была жалкой, совершенно прозрачной завесой, неспособной скрыть его ранимость; он был одним из тех, кто предназначен самой судьбой для участи мишеней, в которые летят камни и вонзаются стрелы. Такой же была и она. Поэтому с Жюльеном она чувствовала себя, как дома, и именно поэтому она никогда не ляжет с Жюльеном в постель: это было бы просто кровосмесительством. Но Жюльен, конечно, воображит, что все дело в его хромоте и шраме...

Зажмурив один глаз и прицелившись в нее зажатой в углу рта потухшей сигаретой, Жюльен продолжал:

— Вся суть в том, что моя бабушка умерла гротескной смертью, прожив гротескную жизнь, и все, включая меня, знали об этом, но притворялись, что ничего не знают. Моя семейка происходит из Ландов — благочестивого, помешанного на традициях уголка к югу от Бордо, где женщинам удается приканчивать мужей мышьяком и выходить сухими из воды чаще, чем где-либо еще в целом свете. Моя бабка была одной из богатейших и жаднейших женщин в округе. Ей принадлежало много акров знаменитых виноградников и гончарная мастерская. Работники этой мастерской — мужчины, женщины, дети — спали в битком набитых бараках, как и было принято в те времена. В бараке



имелось одно хитроумное изобретение, предложенное лично ею, — ряд деревяшек, заменявших подушки, соединенных системой тросов и блоков со шнуром, висевшим над бабкиной кроватью. Каждое утро ровно в четыре тридцать она дергала за этот шнур, и все сони в бараке оказывались на полу... Вы мне не верите? Тогда прочтите главу о детском труде в «Капитале» или «Условия жизни рабочего класса в Англии» Энгельса. Конечно, они пишут об условиях, существовавших в начале XIX века. Но Франция всегда тащила на несколько десятилетий поищи, а моя бабка, как я сказал, умерла девяностолетней. Он зажег новую сигарету и улыбнулся ей нормальной стороной лица.

— Мой отец был самым молодым из семи ее сыновей. В двадцать два года он тайно обручился с моей матерью, но бабка воспротивилась браку, потому что наша семья занималась виноградарством, а семья матери выращивала пшеницу, что считалось в Ландах делом недостойным. На протяжении четырнадцати лет старухе удавалось предотвращать этот брак угрозами оставить отца без копейки. В тридцать три года мать вступила в права наследования, и только тогда чувствам удалось одержать победу над деньгами. Но бабка так до самой смерти и не обмолвилась с ней словечком...

На улице раздались выкрики мальчишек, зычно призывавших приобрести последний специальный выпуск вечерней газеты. Мужчина за соседним столом угрюмо потребовал счет.

— Вы еще не поведали мне, как умерла ваша премилая бабуся, — напомнила Хайди.

— Крыша ее дома нуждалась в ремонте, — сказал Жюльен. — Когда кровельщик прислал счет, она решила, что он хочет ее обдурить, и, потребовав приставить лестницу, сама полезла наверх, чтобы проверить, сколько заменено черепиц. Добравшись до верхней ступеньки, она свалилась вниз и сломала себе шею, заставив всех вздохнуть с облегчением. — Он помолчал. — Быть может, она представляла собой крайний случай, но оттого не менее типичный. Если бы вам пришлось заглянуть в прошлое полногрудой дамы за вашей спиной, вы насчитали бы там немало схожих историй. Я никогда не забуду жарких июньских дней 1940 года, когда сотни тысяч семей высыпали на дороги, спасаясь от наступающих немцев, и наши честные крестьяне, провожая потоки беженцев, предлагали им водички по франку за стакан... Алчность, стяжательство и эгоизм превратили половину этой страны в свиней, хотя лицемеры уверяют, что это все еще люди. Ничего удивительного, что другая половина хотела бы повтыкать в них ножи и отправить на мясо. Не надо удивляться и тому, что отпрыск респектабельных буржуа пишет оды ЧК. Мое поколение обратилось к Марксу, подобно страдальцу, глотающему горькие пилюли, чтобы побороть тошноту.

В зале появился разносчик газет и закружил между столами. Большинство мирных гурманов, приобретя газету, бросали взгляд на густо набранные заголовки на первой странице, вздыхали и с удвоенным энтузиазмом возвращались к тарелке. Обслуживающие их официанты заглядывали в газету через плечо клиента, и выражение их лиц делалось собранным и непроницаемым. В ресторане воцарилась скорбная тишина, как будто рядом находился покойник. Хозяйка за прилавком вытерла глаза платочком и принялась вертеть ручку настройки радиоприемника в поисках передачи новостей, но супруг строго велел ей прекратить это занятие и опрокинул полстакана вина с гримасой отвращения на лице. Жюльен скупил все газеты и принялся изучать их с полужакрытыми глазами, не выпуская изо рта сигарету.

— Что там написано? — не вытерпела Хайди.

— Еще один кризис, — отозвался Жюльен. — Кажется, Свободное Содружество собралось проглотить очередного кролика. Ваше правительство объявило о своих особых симпатиях именно к этому кролику, а также о том, что не может больше переносить запаха кроличьего рагу... Почему вы так по-традиционному настроены? Вы тоже втайне должны желать, чтобы все это кончилось раз и навсегда. Все мы испытываем ностальгию по Апокалипсису...

— Люди за соседним столом не испытывают ничего похожего, — возразила Хайди.

— О, нет! В противном случае они бы прекратили безмятежно жевать. Не надо недооценивать хитрости, присущей стремлению к смерти: у Танатоса не меньше личин, нежели у Эроса... Нам пора на шабаш ведьм!

Они взяли такси и поехали на велодром — огромный крытый стадион, построенный для велосипедных гонок, но используемый теперь, в основном, для массовых политических

мероприятий. По мере приближения к нему вид улиц постепенно менялся. На стратегических перекрестках стояли вереницы полицейских фургонов, у кафе собирались небольшие толпы спорящих, и, несмотря на поздний час, в сторону велодрома текла непрерывная река людей — и все это в то время, когда на других перекрестках народ продолжал, не ведая усталости, отплясывать под звуки аккордеонов и радиоприемников, празднуя День Бастилии. Как ни странно, лица танцующих — в основном, продавщиц, влекомых продавцами, а также некоторого количества пожилых пар — выражали строгую решимость, тогда как в толпе, стекающейся на митинг, сияли незамутненные, полные ожидания лица.

Чем меньшее расстояние отделяло их от места назначения, тем выше поднималась температура уличной толпы. Завернув за угол, они увидели на тротуаре драку. Один из двух дерущихся упал; несколько прохожих присоединились к победителю и принялись пинать поверженного. Хайди побледнела, Жюльен велел водителю притормозить, но тот только увеличил скорость. Жюльен попытался открыть дверцу и выпрыгнуть на ходу, однако водитель, дотянувшись до дверной ручки, не дал ему этого сделать и сильнее надавил на газ, отчаянно гудя. Обогнув еще один угол, они увидели группку полицейских, болтающих рядом с общественным туалетом. Водитель подъехал к ним.

— Там драка, — бросил он безразлично.

— Где? — спросил один из полицейских.

— За углом, на бульваре.

— Пусть разобьют себе головы. А ты знай, крути баранку, — последовал ответ.

Водитель пожал плечами и снова тронулся. Хайди хотела было опустить стекло и вступить с полицейскими в спор, но Жюльен схватил ее за руку и зажал ей рот.

Когда они отъехали ярдов на сто, он отпустил ее.

— Вы трус! — выговорила она, задыхаясь. Ее рот был полон горького табачного привкуса от его ладони. Он с иронией посмотрел на нее.

— Если бы вы затеяли спор с полицейскими, они забрали бы вас в комиссариат, записали там даты рождения всех ваших бабушек и дедушек и отпустили часа через два-три с вежливыми извинениями. Все это ничуть не помогло бы нашему приятелю в канаве, вы же пропустили бы шабаш ведьм.

Он понюхал отпечаток ее помады у себя на ладони и стер его. Хайди вспомнилась струйка крови, стекавшая из Фединоного носа; в последние сутки ей было начертано судьбой вступить с мужчинами в необычный физический контакт.

Чуть дальше улица оказалась забита машинами. Люди выстроились в несколько длинных очередей к воротам велодрома. Когда Жюльен расплачивался с водителем, тот сказал ему:

— На вашем месте я бы лучше повез юную даму в кино.

— Друг мой, — ответил Жюльен, — вы старомодны. Ничто так не возбуждает женщину, как картина массового безумства.

— Что ж, вам виднее, — сказал шофер. — Век живи, век учись.

Они прошли мимо очередей, Жюльен помахал оранжевыми журналистскими пропусками, и они оказались у главного входа. Фасад здания охранялся цепью полицейских, за спинами которых помещалось десятка два людей с плакатами на груди и на спине. Пикетчики невозмутимо прохаживались взад-вперед, освистываемые толпой по ту сторону полицейского кордона. Среди них был Борис; изможденный и поникший, он стоял, прислонившись к стене, и поглядывал на толпу с утомленным осуждением. На его груди красовался безвкусный плакат с изображением коленопреклоненного человека со связанными за спиной руками, над которым возвышался некто в форме, стреляющий ему в затылок из револьвера. Ниже шла надпись: «Вот что они сделали с моей страной. Если вы хотите, чтобы и ваша страна разделила эту судьбу, присоединяйтесь к митингу».

Проходя мимо, Жюльен помахал ему рукой и получил в ответ пожелание хорошо провести

время. Люди, протискивающиеся одновременно с ними в двери, посмотрели на них с враждебностью, и у Хайди по спине пробежал холодок — не то что страх, просто неожиданное эхо безотчетного ужаса, обуявшего ее в дни, следовавшие за исключением из монастыря. Она схватила Жюльена за руку и прижалась к нему потеснее. Он, словно ничего не замечая, продолжал тащить ее сквозь толпу. Сейчас, с неизменной сигаретой, намертво прилипшей к губе, он больше, чем когда-либо, напоминал сутенера с Монмартра — что, по разумению Хайди, было в данный момент вполне к месту.

Они преодолели множество лестниц и вдоволь покружили по коридорам, повинувшись разноцветным стрелкам, пока, наконец, распахнувшаяся перед ними дверь, обитая чем-то мягким, не привела их на галерею, высоко взметнувшуюся над темным полукруглым залом. Вокруг них и под ними дышала и вибрировала пятидесятитысячная толпа, наполнившая гигантское помещение своим теплом и запахами. Несколько прожекторов освещали центральный помост; их лучи пронзали темноту над тысячами голов крест-накрест, как при выступлении цирковых гимнастов. Пробираясь к креслам, Хайди успела привыкнуть к полумраку и теперь различала лес голов, обращенных к помосту. Однако стоило и ей устремить взгляд в том же направлении, как толпа снова растворилась, став бесформенной и безликой массой.

Перед микрофоном стоял рослый, красивый американский негр, гневно обличавший бесчеловечное обращение с представителями его расы. Над его головой помещались огромные транспаранты, прославляющие преимущества мира, разоружения и демократии и клеймящие чуму империализма и милитаризма, а также провокационную сущность дьявольского Кроличьего государства. Позади трибуны оратора, на возвышении, сидели, осененные транспарантами, члены комитета, в том числе Федя Никитин вдвоем синем партийном костюме. Даже издалека можно было разглядеть его красивое лицо с рельефными челюстями и впалыми щеками.

— Вы знаете его? — спросила Хайди. Под гром ораторской речи, усиленной громкоговорителями, вполне можно было перейти от шепота к нормальному разговору вполголоса. Добрая половина аудитории именно этим и занималась, наполняя зал приглушенным ропотом.

— Негра? Кинозвезда с комплексом вины. Все кинозвезды превращаются в оголтелых революционеров; для восстановления душевного равновесия они льют патоку и мечтают о том, как отравятся синильной кислотой.

— Я имею в виду человека в синем костюме — третьего слева в президиуме.

— Никитин? А-а, кто-то по культуре в представительстве Содружества.

— Ваш друг Борис назвал его шпионом, — молвила Хайди, внезапно вспомнив слова Бориса, произнесенные у мсье Анатоля, которые раньше совсем вылетели у нее из головы.

Жюльен пожал плечами.

— Для Бориса любой человек оттуда — шпион.

— А кто остальные? Почему вы назвали это «шабашем ведьм»? Все происходит вполне цивилизованно.

— В том-то и дело. Большинство присутствующих не подозревают, что одержимы дьяволом. Возьмите крайнего слева — крупного растрепанного мужчину, который как будто дремлет. Это профессор Эдварде — лорд Эдварде, физик. Он также чемпион по поднятию тяжестей среди любителей и эксцентрик; друзья называют его «Геркулес-расщепитель атомов». Англичане обожают своих чудачков и часто принимают эксцентричность за гениальность, хотя в свое время Эдварде и впрямь был отличным физиком. Вот только и в пятьдесят пять никак не может расстаться с ролью проказника. Он присоединился к Движению тридцать лет назад по той простой причине, что, будучи английским аристократом, не мог придумать ничего более пакостного. Постепенно был околдован и он...

И действительно, в молодые годы лорд Эдварде внес оригинальный вклад в теорию Леметра о расширяющейся Вселенной. Но вскоре после этого Центральный комитет Содружества постановил, что Вселенная не расширяется, и что вся эта теория — порождение буржуазных ученых, оправдывающее стремление империалистов захватывать все новые рынки. «Гиены экспансионистской космологии» были подвергнуты решительной чистке, и Эдварде, хотя и жил себе

мирно в Англии, ничего не опасаясь, поспешил выпустить книжку, в которой доказывал, что Вселенная пребывает в состоянии мирного равновесия и вовсе не намерена расширяться. После Второй мировой войны, когда Содружество стало подчинять себе соседние республики и продвигать свои границы на Восток и на Запад, Центральный комитет пришел к заключению, что Вселенная все-таки расширяется, и что теория статичности Вселенной является измышлением буржуазной науки, отражающим застой и загнивание капиталистической экономики. После того как двадцать миллионов колхозников и заводских рабочих разразились резолюциями, требуя предать смерти «гнилых паразитов», Эдвардс выступил с новой книжкой, провозглашающей, что вселенная-таки расширяется, всегда расширялась и будет расширяться *ad infinitum* <sup>10</sup>.

Сейчас же профессор Эдварде мирно спал. Жюльен тронул Хайди за локоть:

— Посмотрите, что за невинная улыбка. Если вы скажете ему, что он околдован, он ответит, что вы сошли с ума, ибо в двадцатом веке не бывает колдовства...

Негр добрался до кульминации своего выступления. Его руки взлетели над головой, голос дрожал от волнения. Раздались женские всхлипывания. В это время кто-то из слушателей громко крикнул:

— Сколько?

Негр, не привыкший, чтобы его прерывали, наивно спросил:

— Сколько чего?

— Сколько негров линчевали в этом году? — прокричал тот же голос.

Публика нерешительно зашикала, не зная пока, кто этот невежа — друг или враг. Чернокожая звезда беспомощно оглянулась на председательствующего. Председательствующий, французский поэт средних лет с внешностью порочного херувима, поднялся и провозгласил:

— Дело не в количестве, а в варварстве, которым отмечены эти действия. Если бы всего один наш чернокожий брат за целый год становился жертвой, это все равно было бы несмываемым пятном на нашей цивилизации.

Аудитория разразилась аплодисментами, но все тот же голос пронзительно выкрикнул:

— А как насчет двух миллионов мордвин, высланных в этом году на соляные копи?

Это был недруг. Аудитория издала настолько единодушный и громоподобный рык, что он поглотил неистовые вопли смутьяна, выброшенного вон под градом тумачков. Геркулес очнулся от дремы, узрел потасовку, закатал правый рукав и с потешной гримасой показал врагу кулак. Гнев толпы сменился ликованием; по залу прокатилась волна теплого братского единения.

— *C'est un original, le camarade anglais* <sup>11</sup>, — произнес голос у Хайди над ухом.

Председательствующий повернулся к Эдвардсу и сказал с лукавой улыбкой:

— Нам нужны ваши мозги, профессор, а не ваши кулаки. Наши борцы за мир разберутся с провокаторами — и здесь, и повсюду...

Лорд Эдварде снова опустил рукав, демонстрируя разочарование. Ответом был смех и новые аплодисменты.

Следом за чернокожей кинозвездой на трибуну поднялся знаменитый французский философ профессор Понтье. При своем высоком росте он казался неуклюжим и неуверенным в себе. Выложив на пюпитр текст речи — толстую стопку листов, заставившую поежиться остальных ораторов в президиуме — он поправил очки и начал:

— Позвольте мне быть с вами предельно откровенным. Я — не член партии...

Он сделал паузу, и, ко всеобщему удивлению, председательствующий захлопал в ладоши, глядя прямо в зал. Публика нехотя присоединилась к нему. Профессор выглядел растроганным.

— Спасибо, — сказал он. — Ваше дружеское приветствие служит доказательством понимания и терпимости, всегда отличавших прогрессивное революционное движение.

— Что это значит? — спросила Хайди.

— Он профессор философии. Он может доказать все, во что верит, верит же он во все, что может доказать.

Понтье принялся развивать принципы неонигилизма — философии, которой он посвятил свою знаменитую книгу «Отрицание и позиция» и которая после Второй мировой войны стала предметом массового помешательства. Появились неонигилистские пьесы, неонигилистские ночные клубы и даже неонигилистские преступления — как, например, знаменитое дело Дюваля — драпировщика-дальтоника из Менилмонтана, перерезавшего горло жене и троим своим детям и давшего на вопрос о причине преступления классический ответ: «Почему бы и нет?» Это послужило сигналом для появления радикального крыла неонигилистов, назвавшегося «почемубынетистами» и основавшего альтернативный ночной клуб, где гвоздем программы было трио смазливых певичек со сценическим именем «Сестры Почему-бы-и-нет», на которых валом валили американские туристы. Профессор Понтье ужаснулся такому развитию событий: ведь он был искренним моралистом, диалектиком и верил в революционную миссию пролетариата — все это, как он без устали растолковывал в потоке книг и брошюр, было подлинной сутью неонигилистской философии.

Мигая в лучах прожекторов, Понтье упорно повествовал о своем отношении к мировому кризису ценностей. Его речь изобиловала запинками, однако в ней присутствовала несомненная искренность, подчеркиваемая резкими жестами, какими застенчивый человек обычно подкрепляет сильные чувства. Почти все, что он говорил, было замешано на отрицании. Он не является, как уже позволил себе напомнить, членом партии. Нет, наверное, нужды напоминать, что он, как гуманист, выступает против любых ограничений индивидуальной свободы. Однако это не означает, что революционный процесс, ведомый динамичной волей масс, должен подчиняться жестким требованиям законности. Он не считает, что Содружество Свободолюбивых Народов разрешило все проблемы и превратилось в земной рай. Но точно так же нельзя отрицать и того, что оно есть выражение поступательного движения Истории, нащупывающей пути к новым формам общества, откуда следует, что тот, кто противостоит прогрессу, встает на сторону реакции и торит дорогу к конфликтам и войнам — наихудшим преступлениям против человечности...

На этом месте Понтье, потерявший на войне единственного сына, не смог унять дрожания подбородка, потерял, видимо, место в тексте, перевернул страничку и заявил, дважды ударив кулаком по столу и опрокинув стакан с водой:

— Человек верен себе лишь тогда, когда перешагивает через ограничения, свойственные его природе.

Он прервался. Председательствующий зааплодировал и, не прекращая этого занятия, направился к трибуне, чтобы поднять стакан. Публика стала хаотично вторить ему, и оратор заговорил о том, что только в плановом обществе человек может преодолеть эти ограничения, осознанно принимая необходимые урезания своей свободы. Очень часто история осуществляет свои цели, отрицая собственное отрицание. Поэтому при некоторых обстоятельствах демократия может проявляться как самая настоящая диктатура, тогда как при других условиях диктатура может рядиться в одежды демократии. Следует также помнить, что отречение от национализма не означает проповеди космополитизма. Он высказывается за мировое правительство, но против любых ограничений национального суверенитета. Он клеймит позором произвольные аресты и заключения без суда, но признает за силами прогресса право беспощадно выкорчевывать адептов реакции. Он признает, что является выходцем из эпохи просвещения, не сомневающимся в том, что религия — опаснейшая отравка для народа, но славит Свободолюбивое Содружество за соблюдение религиозных прав всех рас и верований. Он причисляет себя к ярым поборникам всеобщего разоружения, но противится всякому вмешательству в процесс превращения прогрессивных стран в арсеналы мира. После еще нескольких вариаций на ту же тему он приветствовал победоносное наступление армий мира во многих уголках планеты, поблагодарил собравшихся за терпение, с каким они внимали его определенно еретическим соображениям, и пожелал им успеха в борьбе за дело Мира, Свободы и Прогресса.

Раздались продолжительные аплодисменты, и несколько членов комитета пожали руку Понтье, который скромно сгорбился и объяснил, что все, что он говорил, представляет собой всего лишь применение на практике неонигилистской методологии.

Председательствующий подошел к трибуне и объявил, что, прежде чем приглашать следующего оратора, он хочет сделать важное сообщение. Только что поступили добрые вести о том, что все транспортники Парижского региона объявили забастовку в знак солидарности со Свободолюбивым Содружеством, которому угрожают провокации Кроличьего государства. Он добавил, что питает надежду, что в столь знаменательный момент участники митинга пойдут на скромную жертву и разойдутся по домам пешком, так как идет забастовка; пока же им предлагается выслушать оставшихся ораторов. Он с удовольствием приглашает к микрофону мадемуазель Тиссье, члена исполнительного комитета Федерации прогрессивных школьных учителей и автора ставшего классикой трехтомника «Содружество Свободолюбивых Народов», недавно возвратившуюся из короткой поездки по этой стране.

Загрохотали бурные аплодисменты, не заглушившие, однако, шарканья ног, потянувшихся к дверям. Примерно треть аудитории направилась к выходу, сопровождаемая неодобрительным гомоном остальных двух третей. Мадемуазель Тиссье оказалась хрупкой женщиной с большими юными глазами на морщинистом лице; Хайди решила, что она вполне могла бы сойти за сестру-монахиню из монастырской школы. У нее была мягкая, обезоруживающая улыбка. Она подняла руку и сказала аудитории, продолжавшей шикать вслед уходившим, своим чистым, звонким голосом:

— Терпение, товарищи. Тем, кто уходит, наверное, долго добираться до дому.

— Наконец-то разумная женщина! — прокомментировала Хайди.

Дождавшись, пока зал утихомирится, мадемуазель начала свою речь. Она побывала в Свободолюбивом Содруестве уже в пятый раз. К сожалению, на этот раз она пробыла там недолго, причем впервые — в одиночестве... Люди сочувственно притихли. Намек был понятен всем: в прошлых поездках мадемуазель Тиссье сопровождал ее коллега Пьер Шарбон, соавтор той самой великой книги и спутник ее жизни, умерший пять месяцев назад. Это был тихий книжник, почти такой же МА ленький и хрупкий, как сама мадемуазель Тиссье; они были неразлучны, и их преданность друг другу, как и то, что они из принципиальных соображений отвергли брак и скромно прожили во грехе почти пятьдесят лет, превратилась в элемент революционного фольклора, являя утешительный контраст по сравнению с кровавой памятью о Дантоне, Бланки и Шарлотте Корде.

Да, продолжала мадемуазель Тиссье, она пробыла там меньше времени, чем собиралась, и немедленно объяснит, почему. Народ Свободолюбивого Содруества всецело осознает нависшую над ним серьезнейшую угрозу. Он знает, что могущественный и злокозненный чужеземный враг плетет заговор, мечтая ввергнуть мир в пучину новой войны. Знает он и о том, что шпионы и заговорщики день за днем пересекают границы, зачастую рядясь в друзей его дела; поэтому вполне естественно, что у него развилось здоровое недоверие ко всем иностранцам, независимо от их истинных намерений. Она поняла это, как только ступила на его землю, и осознала, что сейчас неблагоприятный момент для визита. Только недруг Содруества затаил бы обиду на правительство, принимающее необходимые меры предосторожности для защиты своего народа. Поэтому — после откровенного, товарищеского разговора с властями и в полном согласии с ними — она приняла решение сократить долгое путешествие, планировавшееся до этого, и ограничиться посещением столицы. Тем не менее ей удалось побывать на тракторном заводе и в нескольких детских садах и школах, так что она может заверить слушателей, что никогда еще, ни в одной стране на свете ей не доводилось видеть столь трудолюбивых людей и таких милых, обласканных детишек. Пусть поверят ее слову — тут в уголках ее рта снова заиграла ее юная, завораживающая улыбка, — что, вопреки сообщениям некоторых газет, она не видала, чтобы зловещая тайная полиция хватала людей, и чтобы по улицам ползли закованные в кандалы узники, горько шепчущие слова «Дубинушки»!

Мадемуазель Тиссье, не переставая улыбаться, дала залу насмеяться вволю и возобновила свой рассказ. При том, что сокращение поездки несколько разочаровало ее, она все-таки испытала захватывающее приключение, которое она не променяла бы ни на что на свете. Хотите верьте, хотите нет, но ее арестовали как шпионку!... Она помолчала, тихонько посмеиваясь от нахлынувших воспоминаний, аудитория же покатила со смеху. Нет, действительно, так все и было! Вот как это

произошло. Будучи безнадежно рассеянной и бестолковой, она как-то раз, направляясь домой, оказалась отрезанной толпой на станции метро от своего гида, переводчика и ангела-хранителя, любезно предоставленного ей правительством. Так она оказалась одна, подобно заблудшей овечке, в толпе — и в какой толпе! Народ Свободолюбивого Содружества ведет себя на станциях метро совсем не так, как затхлые французские буржуа, — здесь они кричат, толкаются и лягаются, совсем как счастливые детишки, что служит признаком бьющего через край жизнелюбия и здоровья нации. Поэтому она потеряла сперва чемодан, потом шляпку, и, прежде чем успела сообразить, что с ней происходит, была опознана как иностранка и задержана двумя огромными, непреклонными и очень чистенькими офицерами полиции. Конечно, она пыталась объяснить, что к чему, но никто не мог перевести ее слов, а ее паспорт не произвел на них ни малейшего впечатления. Откровенно говоря, — тут тон мадемуазель Тиссье стал более серьезным — если бы ей посчастливилось родиться гражданкой Содружества, то и она не видела бы особых причин доверять человеку, размахивающему паспортом такой страны... Эти слова вызвали громкие аплодисменты, и мадемуазель Тиссье, снова перейдя к прежней шутиливой манере, поведала аудитории о том, как ее привели в один полицейский участок, потом в другой и как в довершение всего она очутилась в огромной современной Центральной тюрьме, где, несмотря на ее протесты, никто не обращал на нее внимания на протяжении трех дней. В конце концов ее пригласили в чистую, залитую светом комнату с электрическим вентилятором, где очень вежливый офицер в безупречной форме, прекрасно изъяснявшийся по-французски, посоветовал ей во всем сознаться, ибо властям все о ней известно и имеется достаточно доказательств того, что она шпионка.

Публику снова разобрал смех, и мадемуазель Тиссье поделилась воспоминаниями о том, как она пыталась объяснить, что ее, должно быть, с кем-то спутали, и как милый офицер рассердился на то, как бестолково она разговаривает, вследствие чего ее взяли в такой оборот, что она не знала больше, мальчик она или девочка, и готова была поверить, что и впрямь занимается шпионажем!

Тут-то, воскликнула мадемуазель Тиссье, и наступает кульминация, из которой будет ясно, почему она решила обо всем этом рассказать. Тот милый офицер относился к своим обязанностям весьма серьезно, что в такие времена вполне естественно, и засыпал ее вопросами до тех пор, пока она не стала дремать на стуле, так что приходилось ее то и дело будить, отчего ей делалось очень стыдно. В конце концов, учитывая, что она продолжает отрицать свою причастность к шпионажу, ее отвели назад в камеру — кстати, прекрасную, отлично освещенную и чисто прибранную камеру, выделенную ей одной. И что же случилось потом? Ее пытали, избивали, заковывали в цепи за отказ сознаться? Ей очень неприятно разочаровывать охочих до сенсаций журналистов, которые вполне могут находиться здесь, — аудитория заворчала и закрутила головами, заподозрив присутствие непрошенных гостей — да, ей очень неприятно, повторила мадемуазель Тиссье, что ее история заканчивается столь буднично, но вместо того, чтобы четвертовать ее в «жутких пыточных камерах государственной безопасности» (мадемуазель Тиссье даже начертила в воздухе кавычки для вящей иронии), ее отпустили на следующий же день — просто так, без дальнейших разбирательств, отвезли на вокзал и посадили в поезд, уходящий в Париж. Только и всего.

Какова же мораль этого кошмарного приключения? Во-первых, она состоит в том, что жители Свободного Содружества проявляют высокую бдительность, так что любые злоумышленники, пытающиеся посеять недовольство и учинить акты саботажа, будут немедленно пойманы, и им крепко дадут по рукам, в этом не может быть ни малейших сомнений! Во-вторых, опыт пребывания в стенах тюрьмы Свободного Содружества позволяет мадемуазель Тиссье отвергнуть, опираясь на собственные наблюдения, все гнусные измышления — тут ее тонкий голосок задрожал от возмущения — о пытках, высылках и всем прочем. Наконец, третье и последнее. Налицо прямое доказательство того, что, хотя людей и могут время от времени арестовывать просто по ошибке, им совершенно нечего опасаться, если за ними нет никакой вины; им просто следует спокойно ждать, и правда восторжествует. Если же кто-то, в каком бы звании он ни был, сознался в совершенных преступлениях, то это указывает на его виновность и готовность понести наказание...

На этот раз аплодисменты прозвучали не так уверенно и громко. Мадемуазель Тиссье скромно вернулась на свое место рядом с лордом Эдвардсом, который похлопал ее по плечу с богатырским воодушевлением, от которого вполне могла пострадать ее ключица. Председательствующий тем временем объявил следующего оратора — Льва Николаевича Леонтьева, знаменитого писателя из Свободного Содружества, многократного лауреата академических премий, кавалера медали «Герой

культуры», недавно удостоенного звания «Радость народа» и получившего от этого народа в подарок плавательный бассейн. Леонтьев оказался грузным широкоплечим человеком с низким лбом, седыми мохнатыми бровями и глубокими морщинами на лице. Пока он шел к трибуне, стойко, без тени улыбки принимая пламенные приветствия, у каждого была возможность убедиться, что перед ним — настоящий Герой культуры из страны, где к культуре относятся с надлежащей серьезностью, без всякой декадентской фривольности и эскапистской игривости, — страны, где наравне с оплотами грабителей-баронов взорваны и сравнены с землей башни из слоновой кости, и где поэты и прозаики стали солдатами культуры, дисциплинированными, с чистыми помыслами, готовыми по зову горна направить огнемёт своего вдохновения туда, куда потребуется.

Герой культуры и Радость народа Лев Николаевич Леонтьев был в настоящий момент наиболее видным командующим на литературном фронте. Его передовицы появлялись по пятницам на первой странице газеты «Свобода и культура», набранные жирным шрифтом. По его слову одни возносились к небесам, другие низвергались в пыль, одни сочинения истреблялись, а другие выходили на японской бумаге. Он также регулярно председательствовал на заседаниях трибунала, где получали по заслугам поддавшиеся влиянию формализма, неокантианства, постстроцкизма, веритизма и всего прочего. Неудивительно поэтому, что к нему испытывали уважение и любовь не только писатели Свободолюбивого Содружества, но и те за его пределами, кто примкнул к Движению. Они тоже время от времени предавались заочному суду трибунала, но ввиду невозможности приведения приговора в исполнение, дело ограничивалось, как правило, чистосердечным раскаянием и наложением епитимьи.

Объявив Леонтьева в микрофон, председательствующий, Эмиль Наварэн, не покинул трибуны, а дождался докладчика и горячо пожал ему руку. В этот момент, словно по заранее оговоренному сигналу, засверкали фоторепортерские вспышки. Французский поэт и Герой Содружества стояли на помосте, трогательно держась за руки; перший демонстрировал свою улыбку развратного херувима, второй с мрачным неудовольствием взирал на вцепившуюся в его запястье руку, хватка которой разжалась лишь после того, как вспышки произвели второй залп. Фотографии были обречены на то, чтобы вызвать сенсацию, поскольку, как было известно посвященным, Наварэн переживал нелегкий период. Всего несколько дней назад в очередном пятничном выпуске «Свободы и культуры» Леонтьев дал французскому поэту легкую отповедь, обоз-Ш1В декадентствующим паразитом, пробравшимся в Движение путем двурушничества и обманов. Теперь же, однако, с появлением фотографий, всякому станет ясно, что период опалы остался позади: даже если Леонтьев попытается воспрепятствовать их опубликованию, его слово все равно не будет иметь веса для коррумпированной прессы в стране, где бушует культурная анархия.

Наконец Наварэн позволил Леонтьеву взойти на трибуну. Тот вытащил из левого кармана речь, положил ее перед собой и собрался было открыть рот, как ему подали записку. Прочитав ее, он слегка приподнял свои кустистые брови, заменил текст речи другим, извлеченным из правого кармана, и начал читать.

До этой минуты Хайди, наслушавшись саркастических комментариев Жюльена, смотрела на него как на несколько комическую фигуру, но, стоило ему произнести первые слова, как она вынуждена была переменить свое отношение. Его глубокий, удивительно мягкий голос, выговором напомнивший ей акцент Феди, только более легкий, гулко и убедительно разносился по залу.

Сперва она только слушала голос, но спустя некоторое время стала обращать внимание и на смысл, который оказался еще более приятным сюрпризом. Речь Леонтьева не только резко отличалась от всего, что говорилось до него, но, если внимательно прислушаться, находилась в прямом противоречии с утверждениями предыдущих ораторов. Он ни единым словом не заклеил реакционные правительства, не упомянул гадюк, милитаристов и низкопоклонников и даже обошелся без священной трескотни о «бесстрашных мучениках». Темой его речи было нерушимое общее культурное наследие человечества, столбовой путь восхождения людей к свету и истине, верстовыми столбами на котором высились фигуры Моисея и Христа, Спинозы и Галилея, Толстого и Фрейда. Чувствуя внимание аудитории, Леонтьев постепенно воодушевлялся, с его лица сошло траурное выражение, и взгляд под лохматыми бровями зажегся близоруким, меланхолическим светом.

Наварэн заметно побледнел. В своем обращении при открытии митинга он потребовал, чтобы обучение истории в школе начиналось с 1917 года, все же, что происходило до того, должно быть



отброшено как незначительная чепуха; пусть мало кто среди присутствующих вспомнит об этом или обнаружит противоречие с линией Леонтьева — он все равно знал, что должен будет на протяжении многих месяцев брать назад свои слова и посыпать голову пеплом. Лорд Эдвардс важно кивал головой, словно свыше на него снизошло вдохновение и перед его мысленным взором побежали дифференциальные уравнения, доказывающие, что Вселенная все-таки неподвижна и не расширяется. Негр сидел смиренно. Он не заметил никакого изменения линии, ибо его не волновало ничего, выходящее за пределы проблем его ущемленной расы. Профессор Понтье имел слегка озадаченный вид. Он мысленно повторил свою речь, чтобы проверить, противоречит ли она точке зрения Леонтьева, и с удовлетворением понял, что не противоречит — хотя оставалось сожалеть, что он не сделал акцент на тех же вопросах, что и Леонтьев. Одна мадемуазель Тиссье была совершенно счастлива и ничем не озабочена. Она внимала Герою культуры с восторженным вниманием: вот оно, авторитетное подтверждение — если вообще нужны какие-либо подтверждения — того факта, что Содружество всегда проводило либеральную, космополитическую, пацифистскую политику, как бы на него ни клеветала реакционная свора.

В заключение своей речи Леонтьев решительно заклеил все агрессивные тенденции, будь то в сфере политики или культуры: «С какой целью писатель или политик принимает свое культурное наследие, правительство и институты своей собственной страны? Если он намерен таким способом способствовать делу мира и прогресса, он допускает серьезную, непростительную ошибку. Возможно, он воображает себя революционером, фактически же он — отверженный, предатель своей страны, а Свободное Содружество не жалуется предателей ни дома, ни за рубежом. Оно противится вмешательству в свои дела и отвергает вмешательство в дела других. Наш мир достаточно вместителен, чтобы в нем нашлось место для наций и общественных систем всех цветов и оттенков. Задача художника — приумножать общее культурное наследие, способное объединить всех». Напоследок он поведал о своей прекрасной мечте — о Всемирном Пантеоне героев культуры прошлого и настоящего, где будут красоваться имена поэтов, живописцев, философов и композиторов; он предложил и лозунг, который встречал бы всех у входа в Пантеон: «Обрети надежду, всяк сюда входящий».

Леонтьева проводили нескончаемыми овациями. Председательствующий торопливо объявил митинг законченным. Толпа спела революционный гимн и разошлась в прекрасном настроении.

— Это означает, — сказал Жюльен, когда они шли по ночной июльской улице к Сене, увлекаемые толпой, выглядящей теперь мирной и бодрой, как широкий поток воды после дождя, — это означает, что кризис позади. Наказание Кроличьей республики временно отсрочено, международная напряженность ослабла, и все мы можем жить в мире — по крайней мере, месяцев шесть.

В его голосе было еще больше горечи, чем обычно. Даже сигарета, прилипшая к губе, безжизненно повисла.

— Откуда вы знаете? — спросила Хайди.

— Разве вы не видели, как ему передали записку и он, прочитав ее, вытащил из кармана другой текст? Он подготовил два варианта, как они поступают всегда во время кризиса, и весть о том, что кризис исчерпан, достигла его как раз вовремя. Так что завтра автобусы будут бегать, как обычно, все вздохнет с облегчением и будут счастливы, как больной в промежутке между приступами.

— Не пойму, отчего вы так язвительны. Что бы вы ни говорили, но этот Леонтьев был искренен. Простая и красивая речь, и он ни разу не покривил душой.

Они присели на террасе кафе. Пол был усеян конфетти и рваными бумажными козырьками. На тротуаре еще оставалось несколько танцующих, но они выглядели полумертвыми от усталости. Их упорное стремление использовать веселье Дня Бастилии до последней капли не могло не вызывать уважения.

— Конечно, не покривил, — согласился Жюльен. — В конце концов, он — из старой гвардии, песни на его стихи распевали во время революции миллионы людей. Сегодня он был в хорошей форме, потому что в кое-то веки руководящая линия совпала с его убеждениями. Но, не поспей та записка вовремя, он, не моргнув глазом, разразился бы совсем другой речью; если же записка попала

бы ему в руки на середине выступления, он заменил бы один текст на другой, снова не моргнув глазом. Он и выжил только потому, что превратился в проститутку; го, что вы зовете искренностью, — это переживания старой шлюхи, вспоминаящей былую девственность.

Хайди пожалела, что рядом с ней сидит не Федя, а Жюльен. Пусть Федя дикарь, но как он свеж после мрака «Трех воронов»! Она вспомнила, что завтра ей предстоит поход с Федей в оперу и покраснела от удовольствия. Сразу же вслед за этим ее охватило чувство вины перед Жюльеном, у которого начинали подрагивать брови. Более, чем когда-либо, она почувствовала, насколько он уязвим под ироничной маской.

— Я просто хотела сказать, — произнесла она, — что переживания старой шлюхи — это луч надежды на будущее. Пока она способна на это, она не погибла; по-своему она тоже искренна, и вы не имеете права это высмеивать.

— Ваша беда в том, что вы не знаете, о чем говорите, — раздраженно отозвался Жюльен. Никогда раньше он не был с ней невежлив. — Вам никогда не приходилось иметь дела с проститутками — ни с настоящими, ни с политическими. Так тронувшие вас переживания — дешевейшая сентиментальность, ни в коем случае не мешающая ей залезть вам в карман или отвесить оплеуху. Так и наш Герой культуры преспокойно донесет в ГБна своих коллег и соперников.

— Я имела в виду совсем другое, — не унималась Хайди, — то, что вы и ваши друзья, вполне возможно, совершенно правы, что ненавидите их, но сама по себе ненависть никуда не ведет. Эту самую сентиментальность Леонтьева вы даже не хотите замечать, а если замечаете, то отметааете, как дым своей сигареты. А я думаю, что тут и пролегал различие. Французский поэт — просто шарлатан, но остальные — та милая глупышка, смахивающая на старую деву, Геркулес, даже философ — все они переживают по-настоящему. То есть у них есть вера — пусть и ложная. Может быть, они верят в мираж — но не лучше ли верить в мираж, чем не верить ни во что?

Жюльен окинул ее холодным, почти презрительным взглядом.

— Совершенно не лучше. Миражи заводят людей в никуда. Именно поэтому в пустыне валяется столько скелетов. Изучайте историю. Караванные тропы усеяны скелетами людей, которые алкали веры — и вера заставляла их пить соленую воду и есть песок в уверенности, что это манна небесная.

— О, какой прок спорить! — воскликнула Хайди. — Пойдемте.

В такси она сидела, забившись в угол, и чувствовала на горле знакомую хватку опустошенности. Ей хотелось крикнуть: а как насчет тех, которые так и не испытали этой жажды? Им не угрожает опасность пойти за миражом, они обречены брести по пустыне и ни разу не увидеть ни пальмы, ни колодца — ни воображаемой пальмы, ни придуманного колодца...

Жюльен и его друзья испытали эту жажду. Им предложили утолить ее соленой водой, и теперь они не в силах избавиться от соленого вкуса во рту и видят один только яд во всех реках и озерах Господних.

Такси выехало на бульвар Сен-Жермен. Теперь он был пуст.

## VI Воспитание чувств

Комиссар, повстречавшийся им на пути в Москву, снабдил их рекомендательным письмом к московскому начальству, поэтому, спустя недолгое время, им дали комнату, старый Арин получил место контролера в кооперативе обувщиков, а Федя стал ходить в школу.

Комната была частью огромной квартиры в центре города, принадлежавшей раньше богатому торговцу древесиной. Когда разразилась революция, торговец сбежал со всей семьей за границу, а его квартира стала прибежищем множества людей, отличившихся перед властями. Теперь в семи комнатах обитало двенадцать семей — более просторные комнаты делились перегородками на две, а то и три части. Арину с Федей повезло: им на двоих досталась крохотная комнатка прислуги.

Когда они впервые переступили ее порог, Федя лишился дара речи, и его глаза наполнились слезами: никогда прежде он не видел такой роскоши. Вместо истоптанного земляного пола здесь был паркет; с потолка свисала электрическая лампочка, прикрытая бумажным абажуром. У стены стояла железная койка, оставалось место также для стола и стула, которые на ночь приходилось выносить в коридор, чтобы освободить на полу пространство для Фединого матраса. Прошло некоторое время, прежде чем Федя сумел свыкнуться с тем невероятным фактом, что все это принадлежало теперь им; и только тогда он, наконец, понял, что Великая Перемена свершилась.

Для Арина их новое положение тоже означало осуществление мечты всей его жизни: рядом с ним появился человек, который мог ему читать. Каждый вечер после ужина, состоявшего из хлеба, чая и соленой селедки, старый Арин усаживался на край кровати и закуривал свою махорку, а Федя устраивался у стола и читал ему вслух. К счастью, в первые годы после Великой Перемены школьникам не задавали уроков на дом; эта практика была отброшена вместе со всеми остальными формами закабаления. Идея состояла в том, чтобы к учебе побуждало не принуждение, а интерес и чтобы ученики занимались только теми предметами, которые им нравятся; не осталось ни наказаний, ни экзаменов, ни отметок, ни классов. Ученикам предлагалось собираться в группы или бригады и заниматься по собственному расписанию. После откровенных дискуссий с дедушкой Арином, Федя, которому шел тогда девятый год, решил посвятить свои школьные годы изучению угнетенных наций и классов. Первые книги, прочитанные им для Арина, повествовали о преследовании армян и принадлежали перу Фритьофа Нансена и пастора Лепсиуса. Федя читал, а Арин иллюстрировал текст историями, случившимися в Урфе и еще раньше; так История и жизнь сливались в Фединой голове в одно целое, чтобы никогда больше не распасться. Другие дети воспринимали Историю как сказки об абстрактных событиях в абстрактном прошлом; для Феде же жизнь стала частью Истории, а старый Арин, погибший Гриша и он сам были актерами на её подмостках.

Книги Нансена и Лепсиуса стали Фединой библией. Многие из прочитанного оставались туманным, но некоторые эпизоды навсегда врезались в память. Русский царь хотел захватить Армению, но без ее упрямого народа. Поэтому он подстрекал армян восставать против трок, а его посол в это время побуждал турок убивать армян. Обобщением этой тактики служил классический совет князя Ростовского султану Абдул Хамиду: «*Massacrer, majeste, massacrer* 12...»

Царь, султан, папа римский и правительство Британии превратились для Феде в дьявольских заговорщиков, спаливших заживо жену Арина и его шестерых детей. Книги оказывали на него еще большее влияние потому, что их авторы руководствовались не ненавистью, а состраданием. Их пронизанные жалостью обвинения власть предержащих в аморальности, а церковью — в лицемерии, усиленные бесстрастным языком цитируемых документов, служили для ребенка неопровержимым доказательством полного осквернения человечества перед Переменной и необходимости перевернуть мир, подобно тому, как плуг переворачивает пласт земли. Он не мог понять, почему человечество так долго сносило устройство мира, при котором короли были убийцами, государственные мужи — лгунами, а немногие аристократы и купцы превращали остальной народ в страдальцев и рабов. Но Арин знал ответ: люди прошли через все эти страдания, ибо были невежественными, неграмотными, некультурными. Арина же с Федей довелось жить во времена Великой Перемены, когда жизнь начинается заново, как после потопа.

Жизнь в начале 20-х и впрямь могла опьянить мальчишку. Вскоре после завершения войны с Польшей появилось много еды — только плати. Это сделал НЭП, о котором говорили все вокруг, но в котором ни Арина, ни Феде никак не удавалось разобраться. Маленький кооператив обувщиков, в котором трудился Арин, изготавливал и продавал больше обуви, чем когда-либо раньше. Теперь у них на обед нередко бывал белый хлеб, иногда кусок колбасы в дополнение к селедке, а то и по большей ложке прессованной красной икры. Все чаще им доводилось пить чай с сахаром — желтым кусочком, который полагалось класть на язык; горячий чай проникал сквозь него и к моменту проглатывания приобретал чудесный сладкий вкус. Федя стал обладателем ботинок из настоящей кожи, а Арин — очков в стальной оправе. Раз в неделю они отправлялись в кино, поглазеть на палящих друг в друга некультурных американских ковбоев или на банду преступников, покушающуюся на очаровательную девицу, у которой оказывается не одна, а девять жизней, как у кошки, и которая, как явствовало из надписи на экране, раньше была наследницей несметных

капиталов, а теперь стала героиней революции. И раз в год по билетам, распределявшимся по кругу профсоюзом, они ходили на оперу или на балет в Большой театр. До Перемены такой жизнью могли жить только князья.

Не менее интересно было и в школе. Федя мог, если бы захотел, оставаться дома или околачиваться на улице, но он предпочитал ходить в школу. Это была одна из лучших школ в столице, предназначенная для детей, чьи родители делали революцию или погибли, защищая ее. Будучи сыном Гриши Никитина, одного из замученных бакинских комиссаров, имя которого к тому времени стало легендарным, Федя с самого начала пользовался привилегиями. В тринадцать лет он стал командиром пионерской дружины, поставившей себе цель произвести революцию в ботанике, переименовав все растения, подобно тому, как Французская революция переименовала все месяцы в календаре. Ученики и учителя на совместном совете, управлявшем школой, с энтузиазмом одобрили этот план и попросили учителя истории помочь дружине подыскать соответствующие названия. Гак, дуб стал «столпом революции», плакучая ива — «деревом либерального декадентства», цветы получили имена героев революции, а все сорняки скопом называли «буржуазными паразитирующими растениями». По прошествии нескольких недель попытку пришлось, однако, оставить, потому что количество растений явно превышало количество мыслимых имен. Пионеры обвинили учителя истории, принадлежавшего к дореволюционной интеллигенции, в саботаже; но еще до того, как состоялся суд, старик умер от пневмонии, пав жертвой трудностей на фронте распределения топлива.

Постепенно старые учителя уходили на покой, увольнялись или просто не осмеливались показываться на глаза, опасаясь нападков своих учеников. Их заменили учителя нового типа: члены партии или комсомола, откликнувшиеся на призыв партии срочно ковать новые кадры образования. Это были крепкие ребята, в большинстве своем выходцы из рабочих и крестьян, заслужившие уважение учеников тем, что они сами были как дети, — так же юны и непосредственны, с такими же жадными глазами и с тем же рвением штурмовать высоты интеллекта. Их профессиональная подготовка ограничивалась курсами протяженностью в несколько месяцев, чаще вечерними. По уровню образованности они ненамного опережали учеников и часто допускали орфографические ошибки; им то и дело приходилось добродушно позволять девяти— или десятиклассникам, выросшим при прежнем режиме, поправлять их или заканчивать за них урок. Но все это не имело значения; важно было то, что вся школа — и дети, и ученики — переживала грандиозное приключение. Они жили в первые дни творения, когда от первозданного хаоса только отделялись небеса и земная твердь; перед ними простирался мир, который предстояло познать и подчинить себе. Их не пригибала к земле беспросветная перспектива с сумрачными закоулками несметных фактов, в которых пропадали их предшественники: ведь и учителя, и их подопечные взирали на знания, накопленные в прошлом, как на сор, как на останки затонувшего мира. Его поэзия была сентиментальной бессмыслицей, тома истории — сплошной ложью, философия — способом одурманить невежественный народ, применявшимся прежними хозяевами. Поколению, пришедшему после потопа, приходилось все начинать заново. Они тянулись к знаниям, жаждали культуры — но только к новым знаниям, новой культуре, не связанной корнями с прошлым. Среди тем, обсуждавшихся в Федином классе, были такие: «Как изменить климат нашей планеты?», «Когда и как наука преодолет смерть?», «Останутся ли нужны школы после мировой революции?», «Социальное происхождение родительской тирании». Уже в третьем классе Федя мог претендовать на авторство нескольких резолюций, принятых дружиной после жарких дебатов: за отмену брака; за освобождение чернокожих рабов Америки; за обязательные прививки; против вредной теории о том, что чистка зубов есть капиталистический предрассудок; в поддержку теории о существовании других обитаемых планет.

Перед наступлением созревания Федей овладело смутное беспокойство. Школа больше не удовлетворяла его интеллектуального любопытства; он чувствовал потребность глубже зарыться в загадки жизни, дойти до атомов, до «чертенят», как их называл Арин, которые распоряжаются судьбами мира. Он читал много и беспорядочно — потрепанные книги со старой орфографией, трактующие вопросы физики, астрономии, истории, даже поэзии. Из-за недостатка элементарного научного багажа он понимал прочитанное только кусками, и это выбивало его из колеи.

Он пользовался уважением среди пионеров; через год-другой его примут в комсомол, а потом и в партию. Партийный же человек должен знать все, должен быть готов к исполнению обязанностей на любом посту, доверенном партией, представляя собой сияющий пример мудрости, твердости и

присутствия духа. Но как достичь такой квалификации? Многих пионеров постарше его обуревали схожие сомнения, и они образовали специальную дружину «На штурм знаний», засыпавшую учителей протестами и требованиями. Учителя были беспомощны: старые учебники были в большинстве своем запрещены, новых же пока не появилось; школы испытывали нехватку во всем: в классах, карандашах, бумаге, досках, меле, а главное — в опытных преподавателях. Почему так произошло? И почему процесс Великих Перемен приостановился? Когда Феде было десять лет, все говорили о мировой революции как о чем-то совершенно реальном, способном принести вечный мир, счастье и изобилие. Теперь же ему почти пятнадцать, а она так и не материализовалась, и вокруг поговаривают о том, что революция ограничится отдельно взятой страной, окруженной кровожадными врагами, которая Бог знает сколько времени будет оставаться в осаде. Что еще хуже, даже дома дела оборачивались не так, как надо. Снова появились богатые и бедные; пусть богатых теперь называли нэпманами и дружно презирали — некуда было деться от того факта, что они могут покупать и есть, что захотят, в то время как остальным это было недоступно.

Затем последовала череда болезненных открытий, которые все объяснили, рассеяли все сомнения и восстановили Федину веру. Конечно, фундамент этой веры всегда оставался непоколебим, ибо был такой же частью его естества, как мышцы и кости, пусть он и не всегда знал, что обладает какой-то верой и что ей могут быть какие-то альтернативы. Просто его вера чуть дрогнула, ее края как бы слегка обуглились в те тяжелые годы, когда процесс перемен как будто прервался, и его конечная цель словно бы отступила в тень. Однако, после исключения из партии бывшего комиссара по военным делам и прочих последовавших за этим прозрений, обнажились подлинные причины всех трудностей. Прошлое было мертво и покоилось в глубокой могиле, но на этой могиле проросли цветы зла, способные отравить и удушить светлое будущее. Иностранцы потерпели поражение от революционной армии, но империалистические правительства просто выжидали, готовые при любых признаках слабости или нарушенного единства снова наброситься на Страну Будущего, вызывавшую у них смертельную ненависть, ибо самим своим существованием она предвещала их неминуемую гибель. Интернационалу революционных рабочих они противопоставили свой интернационал шпионов, вредителей и агентов всевозможных обличей. Эти агенты контрреволюции, силы зла, кишат теперь повсюду. Основной их опорой выступает дореволюционная интеллигенция, люди из прошлого, которых приходилось терпеть и даже выдвигать на видные посты, ибо они обладали необходимыми знаниями. Неудивительно поэтому, что товаров не хватает и они так дороги, раз эти организаторы индустрии преследовали одну и ту же цель, раскрытую инженером Рамзиным на большом открытом процессе: подорвать экономику страны. Даже многие из виднейших вождей поддались соблазну и сделали агентами контрреволюции. Партии приходится бороться со всеми ими, вести непрерывные бои на многих фронтах, видимых и невидимых. Любое улыбающееся, жизнерадостное лицо, будь то твой учитель или лучший друг, может оказаться маской, скрывающей его истинную личину. До тех пор, пока последний из них не будет разоблачен и ликвидирован, Великая Перемена не сможет развернуться во всю ширь.

На пионерском митинге женщина — посланец Партии — рассказала о мальчишке-герое Павле Морозове, который донес на собственных родителей, утаивших от правительства зерно, и был потом убит отсталыми мужиками. Федя подумал тогда, как ему повезло, что его родители боролись за революцию: ведь донести на них, даже на старенького Арину, было бы неприятной обязанностью. Но, с другой стороны, будь они контрреволюционерами, они были бы совсем другими людьми: жестокими, коварными и вероломными, так что выдать их было бы сущим удовольствием. Ему нравилось решать задачки, и он был доволен, что нашел решение и этой.

Феде как раз стукнуло пятнадцать, когда настал конец тягостному затишью НЭПа. Первый пятилетний план прогремел, как удар грома, потрясший всю страну и откликнувшийся эхом по всему миру. Корабль революции вышел из гавани; теперь он несея вперед, скрипя мачтами, с широко раздутыми парусами. Федя не знал тогда, что эта качка будет сопровождать его всю жизнь; не знал он и того, скольких товарищей смочет за борт громадными валами. Знал он лишь одно: наступил завершающий акт Великой Перемены. Пройдет пять лет — и все века, напрасно прожитые под реакционными властителями, канут в прошлое, а он отпразднует свое двадцатилетие вместе с провозглашением бесклассового общества и Золотого Века.

Дисциплина в школе ужесточилась; каждый класс, объяснял учитель, должен рассматривать

себя как будущий штурмовой батальон в сражении за Утопию. У Феде раскалывалась голова от зазубренных цифр Плана: столько-то миллионов тонн чугуна в первый год, столько-то миллионов киловатт-часов, столько-то миллионов неграмотных, превращенных в культурных членов общества. Все эти миллионы, производимые народом и для народа, звучали опьяняюще. Киловатт-часы, тонны, бушели, галлоны и километры стали буквами героической саги. Полем этой битвы гигантов стала огромная карта, занимавшая в классе целую стену. Она была усеяна флажками, которыми отмечались основные схватки плана. Далеко на севере, за Полярным кругом, куда можно было забраться только по лестнице, отмечалась карандашом трасса будущего канала, самого протяженного из когда-либо прорытых человеком. Красная полоса, удерживаемая кнопками, указывала, где пройдет будущая Туркестанско-Сибирская железнодорожная магистраль. Лес флажков на Уральском хребте показывал, где вырастут огромные комплексы по выплавке стали; красным кружком был выделен Днепрострой — крупнейшая в мире плотина; маленькие автомобильчики и трактора, вырезанные из бумаги, обозначали заводы, где станут производить эти чудесные сияющие механизмы.

Каждый мальчик и каждая девочка в классе отвечали понарошку за ту или иную отрасль промышленности и регулярно отчитывались о ее успехах. Самым способным поручалось приглядывать за главными видами сырья и ключевыми отраслями, слабым доставались всего лишь товары народного потребления; классный дурачок отвечал за изготовление запонок и приколок для воротников и на этой почве слегка тронулся рассудком. Когда на параде по случаю 1 Мая директор школы обмолвился в своей речи, что в других странах и в иные времена дети втыкали в карты флажки, обозначая места битв не за производство и жизнь, а за разрушение и смерть, по рядам слушателей пробежала волна недоверия. Но когда он заявил, что никогда прежде юное поколение не бывало современником столь крутого поворота в истории и не участвовало в таком повороте столь сознательно, все разумом и сердцем почувствовали, насколько это верно.

В тот год празднование 1 Мая ознаменовалось наивысшим взлетом в Фединой жизни: завершилась закладка отныне несокрушимого фундамента его веры. В будущем структуре этой веры предстояло претерпеть немало изменений — более того, в определенный период ее фасад беспрерывно перестраивался, будто работами руководил спятивший архитектор, — однако все это были поверхностные доработки, не касавшиеся монолитного основания. Первый камень в него заложил в свое время еще Гриша, заронивший в сердце мальчика мистическое ожидание великого катаклизма, следом за которым наступит Золотой Век. Вторым камнем он был обязан старику Арину, рассказавшему мальчику о тайне жизни — о крохотных атомах, распоряжающихся судьбами мира. Директорская речь завершила построение святой троицы его вероисповедания. Отныне он знал, что счастье может измеряться исключительно в киловатт-часах, бушелях и тоннах, ибо только они являются средством для преодоления вековой тьмы и для победы над врагами народа, которые с коварным упорством пытались сохранить навсегда проклятое прошлое. Таковы были железные факты; все остальное — отсталые суеверия, ересь и отступничество, подобно ежегодным премиям за литературу и вклад в дело мира, присуждаемым теми же братьями Нобелями, которые владели нефтеперерабатывающими заводами в Баку и изобрели динамит.

На завершающем году учебы в школе в Федину жизнь постучались романтические переживания в виде худенькой светловолосой Надежды Филипповой, товарища по комсомолу. Ей было семнадцать лет, и она отличалась великолепной фигурой и острым умом. Ее любимым занятием было вскарабкаться на дерево и читать стихи Маяковского, раскачиваясь на ветке. Ее отец был хирургом, представителем дореволюционной интеллигенции, благодаря чему она превосходила Федю образованностью, но это обстоятельство вспоминалось только в моменты ссоры. Несмотря на то, что она была на несколько месяцев моложе его и известна вспыльчивостью и резкими переменами настроения, к Феде она проявляла порой почти материнскую привязанность — совсем как любовь его детства, маленькая татарка в Баку. В один из тех редких моментов, когда Федя сумел смирить свою подростковую заносчивость, он спросил ее: «Почему ты встречаешься с таким парнем, как я, раз ты гораздо культурнее?» Глядя его по коротко остриженной голове, она ответила: «Потому что ты чист, прост и тверд, как „Наша пролетарская молодежь“ на пропагандистском плакате».

Их отношения продолжались всего год, потому что потом отца Надежды арестовали как члена оппозиционного подполья и врага народа. Федя питал к девушке нежные чувства и пытался, как мог,

помочь ей, не выходя при этом за пределы, очерченные его политической сознательностью и требованиями революционной бдительности. К Надежде хорошо относились в комсомоле, и товарищи из районного комитета определенно были готовы обойтись с ней помягче — ведь, как стало очевидно много позже, Фебина юность пришлось на годы самой предосудительной снисходительности и мягкотелости. Поэтому обрушившиеся на нее беды были вызваны только ее собственным упрямством.

Федя повстречался с ней на улице за несколько минут до того, как ей предстояло явиться пред очи контрольной комиссии, и был поражен ее бледностью, но объяснил ее для себя тем, что прошло всего несколько дней после того, как ей пришлось сделать аборт. Федя испытывал по этому поводу гордость и чувство вины, хотя именно она настояла, чтобы они не заботились о предосторожностях. Во всяком случае, она не делала из этого большой беды; сейчас же, когда закрутилась история с ее отцом, она совсем потеряла голову. Вместо приветствия она сказала:

— Моя мать развелась с ним. Вот стерва! Представляешь?

Федя добродушно засмеялся:

— А как же, раз он оказался контрреволюционером!

Она повернулась к нему с гневным выражением на лице и, раздувая ноздри, прошипела сквозь зубы, как рассерженная гусыня:

— Попробуй только повтори это, и я врежу по твоей веснушчатой морде!

Он снова засмеялся и слегка прищурился:

— Ты расстраиваешься из-за аборта. Но перед комиссией надо быть спокойной. Это очень важно.

Она быстро зашагала вперед, не произнося ни слова и не попадая в ногу с Федей. Федя ради смеха старался исправить это недоразумение, хотя обычно это делала Надежда, сглаживая таким способом то обстоятельство, что она была чуть выше его ростом.

Перед самым зданием Федя сказал:

— А теперь обещай, что будешь умницей.

Она ничего не ответила и вошла в класс, где должно было проходить собрание, с вызывающим видом, тут же настроившим всех против нее. Стулья стояли полукругом перед столом, за которым предстояло усестись товарищам из районного комитета, оказавшись точь-в-точь под масляными портретами обоих вождей, прежнего и теперешнего; но товарищей все не было, и членам комсомольской ячейки пришлось дожидаться их более получаса, болтая между собой и грызя семечки. Присутствующих набралось человек двадцать пять-тридцать. Когда вошла Надежда, говор утих, и ее поприветствовало несколько неуверенных голосов; сразу после этого болтовня возобновилась. Время от времени кто-нибудь бросал на нее косой взгляд, но, встретившись с ее пламенным взором, отворачивался, изображая полнейшее безразличие. Она подошла к крайнему стулу второго ряда, отделенному от сидящих дальше еще четырьмя пустыми стульями. Федя, вошедший следом за ней, примостился рядом, но оставил между ними один незанятый стул. Если бы он сел бок о бок с ней, отделившись, таким образом, от остальных товарищей, то это выглядело бы как демонстрация. Его решение было оптимальным. Дожидаясь комиссии, они не произнесли ни слова. Надежда сидела бледная, глядя прямо перед собой с неукротимым и одновременно отсутствующим видом; Федя читал «Комсомольскую правду».

Наконец, появились товарищи из контрольной комиссии. Их оказалось трое: приземистый брюнет с веселым лицом и ласковым голосом, работница с фабрики с повязанной платком головой и круглым, не слишком умным лицом, тут же уставившаяся на Надежду с неприкрытой враждебностью, и сухой бюрократ в очках. Низенький брюнет, товарищ Ясенский, произнес необходимые слова о должной революционной бдительности и важности защиты кадров от проникновения социально неблагонадежных элементов; затем пошли бесконечные вопросы о деятельности Надежды, ее убеждениях, социальном происхождении ее родителей, дедушек и бабушек.

Отвечала она коротко, четко и по-деловому, однако ответы звучали заносчиво. Сразу было видно, что два поколения Надеждиных предшественников были выходцами из среднего класса: отец ее отца тоже был врачом, причем специалистом, и имел в Петербурге собственный дом; отец ее матери торговал зерном, иными словами, был самым настоящим социальным паразитом. В комсомол ее приняли только потому, что ее отец вступил в партию за несколько лет до революции и во время Гражданской войны командовал партизанским отрядом.

— Он уже тогда был агентом контрреволюции и шпионом? — спросила женщина в платке.

Надежда посмотрела на товарища Ясенского, бывшего за председателя, и спросила:

— Я должна отвечать на такие дурацкие вопросы?

— Да, — ласково ответил тот. — И не грубить ответственным товарищам, которые старше вас. Если выясняется, что человек — контрреволюционер, то нет ничего дурацкого в предположении, что он стал им еще десять лет назад.

— Вы не имеете права называть его контрреволюционером! — сказала Надежда дрогнувшим голосом, в котором слышалась приближающаяся истерика. — Человека надо считать невиновным, пока суд не докажет его вину.

— Где вы подцепили эти представления о либерально-буржуазной философии права? — с любопытством спросил председатель.

После некоторого колебания Надежда неуверенно ответила:

— Прочла в какой-то книжке. Женщина в платке спросила:

— Наверняка в книжке, принадлежавшей вашему отцу? По классу пробежал шепот.

— Нет, — ответила Надежда голосом, который теперь дрожал вовсю.

— Вы лжете! — выкрикнула женщина.

— Неужели вы считаете, — по-прежнему ласково проговорил председатель, — что наши товарищи из Управления государственной безопасности стали бы арестовывать человека, не имея доказательств его вины? Подумайте, прежде чем ответить, — быстро добавил он, — потому что утвердительный ответ будет означать обвинение наших товарищей из государственной безопасности в арестах невинных людей, то есть в контрреволюционной деятельности.

Надежда стала кусать губы.

— Они могли ошибиться, — сказала она наконец.

— Органы государственной безопасности действуют с величайшей осторожностью и осмотрительностью, что исключает возможность ошибки, — отбарабанил председатель. — Вы станете это отрицать?

— Нет, — пробормотала Надежда без всякого выражения.

— Можете сесть, — разрешил председатель. — Кто хочет высказаться о товарище Надежде Филипповой?

Выступило несколько членов ячейки; они противоречили один другому и не сказали ничего убедительного. Девушка, о которой было хорошо известно, что она неровно дышит к Феде, сказала, что всегда подозревала в Надежде волка в овечьей шкуре; но в ответ на призыв председателя назвать конкретные факты, наведшие ее на такие подозрения, она смешалась и не смогла припомнить ни одного. Один парень вступился за Надежду, сказав, что она всегда ревностно выполняла поручения ячейки; но когда женщина в платке спросила его, не было ли это продуманным лицемерием, призванным скрыть ее истинные намерения, он признал, что бывает всякое. Другой юноша заявил, что она всегда вела себя высокомерно, что доказывает ее буржуазное происхождение; но его прервали, напомнив, что Надежда обманула его, и он теперь сводит с ней счеты, что вогнало его в краску, и его слова потонули в приступе всеобщего хохота. Товарищ Ясенский постучал по столу ладонью:

— Вопрос серьезный, — сказал он. — Если никто больше не хочет взять слово, я вызову



товарища Никитина. Федор Григорьевич, вы пользуетесь большим уважением среди товарищей, и все мы знаем, что вы — большой друг Надежды Филипповой. Расскажите нам о ее характере и социальной благонадежности.

Федя поднялся в наступившей мертвой тишине. Сдвинув на затылок свою кепочку, он задумчиво посмотрел на Ясенского, не испытывая ни малейшей неловкости.

— Что ж, — начал он, — я много думал об этом. Я был хорошо знаком с ней почти год и ни в чем не подозревал, пока не узнал о ее отце. — Он умолк, словно сказал все, что считал нужным.

— Значит, ваши глаза раскрылись только тогда, когда вы услышали о ее отце? — удивилась женщина в платке. — Хороша же ваша бдительность, товарищ!

Федя озадаченно почесал в затылке.

— Может, я и заблуждался, но с ней было все в порядке.

— Все в порядке, — подхватила женщина в платке, — если не считать того, что ее отец — враг народа, защитник кулаков, и что она все время знала о его стараниях навредить партии и правительству, а вас обвела вокруг пальца, показывая свои ножки и кокетничая напрапалую. — Она обвела класс глазами, переводя свой непреклонный взгляд с одного юноши на другого. Юноши один за другим опускали головы и принимались рассматривать свои ботинки, однако было заметно, что в их головах стал зажигаться свет прозрения.

Товарищ Ясенский повернулся к Феде.

— Вы сказали, что не подозревали ее, пока не был арестован ее отец. Что она сказала или сделала такого, чтобы ее прежнее поведение предстало для вас в новом свете?

Прежде чем ответить, Федя крепко задумался.

— Ну, — сказал он, — все по мелочи, ничего серьезного. Она очень рассердилась, когда ее мать развелась с отцом. Это меня удивило: ведь ее мать повела себя правильно, узнав, кем он оказался. И потом, здесь, на собрании, она повела себя так, словно вокруг враги. Тут есть о чем подумать. Это доказывает, что она воспринимает себя не такой, как мы...

Товарищ Ясенский откашлялся.

— Это все?

— Да.

Темные глаза товарища Ясенского обежали аудиторию и, остановившись на Федином лице, снова стали насмешливыми.

— Да, не слишком-то много, — сказал он. — Учитывая, что ей не было ничего известно о преступной деятельности отца, что, ввиду правил политической конспирации, вполне вероятно, его внезапное разоблачение могло стать для нее тяжелой неожиданностью. А как бы вы сами повели себя в ее положении?

Федя снова поднялся и почесал в голове, обдумывая правильный ответ.

— Со мной бы такого не произошло, — произнес он наконец. — Поэтому я не могу ответить на ваш вопрос.

— Совершенно верно, — вмешалась женщина в платке. — Такие вещи могут происходить только в семьях с буржуазно-кулацким прошлым. Именно об этом мы и говорим.

Маловразумительные разговоры продолжались еще какое-то время, после чего собрание было объявлено закрытым, и все покинули помещение, кроме товарищей из контрольной комиссии и самой Надежды, которую попросили задержаться и более подробно высказаться в свою защиту. Остальные члены ячейки еще некоторое время послонялись по коридорам школы, обсуждая случившееся. Все были настроены против нее, но коллективный вердикт состоял в том, что она обойдется исключением из комсомола на один год и смирением гордыни, что, как полагали даже ее друзья, пойдет ей только на пользу. Однако решения комиссии предстояло ждать еще неделю, так что все разошлись по своим вечерним делам — кто на собрание школьного комитета по гигиене, кто

на педагогический совет, кто поспешил на трамвай, чтобы съездить на завод и рассказать потом о выполнении пятилетки, кто отправился на подмогу в пункт ликвидации неграмотности. Федя тоже торопился, так как ему предстояло прочесть лекцию о диалектическом материализме в пригородном Доме культуры; однако он посчитал, что долгом вежливости будет дождаться Надю и сперва проводить ее домой, хотя это значило, что он останется без обеда.

По прошествии примерно часа Надежда, наконец, вышла из класса. Лицо ее побелело еще больше, а глаза пылали еще сильнее, словно у нее поднялась температура. У нее был такой вид, словно она недовольна им. Задрав нос, она прошмыгнула мимо — как принцесса в кино, подумал он. Он покорно затрусил следом и вскоре нагнал ее. Но, как он ни пытался поймать ее шаг, она все время вырывалась вперед, словно нарочно. Такое поведение, да еще упрямое молчание — это уж слишком, решил он. Но с глупыми женщинами необходимо терпение, поэтому он спросил:

— Ну, как все прошло?

Она остановилась посреди улицы, как вкопанная, и прошипела:

— Как ты смеешь... как ты смеешь разговаривать со мной?!

— А почему мне с тобой не разговаривать? — удивился он. Но от нее трудно было добиться толку.

— Ты — грязная, вонючая свинья после того, что ты говорил на собрании, ты... — И она продолжала обзывать его в таком же духе — и предателем, и доносчиком, и так далее. Он попытался терпеливо объяснить ей, что он просто исполнил свой долг, сказав правду. Неужели она ожидала, что он солжет партии и превратится в преступника потому только, что у них была интимная связь, устраивавшая их обоих? Услыхав эти слова, Надежда ударила его по лицу и убежала, чуть не угодив под трамвай. Федя глядел ей вслед, чувствуя крайнее замешательство, и вертел на голове кепку; наконец он резко надвинул ее на глаза, решив не без чувства удовлетворения, что с этим покончено.

Он никогда больше не виделся с Надеждой; она перестала появляться в школе, и ходили слухи, что ее послали то ли на завод, то ли в колхоз в Средней Азии. Но спустя неделю Федя получил записку с требованием позвонить по определенному номеру; позвонив, он услышал дружелюбный голос, попросивший его прийти в определенный день и час в определенное учреждение, только никому об этом не рассказывать.

Федя знал, что ему предстоит встреча с товарищем из госбезопасности, и ждал встречи с волнением и страхом. Знал он и то, что тут есть связь с Надеждой; думая о ней сейчас, пытаясь вызвать в мозгу ее образ, чтобы предложить товарищу из госбезопасности связный рассказ, он испытал странное чувство. Он живо помнил звучание ее голоса и ее манеру покусывать его губы, что приводило его в сильнейшее возбуждение, помнил и то, как приятно было прикасаться к мягкой и упругой коже ее груди и ягодиц — но все это были лишь отрывки, никак не складывавшиеся в целостную картину. Да, он помнил ее частями, помнил отдельные ее свойства, но не помнил Надежду целиком, как живое существо: представление о ее личности было бледным, как старая фотокарточка, которая к тому же от непродолжительного пребывания в его памяти покрылась трещинами и грозила рассыпаться в прах. Как он ни пытался, ему не удавалось сложить обрывки; она утратила реальные черты, и впору было усомниться, существовала ли она когда-либо вообще.

После некоторых умственных усилий он пришел к выводу, что это вовсе не удивительно. Ведь он знал, что так называемая «личность» — это всего-навсего набор кусочков, свойств, запахов и прочего; личности как таковой не существует — это всего лишь иллюзия, ничто. Так стоит ли удивляться, если он не может больше собрать воедино фрагменты грамматической фикции, от которой не осталось ничего, кроме имени? Осталась память на губах, в ушах, в ладонях, когда-то прикасавшихся к мягкому и упругому телу. Но вне этого Надежды больше не существовало, и вообще ее не существовало никогда. Довольный тем, что ему удалось решить очередную головоломку, он нахлобучил кепку и отправился в здание госбезопасности — впечатляющее здание, почти небоскреб, которым он всегда любовался снаружи. Он слышал, что, в отличие от американских небоскребов, строящихся плохо и наспех, в предвкушении быстрого обогащения, этот не вибрирует и не раскачивается; уж это была крепкая, не способная раскачиваться реальность, а не какой-то вымысел.

Человек, в кабинете которого он оказался после длительного ожидания и долгого путешествия по многочисленным коридорам, поднялся из-за стола и пожал Феде руку с искренним дружелюбием. С первого же взгляда Феде стало ясно, что товарищ Максимов принадлежит к той особой породе людей, к которой принадлежали друзья отца: врач и адвокат в Баку, комиссар, повстречавшийся им в пути, товарищ Ясенский из районного комитета. Он так же внимательно слушал, так же, без всякой снисходительности, разговаривал с подростком, как с взрослым, так же решительно переходил к сути дела, отбрасывая все побочное небрежным жестом руки, словно разрывая паутину. Хотя на нем была гражданская одежда, по его походке можно было подумать, что он так и не снял шаровар и высоких сапог — точно так же ходили все те, кто сражался в Гражданскую войну и встречался с друзьями в комнатах с земляным полом до Великой Перемены; им было не по себе в обыкновенных брюках, их ноги тосковали по былым партизанским дням. Как и следовало ожидать, первыми словами товарища Максимова были:

— Я знал вашего отца, Федор Григорьевич.

Сказав это, он снова уселся за стол; Федя остался стоять перед ним, вежливо дожидаясь, пока пригласят сесть и его.

— Где, в Баку? — спросил он.

— Да. Я был комиссаром на одном из танкеров, которые тайком перевозили через Каспийское море нефть для наших частей. Ты слишком молод, чтобы это помнить.

— Нет, я помню. Отец часто говорил: «Сегодня мы шлем нефть для зажигалки Ильича».

«Ильичем» звался в народе умерший вождь революции. Максимов чуть-чуть улыбнулся при звуке знакомых слов.

— Нефть для зажигалки Ильича... — повторил он, подобно стареющему бонвивану, напевающему мелодию давно забытого вальса. — Сколько тебе было тогда лет? — спросил он с вновь посерьезневшим лицом.

— Шесть или семь.

— Правильно. Садись. Речь пойдет о твоей подруге Надежде Филипповой. Что ты о ней знаешь?

— Я сказал все, что знаю, на заседании ячейки. И она мне больше не подруга.

— Не подруга? А почему? Ты считаешь, что она контрреволюционерка?

— Этого я знать не могу. Но я думал над этим и понял, что она всегда была социально чуждым элементом с точки зрения классовой сознательности.

— Ты сожалешь, что связался с ней? Федя подумал, прежде чем отвечать.

— Нет, — сказал он наконец. — В то время я не знал того, что знаю сейчас, поэтому не мог вести себя иначе. Жалеть тут не о чем.

— Но ты согласен, что это была ошибка?

— Да. — Его рассудок работал, как бешенный, на бесхитростном лице появилось выражение осторожности и подозрительности. — Нет, — поправился он. — Раз я ничего не знал, то и ошибки тут быть не могло. — Поразмыслив еще, он сказал с посветлевшим лицом: — Да. Это была ошибка именно потому, что я не знал.

— Но ты только что сказал, что в такой же ситуации ты снова повторил бы ту же ошибку.

— Да, верно. Я виновен в том, что действовал ошибочно, но, ошибаясь, я не мог бы повести себя иначе.

— Если ты виновен, то наказания не избежать.

— Да.

— Но, раз ты не мог вести себя по-другому, тебя следует простить?

— Нет.

— Почему?

— Ошибка — не повод для прощения.

— Ты бы мог рассердиться на человека за то, что он ошибается?

— Нет.

— Но ты бы наказал его?

— Да.

— За что?

— За то, что он, ведя себя так, а не иначе, превратился в угрозу для общества.

Товарищ Максимов взглянул на него с любопытством и закурил.

— Ты не спросил меня, что случилось с твоей Надеждой.

— Я знаю, что мне не положено задавать вопросов.

— Не надо о ней особенно беспокоиться...

— Я и не беспокоюсь.

Максимов снова бросил на него любопытный взгляд. Федя выдержал этот взгляд и в свою очередь посмотрел на него незамутненными, чуть раскосыми юношескими глазами. В конце концов Максимов проговорил:

— Хорошо. Вернемся к делу. Пятилетка требует от людей жертв. Отсталые слои населения не понимают смысла этих жертв. Они видят лишь то, что у них теперь меньше еды, чем год назад. Враг пользуется создавшимся положением. Кулаки утаивают урожай и режут скот. Оппозиция встает на сторону кулачества и угрожает революции. Они пытаются подорвать партию; их детям поручено подорвать комсомол. Мы располагаем доказательствами, что Надежда Филиппова была одним из руководителей заговорщиков...

Он подождал, чтобы его сообщение произвело должный эффект; но, как ни странно, он смотрел мимо Феде. Его глаза уперлись в пустой угол кабинета, словно там происходило что-то очень занятное. Его только что затихший голос был совершенно лишен выразительности. Но Федя был слишком напуган, чтобы обратить внимание на странности в поведении товарища Максимова. Он тихонько присвистнул, тут же покраснел от своей наглости и сказал:

— Выходит, дело серьезнее, чем я думал. Вот мерзавка!...

И он представил себе улыбающуюся физиономию князя Ростовского, шепчущего султану на ухо свое «Massacrer, majeste, massacrer...» Как бы ты ни был настороже, вероломный и изворотливый враг всегда умудрится обвести тебя вокруг пальца. Он вспомнил, как она злодейски кусала его за губы, и почувствовал, что у него по спине побежали мурашки.

— Вот мерзавка! — повторил он.

Перед его мысленным взором, к его ужасу, медленно вырос Гриша, каким он запомнил его в тот момент, когда его лупили в живот, а он не отрываясь смотрел на сына, стремясь внушить ему свою правду.

Товарищ Максимов оторвал взгляд от пустого угла и направил его на Федины руки, которые были сцеплены так крепко, что ногти впились в ладони.

— Теперь, когда тебе известна вся правда, — устало сказал товарищ Максимов, — лучше выложи все, как на духу. Это в твоих же интересах.

— Но ведь я уже сказал все, что знаю, — простонал Федя.

— Когда она впервые попыталась затянуть тебя в сети саботажа?

— Она не делала этого! В этом то все и дело! Она была такой хитрой, такой ловкой, что я ничего не замечал. Разве что...

— Что?

— Кое-какие ее замечания. Тогда они казались мне попросту глупыми, но теперь... — Его лицо просветлело: задача решена!

— Продолжай, — велел товарищ Максимов без особого энтузиазма. — Какие замечания? — Он занес над блокнотом карандаш.

— Ну, например, когда объявили о строительстве метро. Мы с ума сходили от восхищения, а она только посмеялась над нами и сказала, что метро есть и в других странах, так чем тут восхищаться?

— Ты поверил ей?

— Я сказал ей, что она врет, а она предложила нам взглянуть на фотографии метро в Париже, Лондоне — забыл, где еще.

— Она вам их показала?

— Да. В какой-то энциклопедии.

— Выходит, она вовсе не врала?

— Так дело же не в этом! Зачем нужно было смеяться над нашей подземкой и прославлять парижскую или лондонскую? Я-то лично не возражал бы, ведь я знаю, что мы отсталая страна и что капиталисты нас обгоняют, но другие почувствовали себя дураками, когда увидели на фотографиях Париж. Она не имела права подсовывать нам фотографии Парижа и подрывать этим наш боевой дух, как...

— Как что?

— О, это совсем по другому поводу...

— Скажи!

— Я просто вспомнил — ребенком в Белом городе Баку я увидел пруд, и Гриша — мой отец — сделал мне парусную лодочку из куска дерева и рукава своей старой рубахи. — Он помолчал, а потом заговорил твердым, холодным голосом: — Когда я в первый раз пустил ее по пруду, ко мне подошел мальчик, одетый, как кукла, в синем матросском костюмчике, позади которого гувернантка несла большую модель с двумя мачтами, мотором и винтом. Мальчик показал мне язык...

Товарищ Максимов встал и зашагал взад-вперед по кабинету. Через некоторое время он спросил, словно делая над собой усилие:

— Случай с метро был единственным в своем роде?

— Нет. Она часто нас дразнила. Помню, как-то раз кто-то делал доклад о перевыполнении плана по выпуску марганца, а она и говорит: «Жалко, что я не могу набить марганцем брюхо...» В другой раз мы пошли с ней на фильм, в котором вождя революции в другой стране пытали в келье реакционные монахи, пока рабочие не взяли штурмом монастырь и не освободили его. Она все время хихикала, а когда картина окончилась, она сказала, что ничего более глупого никогда в жизни не смотрела...

Товарищ Максимов остановился и, как ни в чем не бывало, сказал:

— Но ты же говорил на том собрании, что она всегда старательно выполняла все поручения?

— Так оно и было. Она делала все, но не так, как мы, — играючи, — он поискал слово, — поверхностно. Она никогда не подходила к поручениям серьезно. Она поверхностно относилась к социалистическому строительству.

Товарищ Максимов возобновил прогулку вокруг стола. Он выглядел утомленным, и Феде показалось, что он ему надоел, хотя он никак не мог понять, почему. Что ж, ему все равно. Его долгом было сказать правду, вот он и делал это, нравится это товарищу Максиму или нет.

Наконец Максимов молвил:

— Слушай внимательно. Я сказал, что у нас есть доказательства против нее. Теперь представим, что я сказал так, чтобы поугаить тебя. Доказательств у нас нет, одни подозрения. В этом

случае ее судьба будет зависеть от твоих показаний. Повторишь ли ты в этом случае все, что сейчас сказал?

— Конечно. Все, что я сказал, — чистая правда.

Товарищ Максимов покрутил в пальцах карандаш.

Тон его голоса стал очень серьезным:

— Ты все равно станешь утверждать, что ее поведение было направлено на подрыв боевого духа товарищей?

— Да.

— На преднамеренный подрыв?

— Не знаю. Какая разница? Такие были у нее манеры. Социальное происхождение заставляло ее вести себя именно так.

Феде было невдомек, куда клонит товарищ Максимов своими непонятными вопросами. Можно подумать, что он пытается защитить эту саботажницу! Враг повсюду, его агенты умудряются просачиваться на самые высокие посты, в самые неожиданные места. Даже главный архипредатель в свое время подвизался в Красной Армии. А вдруг товарищ Максимов просто испытывает его?

Молчание затянулось. Неожиданно Максимов сказал:

— Ладно. — Он что-то сказал в телефонную трубку и вызвал стенографистку. Дождаясь ее прихода, он проговорил:

— Может статься, в один прекрасный день ты поймешь, что ты наделал. Но скорее всего ты этого никогда не поймешь.

Каким бы небрежным ни был тон товарища Максимова, Федя понял, что эти слова оскорбительны для него. Он сидел перед столом товарища Максимова, поджав губы и слегка прищурившись. Товарищ Максимов быстро продиктовал вошедшей стенографистке главное из Фединых показаний, в том числе случаи с метро и с марганцем; было буквально повторено Федино заявление о поверхностном подходе Надежды Филипповой к задаче строительства социализма; в завершении говорилось, что ее поведение объективно вело к подрыву боевого духа ее товарищей. Федя внимательно прислушивался на случай, если какие-то его слова окажутся опущенными, но его волнения оказались напрасными. Если и Максимов был саботажником, он заботился о том, чтобы не выдать себя.

После того, как Федя подписал показания, секретарь ушла, и Максимов холодно спросил:

— Что ты собираешься делать, когда окончишь школу?

— Поступлю в университет.

— Ты никогда не подумывал о том, чтобы пойти работать в органы госбезопасности?

— Нет.

— А тебе бы хотелось?

— Да.

— Ты очень подошел бы для этой работы. Может быть, мы еще увидимся. До свидания.

Допрос завершился. Последние слова Максимова были величайшим комплиментом, о котором мог мечтать Федя, однако тон, которым они были произнесены, снова показался Феде оскорбительным — хуже того, презрительным. Но не исключено, что это входит в проверку.

Федя был рад снова оказаться на свежем воздухе. К черту товарища Максимова, подумал он. Мимо громыхал битком набитый трамвай; Федя поглубже натянул кепку на голову, припустился следом и ловко запрыгнул на подножку, отдавив ногу скрючившемуся там немолодому очкарику. Тот беззлобно пробормотал что-то про себя, и Федя, посмотрев на его когда-то шикарное пальто, понял, что перед ним представитель дореволюционной интеллигенции. Так вот почему он не осмелился возмутиться вслух! Федя добродушно ухмыльнулся. К черту их всех: и этого, в пальто, и

товарища Максимова, и всю остальную старую шайку, партийные они или беспартийные. Все они принадлежат прошлому; что они такого совершили, чтобы так собой гордиться? Затевали заговоры, метали бомбы, проводили партизанские вылазки — все это очень романтично, но больно старо! Они не построили ни единого завода и понятия не имеют о производстве и о Пятилетнем Плане. Даже отцовские друзья, бакинские адвокат и доктор, теперь были бы просто старыми маразматиками, усталыми мухами, ползущими зимой порой по раме окна, которое скоро распахнется в будущее... Феде стало вдруг очень весело. Ему и его одноклассникам будет всего по двадцать, когда будет завершен пятилетний план, и они станут командовать парадом — парадом, каких еще не видывала История!

Он снова заломил кепку на затылок и принялся насвистывать, не обращая внимания на старого ворчуна. Что за счастье — быть молодым и жить в такое героическое время! А вдруг Максимов не шутил, и его, Федю, пошлют за границу, к диким финансовым баронам в цилиндрах и во фраках, чтобы он был там миссионером, пекущимся о спасении человечества?! Они могут подвергнуть его пыткам, даже убить, как убили Гришу и родню Арина, но ему не страшно. Единственное в жизни, чего он и впрямь боялся, просто не может произойти: его никогда не выкинут из Движения, как Надежду, он никогда не очутится в кромешной тьме, никогда не окажется изгнанником в пустой, иссохшей и безводной земле.

## VII Телячья голова с шампанским

Я-то думал, вы наденете шелковое вечернее платье и драгоценности, — разочарованно протянул Федя. Он снова отпихнул стул ногой, прежде чем сесть, но руки целовать не стал. Хайди и на этот раз пришла в кафе раньше него. На нем был черный костюм; короткие волосы были тщательно прилизаны. Но час за часом волосок поднимался за волоском, и под конец все они снова топорщились. Хайди заворуженно наблюдала за этим процессом, как когда-то — за разлетающейся при поджаривании воздушной кукурузой.

— Я не приделась, потому что мы не пойдём в Оперу, — объяснила Хайди.

— Почему? Я купил билеты, так что надо пойти.

Он был до того сбит с толку, что ее охватила волна нежности. Она ободряюще произнесла:

— Лучше поужинаем в каком-нибудь недорогом местечке, и вы расскажете мне о себе. Это будет куда забавнее демократичной музыки.

Лицо Феде приняло уже знакомое ей неопределенное, настороженное выражение. Затем глаза его снова загорелись:

— Ага, выходит, это внезапный каприз избалованной американки?

Хайди рассмеялась.

— Навешивание этикеток делает вас счастливее?

— А как же! Всегда необходимо понять причины события. Но теперь нам надо поторапливаться.

— Почему?

— Я должен успеть отвезти вас домой на такси и не опоздать в Оперу. Было бы невежливо бросить вас в этом кафе.

Он встал и галантно дождался, пока встанет и она. Хайди прикусила губу. Секунду поколебавшись, не сомневаясь, что все взгляды в кафе обращены именно на нее, она в конце концов поднялась и направилась напрямик к двери. Федя последовал за ней. Снаружи им пришлось подождать, пока появится такси. Он испытал только минутную растерянность, пока она выходила из-за стола; растерянность улетучилась, когда ее плечо коснулось его — топография заведения вполне позволяла избежать такого контакта. Распахивая перед ней дверцу подрулившего такси, он расплылся в улыбке. Хайди забралась в дальний угол сиденья и произнесла похоронным тоном:

— В Оперу.

После этого, стараясь держаться на максимальном удалении от него, она изо всех сил сдерживала слезы и думала о том, что никогда в жизни не ненавидела никого больше, чем этого чудака в смехотворном одеянии с невозможными манерами, клялась себе, что у Оперы велит шоферу везти ее домой, зная в то же время, что этого не произойдет, и ужасалась предстоящему: трем актам «Риголетто» и неизбежному продолжению вечера.

У «Мадлен» такси попало в пробку. Уставившись на греческие колонны, украшающие фасад, озаренный розовыми лучами прожекторов, она подумала: что за отвратительный и жестокий город Париж, как отчаянно одиноко должно быть его жителям, задыхающимся в тесных квартирках, огороженных закопченными перилами балконов. Внезапно, с удивлением, от которого она чуть не подпрыгнула на сиденье, она почувствовала на своей руке жесткую Федину ладонь и услышала его воркующий голосок:

— Вы действительно не хотите идти на «Риголетто»? Она покачала головой, не в силах вымолвить ни слова.

— Почему же вы не сказали об этом в среду, когда я вас пригласил?

Она беспомощно пожала плечами.

— Надо было меня предупредить, тогда бы это не показалось мне просто капризом. Но если вам и вправду не нравится «Риголетто», то мы поедем в дешевый ресторан.

Ей захотелось обнять и поцеловать его, но она предпочла воздержаться от излишней прыти и вместо этого назвала шоферу нетвердым голосом адрес ресторанчика на Левом берегу. Сделав это, она извлекла пудреницу и принялась успокаивать нервы, производя отвлекающие маневры пуховкой и губной помадой.

— Жалко, что вам не нравится «Риголетто», — подал голос Федя. — Это хороший пример коррумпированности класса феодалов накануне буржуазной революции и самоуничтожения, навязанного феодальной структурой общества своим жертвам. И музыка там неплохая.

Хайди подумала, что ей не дано понять, когда Федя говорит серьезно.

— Наверное, под хорошей музыкой вы подразумеваете *la donna e mobile*.

— Что это значит?

— Это по-итальянски. Означает «у любви, как у пташки, крылья».

— А-а, знаменитая ария. Очень красиво, не считая слов.

— Чем же провинились слова? О, что же вы такой педант?! — опечалилась она.

Он пожал плечами и объяснил терпеливым тоном:

— Вся эта болтовня насчет женской летучести, капризности и прочего — скучная чепуха. В продажном обществе и нравы продажные, продажными становятся даже инстинкты, и продажные артисты зарабатывают на жизнь, красиво прославляя продажность, как делал автор этой арии. Как говорит Леонтьев в своей последней статье, они уподобляются червям, отплясывающим на трупе.

— А в вашем непродажном обществе все женщины свято хранят верность?

— Бывают и исключения. Некоторые люди, идя на поводу у инстинктов, вступают в конфликты с обществом и его институтами. Но в целом, когда женщина имеет детей, любит мужа и чувствует себя сексуально удовлетворенной, она не обладает этой вашей «летучестью», а наоборот, чувствует себя прочно стоящей на земле. Возможно, время от времени на нее находит желание немного полетать, но в нормальной семье нормального общества такие незначительные желанья мало что значат. В вашем же загнивающем обществе, лишенном веры, убеждений и прочности, вы относитесь к таким желаньям исключительно серьезно, ибо нет больше ничего, к чему можно было бы отнестись всерьез.

— Знаете, — заметила Хайди, — мой дед говорил то же самое.

— Он участвовал в революционном движении? — с интересом спросил Федя.



— Нет. Он владел замком и знаменитой сворой гончих в графстве Клэр.

— А идеи у него были очень прогрессивные, — твердо заключил Федя. — Но нам ни к чему спорить. Я просто хотел сказать, что моя позиция в отношении этой арии из «Риголетто» заключается в том, что когда женщины начинают безумствовать, то это происходит потому, что они живут в обществе, лишенном веры.

— Совершенно с вами согласна, — мрачно произнесла Хайди.

Ресторан на набережной Сены, выбранный Хайди, был как нельзя более дешевым. Скатерть не блистала чистотой, солонка оказалась выщербленной, а пружины диванчика моментально просели под их весом. Федя разочарованно огляделся.

— Почему вас тянет в такие места? — спросил он.

— Вам не кажется, что тут рай? — Она показала ему на вид за немывтым окном; их стол помещался в неглубоком алькове, они были здесь совсем одни. — Можете смотреть на Нотр-Дам и на рыболовов на мосту, которые никогда не выуживают ни единой рыбки, но и не думают сдаваться. Вот вам и вера — даже в буржуазном обществе...

— Но, — поспешил возразить он, — на берегу реки есть много более приличных ресторанов, чистых и культурных... — Он снова посмотрел на нее с внушавшим ей страх недоверчивым, опасливым выражением лица. Это было хуже, чем стеклянная клетка, — здесь стояла стена, разделяющая два континента. Неожиданно его глаза разгорелись, лицо снова просветлело.

— Ваш отец очень богат?

— Не очень, но достаточно, — смиренно ответила она.

— Теперь понятно, — успокоился он. — Очень интересное явление.

— Что за интересное явление? — спросила она, довольная, что все утряслось.

— Самое интересное — то, что вам самой невдомек, почему вам нравятся такие местечки. Вы, наверное, читали Веблена<sup>13</sup>?

— О, Боже! Всегда притворялась, будто читала. Лучше сами расскажите мне, что он писал о парижских бистро.

— О парижских бистро — ничего. Но он объяснял законы эволюции вкусов у правящих классов. Пока определенный класс, скажем, капиталистическая буржуазия, занят накоплением богатства, его представители соревнуются в тратах и мотовстве, чтобы произвести друг на друга впечатление. Но когда класс совсем разбогатеет, его представителям уже нет нужды доказывать, насколько они богаты, и роскошествуют только те, кто на самом деле не богат, но жаждет казаться таковым, или кто совсем недавно приобрел богатство. Так что на этой стадии роскошь кажется вульгарностью, и Рокфеллер влачит аскетическое существование. Вот и вы приучены считать, что это и есть культурность, и что такие старые, грязные ресторанчики хороши именно своей стариной и грязью.

Хайди засмеялась.

— Кое-что из того, что вы говорите, верно, но лишь частично. Как скелет — только часть правды о человеке. Бистро, к примеру, не только стары и грязны — им присуща особая атмосфера.

— О, да, атмосфера. Атмосфера бедности, «простонародья», мелкой буржуазии — вы-то сами принадлежите к крупной буржуазии, и вам можно играть в Га-рун-аль-Рашида. Вы посещаете бистро, подобно туристам, устремляющимся на Восток.

Больше всего ее задевало то, что в его тоне не было агрессивности, напротив, в нем слышалась мягкая ирония, словно он снисходил до нее с высоты неприступной крепости своей веры. Ей оставалось с завистью взирать на него снизу вверх, ежась от холода и неуверенности, как все те, кто живут вне ее стен.

— Вы позволите мне заказать ужин? — спросила она. — Еда тут по крайней мере хороша, и я знаю их коронные блюда.

Он добродушно согласился, как взрослый, уступающий детской причуде. Она заказала устрицы в вине, омлет и телячью голову в уксусном соусе. Хозяин, угрюмый толстяк, пожал им руки, желая, видимо, оказать Хайди особую честь.

— Вы чувствуете себя очень гордой и демократичной, — произнес Федя с улыбкой, когда хозяин отошел.

— О, вы всегда все испортите! Почему?

— Потому что я не одобряю ложных чувств.

— Что же ложного в том, что мне нравится толстый patron? Видели бы вы его жену! Она еще толще, а грудь у нее задрана чуть ли не до плеч.

— Вы бы пригласили их к себе на вечеринку?

— Они не подошли бы к компании, но это тут совершенно ни при чем.

— Значит, они вам на самом деле не нравятся. Она в отчаянии пожала плечами.

— В такой игре вам нет равных.

— В какой игре?

— Вы отлично ловите человека на слове.

— Не понимаю. Если вас подловили в борьбе, вы проигрываете.

— Но я не хочу с вами бороться.

Он бросил на нее памятный кошачий взгляд.

— Что же вы хотите со мной делать?

— Бог его знает. Лечь с вами в постель, наверное, вот и все.

Наконец-то она испытала удовлетворение, видя, как он шокирован. Он вылупил глаза, и на его щеках проступили веснушки — так он, по-видимому, краснел.

— Теперь вы наверняка сочтете меня страшно «некультурной», — ядовито добавила она, уже готовая перейти к обороне и снова натянуть маску послушной ученицы, если только представится такая возможность. Ее успокоил неожиданный огонек понимания в его глазах; он решил очередную загадку, и все снова встало на свои места.

— Не некультурной, а просто немного испорченной, — ответил он на ее последнее замечание. — Это и есть фривольность праздного класса. Вы говорите такие вещи, подобно тому, как дети произносят грубые слова, не понимая их смысла.

Хайди не стала развивать эту тему. Тут как раз подоспели устрицы. Она ощущала внутри себя пустоту и, следовательно, сильный голод. Она мысленно взмолилась, чтобы он не пригвоздил поедание устриц как испорченность или некультурность, но они ему как будто понравились. У них был волшебный вкус чеснока и чего-то еще.

— Вам нравятся устрицы? — осторожно осведоминась она, не желая вновь ступать на зыбкую почву.

— Очень хорошие! Французы их любят, — вежливо добавил он.

— А какие блюда любите вы?

Его лицо просияло.

— Шашлык, шушкбаб. А напоследок — немного рахат-лукума, — стыдливо признался он.

— Так вы с Кавказа?

— Откуда вы знаете?

— Все знают, что шашлык — кавказское блюдо.

— Я родился в Баку. В Черном городе. — Он как будто слегка оттаял от крепкого рейнского вина, поданного к устрицам.

— Вы мне расскажете немного о своей жизни? — робко спросила она.

— Это неинтересно.

— А мне интересно! У меня нет ни малейшего представления о жизни по ту сторону.

— Наши люди самоотверженно трудятся и счастливы, что строят будущее.

— Аминь. Теперь расскажите о себе.

Он поставил рюмку, отодвинул тарелку и посмотрел на нее, со смешным выражением лица приглаживая непослушные волосы — высохнув, они топорщились, как швабра. Хайди внезапно поняла, чего недоставало его лицу: мягкой черной кепочки, которую он мог бы сбить на затылок или надеть набекрень — в зависимости от настроения.

— Это не очень интересно, — повторил он. — Мой дед был выходцем из угнетаемого национального меньшинства — армян. Он был ремесленником. Так как он был из угнетаемого меньшинства, то вся его семья погибла, и ему пришлось бежать. Отец принадлежал уже к революционному пролетариату и был убит контрреволюционерами. Мать жила в бедности и невежестве, как все женщины Востока, а после заболела и умерла. Потом, во время Гражданской войны, я вместе с дедом пробрался из Баку в Москву и там стал учиться в школе. Вступил в молодежное движение, потом — в партию. Когда богатые крестьяне воспротивились коллективизации с целью торпедировать пятилетний план, я был мобилизован партией и направлен обратно на Кавказ, чтобы помочь сдаче урожая, необходимого для городских рабочих, занятых индустриализацией. После этого партия послала меня в университет, после же университета я занимался различными делами на культурном фронте...

Он одарил ее лучезарной улыбкой, словно дядюшка, порадовавший ребенка подарком. Хайди покрутила в руках рюмку.

— Теперь я все о вас знаю! — радостно воскликнула она.

— Да.

— Что вы изучали в университете?

— Историю, литературу, диамат и вообще культуру.

— Что такое «диамат»?

— Диалектический материализм. Это наука об истории, — терпеливо пояснил он.

— Это ваша первая заграничная командировка?

— Я бывал и в других странах, — туманно ответил он.

— И что вы там делали?

— Работал в культурных миссиях, как и здесь... Теперь ваш черед обо всем рассказать.

— Идет. Я родилась в среде загнивающего правящего класса; с материнской стороны мои родители были ирландскими землевладельцами-кровопийцами, с отцовской — наемными вояками из Вест-Пойнта. Разложение буржуазного общества довело мою мать до алкоголизма, а отца — до донкихотской мании спасения Европы, меня же — до врат католического монастыря... Теперь и вы все обо мне знаете.

— Да, — великодушно согласился Федя. — Знаю — не все, но многое, хотя вам казалось, что вы просто шутите. Вы, выражаясь вашими словами, нарисовали скелет — но, зная скелет, можно представить себе все животное.

— Одно «но», — возразила Хайди. — Скелеты вечно ухмыляются. Вы тоже умны и

«культурны», но ваша культура — это какой-то скелет: сплошь оскаленные зубы и выпирающие челюсти.

— Почему вы ушли из монастыря? — спросил Федя, с улыбкой отмечая ее последнее замечание.

— О-о... обычные причины. Мне не хотелось бы об этом распространяться.

— Почему?

— Если бы вам пришлось покинуть свою партию, стали бы вы об этом разглагольствовать за омлетом?

Федя усмехнулся.

— Это разные вещи. Партию не покидают. А ваш монастырь — вы ведь знаете, что все это суеверия...

— Если бы вам открылось, что и партия — сплошное суеверие, разве вы бы ее не оставили?

Он продолжал улыбаться, но улыбка теперь выходила пресной.

— Вы рассуждаете о вещах, в которых не разбираетесь. Я спросил: почему вы ушли из монастыря?

Он сказал это настолько нелюбезным тоном, что Хайди решила на последнюю попытку отстоять свое достоинство.

— Я ем омлет, — сказала она ровным голосом, чувствуя, как колотится ее сердце.

Федя наполнил ее рюмку и осушил свою. Он не сводил с нее пристального взгляда.

— Почему вы ушли из монастыря?

Фантастика какая-то, подумала Хайди. Но и это не помогло. Сердце билось теперь как сумасшедшее.

— Это допрос? — спросила она с храброй улыбкой.

— Вы не станете отвечать на мой вопрос?

— Интересно, за кого вы себя принимаете, и что дает вам право так со мной разговаривать?

— Ладно. — Он положил на скатерть нож и вилку, оперся обоими локтями на стол и устремил на нее свой испытующий взгляд. — Вы вовсе не глупы, так что вы поймете. Мы встречаемся на балконе. Вы провоцируете инцидент, забираете мою записную книжку, изучаете ее, звоните мне и предлагаете встретиться, чтобы ее вернуть. Вы заигрываете со мной и принимаете приглашение пойти на «Риголетто». Потом вы говорите, что не хотите идти на «Риголетто», потому что вам хочется со мной поговорить. Вы задаете мне вопросы о моей жизни. Когда же я спрашиваю вас о вашей жизни, вы отвечаете, что едите омлет. Вы — вконец испорченная женщина из высшего класса, меня же вы считаете выходцем из страны некультурных дикарей, с которым можно вот так поступать.

— Боже мой, — ахнула Хайди, комкая платок, — клянусь, что вы все неверно поняли. Прошу вас, поверьте мне...

— Вот теперь я вижу по вашему лицу, что вы понимаете, насколько неправильно себя повели, и готовы заплакать, потому что вам кажется, что тогда все утрясется.

— Но это же чудовищно! Вы все поставили с ног на голову! Я вовсе не намеревалась вызывать вас на откровенность, я совсем не испорчена, я не презираю вас и не ощущаю никакого превосходства над вами, наоборот! Поэтому я и не захотела говорить о том, как я... утратила веру. Ведь это дает вам такое огромное преимущество передо мной!

— С какой стати?

— Как же вы не видите — ведь вам есть, во что верить, а мне, нам... не во что.

Ему было видно по тому, как трясется ее рука, до чего отчаянно она комкает под столом свой

платок. Ее лицо исказилось от волнения. Он знал — когда с женщиной происходит такое, то это значит, что она говорит правду.

— Значит, вы ведете себя со мной так потому, что завидуете моему участию в общественном движении, где я могу приносить пользу?

— Какой смысл говорить о таких вещах? Слова делают все сентиментальным и смешным.

— Это потому, что вы так испорчены и кичливы. У нас люди, совершившие ошибки, подвергаются прилюдному осуждению, наказание же или прощение зависит от преступления. Но вы не захотели ответить на мой вопрос, потому что вам недостает смирения, чтобы покаяться в своих ошибках, потому что вы не очистились от своих вредных воззрений открытым отказом от них как ото лжи и суеверия.

— О, Боже! Неужели нельзя прекратить это? — На какое-то мгновение его голос показался ей эхом ее последнего, выматывавшего нервы разговора с духовником, ибо с той же безжалостной монотонностью колотился о гордость ее духа и восставшей совести. Федин голос доходил до нее сквозь фильтр этого воспоминания, словно из далекого прошлого:

— Как хотите! Я действую в ваших же интересах. Вы жалуетесь, что не можете ни во что поверить, но происходит это только потому, что вам не хватает смелости вырвать из своего сердца суеверие и ложь... Теперь можно вернуться к омлету, а потом я отвезу вас домой, потому что уже поздно.

Patron принес им телячью голову и буркнул Хайди, что лучше есть ее горячей, на Федю же взглянул с мрачным неодобрением. Она сидела молча, с белым, измученным лицом, для утешения patron'a ковыряя вилкой телячью голову. Внезапно, к своему удивлению, она услышала собственный ровный, почти скучный голос:

— ...во время войны одно крыло школы было превращено в госпиталь. Некоторые из нас работали там сестрами милосердия. У нас было несколько пластических операций — в основном, сбитые и обгоревшие летчики. У некоторых из этих двадцатилетних ребят не было носов, и они походили на сифилитиков. Один лишился нижней челюсти; другой дышал через резиновую трубочку, вставленную в дырку в горле. Некоторые проводили по много дней с пришитыми к подбородку руками и ногами, чтобы прижилась пересаженная кожа, — скорченные, как эмбрионы-переростки. У некоторых были скрюченные, как птичьи лапки, руки, другие спали с открытыми глазами, потому что у них сгорели веки. Помню одного, у которого вообще не осталось лица — одни бинты, как у уэллсовского Невидимки в фильме. Перед смертью он написал на дощечке: «К черту Бога. Искренне ваш». Мне следовало ужаснуться, я же обнаружила, что согласна с ним. Быть может, я превозмогла бы и это, но одна девочка в школе заболела менингитом. Ей было всего восемь лет, но она была развитой не по годам, хорошенькой и очень веселой. Она была очень привязана ко мне, и я настояла, чтобы мне позвонили ее выхаживать... При менингите, чтобы вы знали, возникает головная боль, несравнимая с болью при любой другой болезни. Ребенок — у нее было такое глупое имя: Туту — лежал на спине восемнадцать часов, прежде чем наступила предсмертная кома, и все восемнадцать часов она беспрерывно крутила головой и издавала каждые тридцать секунд особый крик — тонкий птичий щебет, характерный для менингита. Перед тем, как впасть в кому, ей стало ненадолго легче, и ее глаза, перед этим все время закатившиеся, нашли меня. Я склонилась над ней и произнесла что-то глупое насчет великой Божьей любви, но она прошептала мне на ухо: «Хайди, Хайди, мне страшно — я думаю, что Он сошел с ума». После этого наступила кома, и спустя три дня она умерла. Но эта мысль, посетившая истерзанную головку восьмилетнего ребенка, овладела мной, потому что в то время мне казалось, что она никому больше не знакома. Мне казалось, что она многое объясняет: злобную глупость силы, обречшей это дитя на муки и исторгавшей из него нечеловеческие, птичьи крики; ужасы, которых я навидалась в отделении пластической хирургии, а потом — газовые камеры и поезда смерти, засыпанные хлоркой. Понимаете, я не могла представить себе мир без Бога, так же, как не могла представить себя без рассудка, просто как живую ткань — да и сейчас мне это, наверное, не удалось бы. А раз ничто не могло происходить без Его воли, раз творились такое, единственное объяснение могло состоять в том, что Бога поразила какая-то злокачественная форма безумия...

Она умолкла, взяла себя в руки.

— Вот вам. Полнейшая исповедь... Федя взглянул на нее с любопытством:

— Замечательно! Воспитанница культурных кругов живет в двадцатом веке в монастыре и выдумывает дикие теории о сумасшествии Господа. Ваши родители были религиозны?

— О, нет! Отъявленные безбожники!

— Вот, видите! В Средние века суеверие было вполне естественным делом. Но вы родились во время первой пятилетки и ринулись назад, в средневековье, ибо негодность вашей цивилизации утянула вас в прошлое. Так же происходит со многими вашими поэтами, писателями, учеными. Они капитулируют и сдаются средневековью, ибо не могут вынести жизни в пустыне.

— Вы хотите сказать, что читали Элиота? — Хайди была приятно удивлена.

— Конечно. Я же учился в университете.

— И его там преподают?

— Некоторые его стихотворения предлагаются студентам в качестве примера явления, о котором я говорил.

— Понятно.

— Так что же случилось с вами после того, как вы оставили монастырь?

— Ничего особенного. Вышла замуж за первого, кто подвернулся под руку, развелась. А потом помешалась на разбивании стеклянных клеток. Раз вы читали Элиота, вам нетрудно догадаться об остальном. — Она откинулась на спинку стула и продекламировала, улыбаясь ему в глаза:

*Стремясь к теплу, я превращаюсь в лед*

*И корчусь в очистительном огне...*

Его лицо утратило осмысленность.

— Этого я не понимаю. Формализм какой-то...

— Ничего. Теперь мы знаем друг друга гораздо лучше. Мне уже знакомы, к примеру, почти все варианты выражения вашего лица. Настороженный, недоверчивый взгляд, когда опущены все жалюзи. Яркая вспышка, когда вам удается решить очередную загадку, подброшенную загнивающим миром. Беззаботный, радушный взгляд, словно вы сдвигаете на затылок мальчишескую кепчонку. Сексуальный взгляд — об этом распространяться не будем. И, наконец, ласковый взгляд, сопровождаемый участливым, сострадательным голосом, когда вы объясняете вашей невежественной и послушной слуге законы истории. — Она завершила свою речь легким поклоном.

Федя рассмеялся — впервые за все время это был сердечный, искренний смех, сопровождаемый заламыванием кепочки и даже похлопыванием ладони по столу. Хайди почувствовала, что готова зардеться от гордости за содеянное, и мысленно заклеила себя презрением.

— Очень остроумно. Просто блестяще! — вымолвил он с наивной восторженностью. — Надо будет запомнить и рассказать друзьям. Сколько всего выражений?

— Пять. Могу сосчитать по пальцам. Его снова разобрал смех.

— Теперь придется выпить шампанского.

Она попыталась возразить на том основании, что шампанское не слишком сочетается с телячьей головой, но он проявил настойчивость. Patron принес бутылку с видом философического презрения, избегая смотреть Хайди в глаза. Как только он удалился, Федя выхватил бутылку из ведерка со льдом и ловко откупорил ее с хлопком, похожим на пистолетный выстрел.

— Теперь, — объявил он, — по пять бокалов, за каждое выражение лица.

— Не хотите ли вы заставить меня выпить один за другим пять бокалов?

— Именно так. Вам наверняка не чужд азарт. Все американцы азартны, разве нет? Мое лицо

будет каждый раз принимать новое выражение. Получится очень забавно.

Он притворился настороженным и неприступным, звякнул своим бокалом об ее и осушил его одним глотком. Хайди последовала его примеру, и он снова взялся за бутылку. Представление продолжилось, причем ему до конца не изменял юмор, и он искренне пытался хорошо сыграть свою роль, гримасничая, словно стремясь развеселить ребенка.

Patron, не выдержав этой сцены, покинул бар и ушел на кухню. Хайди, не желая спровоцировать новой ссоры, послушно проглотила все пять бокалов, наполовину, сожалея, наполовину радуясь тому обстоятельству, что, стремясь ее напоить, Федя самым кустарным образом обрекал на провал собственный замысел. Откуда ему было знать, что под влиянием винных паров ее неизменно покидала католическая терпимость плоти, взамен которой из-под плохо пригнанной мантии распутницы начинало выглядывать раздвоенное пуританское копыто.

— Теперь вы должны отвезти меня домой, — выговорила она, чувствуя, что ей изменяет зрение, — иначе я стану совсем пьяной.

— О, нет, — жизнерадостно возразил Федя. — Сперва мы выпьем кофе с бренди, а потом поедем ко мне в номер слушать пластинки. Арию из «Риголетто», — добавил он с улыбочкой.

— На кофе с бренди я согласна, — сказала Хайди. Она видела, что он не верит ей, и испугалась, что разразится новая сцена. Из окружившего ее красочного алкогольного марева негаданно выплыло вдохновение. Потягивая кофе и скромно опустив ресницы, она сказала мелодраматическим тоном:

— Вы хотите только моего тела, вам не нужна душа. Эти слова произвели совершенно неожиданное действие. Вместо того, чтобы заклеить душу как буржуазную выдумку, Федя пустился в объяснения насчет того, что ее упрек несправедлив и оскорбителен для его глубоких чувств. Снова заказав бренди, он заявил, что, хотя было бы неправдой утверждать, что он никогда прежде не обнимал женщину, он никогда не делал этого, не будучи по уши влюблен в нее — в тело и в душу. После этого он упомянул о том, как ему одиноко в Париже, и о глубоком впечатлении, которое она произвела на него при первой же встрече.

Хайди вслушивалась в эти речи с жадным удовлетворением; каждое его слово было для нее медом, нектаром. Она подумала, что такие же чувства испытывает старая дева, получая и читая любовные письма, отправляемые ею самой себе.

В такси она позволила ему на одно мгновение привлечь ее к себе и поцеловать ей глаза. Даже этого мгновения — прежде, чем она оттолкнула его — хватило, чтобы понять, насколько совершенно было бы слияние их тел, как притягивает ее кожу его кожа, как свободно дается им прикосновение и объятие. Но тут же открылись шлюзы вины, и ее сознание затопил поток отвращения. Во избежание бесполезной борьбы, единственным результатом коей могло быть его унижение, ей пришлось прибегнуть к одиозному приему и солгать насчет временных трудностей. Прием подействовал незамедлительно. Он тут же оставил ее в покое, даже не пытаясь скрыть разочарование и неудовольствие, и велел шоферу ехать по названному ею адресу. К тому времени, когда машина прибыла по назначению, он сумел обрести прежнюю холодность и, прощаясь, поцеловал ей ручку; повой встречи он, однако, назначать не стал.

Когда Хайди добралась до дому, в комнате отца все еще горел свет. Повернувшись в кресле у стола, он приветствовал ее привычной фразой:

— Что хорошенького?

Это не значило, что он ожидает от нее отчета о том, как прошел вечер; это было всего лишь приветствием, но в то же время «хорошенькое» свидетельствовало о том, что худшее, что с ней может произойти, — это какой-нибудь безобидное озорство, так что ей всегда предоставлялось отпущение грехов на любой случай. Кроме того, если бы у Хайди случилась интимная связь с мужчиной, она бы сразу проследовала к себе в комнату.

— Я ужинала с русским, которого мы видели у мсье Анатоля.

— С Никитиным? Ну как, хорошо провела время? — Его тон был ровным и вполне

нейтральным. Она присела на диван, сбросила туфли и подобрала ноги под себя.

— Мы большую часть времени ссорились. Он неправдоподобно примитивен и в то же время обладает хоть и незрелым, но острым умом, позволяющим на все глядеть просто; наши драгоценные сложности для него — пустой звук.

— Да, я заметил это, когда имел с ними дело.

— Они все такие?

— Ну... Помнишь историю о чудаке, который считал, что все французские официанты — рыжие? Но у меня впечатление, что там у них и впрямь все официанты ходят с рыжими шевелюрами...

Хайди не хотелось развивать эту тему.

— Ты рад, что тебе больше не нужно составлять списков? — спросила она.

Он откинулся в кресле, утомленно улыбаясь ей.

— Как ты сказала в тот раз, страшно бывает только во время передышки. Сейчас как раз такая передышка. О списках забыли — всем немного стыдно за недавнюю панику, так что до следующей паники никто не пошевелит и пальцем, а тогда будет уже поздно. У нас есть несколько месяцев, может быть, несколько лет, после чего мы снова займемся этой чепухой.

Хайди пожалела, что завела этот разговор. Одновременно ее тронуло озадаченное выражение его розовой физиономии — маска Озабоченного Либерала, которая казалась ей столь трогательной и была бесконечно дорога.

— Беда в том, — продолжал он, не заботясь, слушает ли она его, — что нельзя спасти того, кто не желает быть спасенным. С Европой что-то случилось — Бог знает, как это произошло, но это что-то ужасное. Как ты считаешь, может целый континент вдруг утратить волю к жизни? Если это так, то нам надо сматываться отсюда, пока и мы не подцепили этого смертельного микроба.

— Ты ведь так не считаешь — более того, ты сам отлично знаешь, что так не считаешь, — непоколебимо парировала Хайди.

— Конечно, черт возьми! Не считаю. Но нельзя же бесконечно обманываться. А если прекратить это занятие, станет еще хуже. Что вообще-то может предложить твое поколение? Как правило, молодые располагают собственными программами, запатентованными решениями, а к старшим относятся, как к слабоумным. Если разобраться, то самое страшное в том, что ваше поколение слишком уважает нас. Это очень плохой признак.

— Кто-то сказал, что бывают ситуации, из которых заведомо нет выхода. Нельзя плыть в подошве волны.

— Это все, что ты можешь сказать? Ну и ну, ну и ну... — Он потер свой гладкий лоб. — Конечно, в четвертом веке нашей эры ни один мудрец не смог бы предложить средства для замедления галопирующего увядания Римской империи... Знаешь, надо будет почитать Фрейда — что он там пишет об этом микробе? История ничему не учит. В ней полно аналогий, обрубающих оба конца... Черт, должно же быть какое-то решение!

— Что касается меня, то решение будет такое: виски со льдом — и на боковую.

## VIII Падшие ангелы

На следующий день после ужина с Федей в маленьком бистро Хайди уже сожалела о своей победе. Все ее мысли о Феде были какого-то дерматологического свойства: она думала о нем одной кожей. Она не хотела звонить ему, ибо не сомневалась, что то, что она чувствует, обязательно дойдет до него, коснется его; это переносилось по воздуху, как радиация. Это была какая-то кожная телепатия, которая пока вполне ее устраивала.

После полудня она отправилась по магазинам. Это развлечение нарушило телепатический



контакт и вызвало у нее чувство пустоты. Она собиралась пойти на коктейль, но вместо этого позвонила Жюльену. Поскольку Жюльен был оппонентом Феди и полной противоположностью ему, общение с ним восстанавливало прерванный ток, устремлявшийся к отрицательному заряду.

Он как будто был польщен ее звонком и предложил ей зайти, потому что у него собрались друзья. Но к тому времени, когда Хайди попала к нему, из друзей остался один профессор Варди. Маленькая квартирка Жюльена располагалась на третьем этаже в старом доме Сен-Жерменского предместья. Кабинет Жюльена выходил окнами на узенькую улочку и затрапезную гостиницу на другой стороне, окна которой навевали по ночам мысли о силуэтах раздевающихся женщин на занавесках. В квартире приятно пахло ученой пылью с книжных полок; здесь царила атмосфера покоя, которой она никак не ожидала. Даже профессор Варди, восседавший в глубоком кресле с рюмочкой сладкого вермута в руке, казался здесь более умиротворенным. Он остался сидеть, когда Жюльен ввел в кабинет Хайди, и, как ни странно, это воспринималось как комплимент, как признак того, что ее принимают за свою.

— Вам повезло, что вы задержались, — сказал Жюльен, делая ей коктейль из каких-то сомнительных ингредиентов. — Иначе вы стали бы свидетельницей скучнейшего озлобленного спора, участники которого вечно клянутся, что больше ничего подобного не повторится, а потом снова принимаются за старое.

— Спор с полудевственницами, — вставил Варди, словно это могло служить объяснением.

— Как увлекательно! — вежливо отозвалась Хайди. — Вы пытались их соблазнить?

— Ха-ха-ха! — сказал Варди. Смех ему заменяло невеселое, но вежливое мычание. — Полудевственницами мы зовем определенную категорию интеллектуалов, которые флиртуют с революцией и насилием, пытаясь в то же время остаться целомудренными либералами.

— Мы же, — дополнил Жюльен, размахивая рюмкой, — мы, отдавшие все, что может предложить невинность, и не требующие ничего взамен, — падшие ангелы.

Он прислонился к книжным полкам, забитым изорванными, обернутыми в бумагу книгами, делающими все французские библиотеки похожими на кладбища литературы.

— Сегодня, — продолжил он, — их здесь было трое: писатель, художник и девушка. Девушка замужем за писателем, которого любит, но спит с художником, которого ненавидит, и раз в полгода совершает самоубийство — правда, неудачное. Этот клубок занимает их последние пять лет, так как мы, французы, — консервативная нация, стремящаяся к тому, чтобы даже беспорядок нес на себе печать организованной преемственности. Вторая их важнейшая забота — революция, которая возвестит райское царство и распутает их клубок, как и все остальные клубки. У Варди и у меня не было желания вступать в спор, но Варди по неосторожности упомянул одного общего знакомого, недавно казненного на той стороне, и вся троица набросилась на нас, хуже фурий: во-первых, он не казнен; во-вторых, он, как-никак, предатель; в-третьих, революция имеет право убивать даже невиновных во имя возвышенных интересов, и так далее — всякая чушь. Сами видите, что все это было бы отъявленной глупостью, если бы этот вид умственного извращения, вопреки распространенному мнению, не пользовался значительным влиянием... — Он умолк, утомленный собственной напыщенностью.

— Давай-ка уточним, — подхватил эстафету Варди. — В том, что касается позитивных идей или улучшения художественного вкуса, интеллигенция влияет на массы крайне слабо. Но в отрицательном смысле, как проводник коррозии и разрушения, она очень влиятельна, особенно в этой стране.

— И вся чертовщина в том, — снова подключился Жюльен, — что интеллектуальная полудевственность такого сорта практически не поддается лечению. Мужчина, переспавший с революцией, знает, о чем говорит. Эти же остаются вечными кокетками, они никогда не отдаются идее целиком, а в лучшем случае мастурбируют, мечтая о ней. Стоит вам сказать им, что на самом деле представляет собой предмет их одиноких вздыханий, они назовут вас циником, разочаровавшейся личностью, а то и обвинят в мании преследования...

Он умолк, моргая от дыма воображаемой сигареты.

— А вам-то что за печаль? — удивилась Хайди. — Решив стать ренегатом, вы должны были быть готовы к таким вещам.

— Позвольте заметить, — вмешался Варди, глядя на Хайди с суровой благосклонностью, — что в данном контексте слово «ренегат» употреблено неверно. Если мы отказались от революции, то только потому, что сама революция отказалась от своего идеала; наша позиция — это просто отрицание отрицания.

Он говорил с рассерженной четкостью и пафосом, которому было бы не грех поучиться начинающему раввину, однако в его тоне слышались нотки оправдания, словно ему всегда приходилось занимать оборону. Его и Жюльена, видимо, сильно расстроил провал попытки убедить тех, кого все равно невозможно было убедить никакими силами.

— О, замолчи! — раздраженно бросил Жюльен. — Хайди права. Люди не возражают, если ты станешь предавать человечество, но если ты предашь свой клуб, они сочтут тебя ренегатом, а ренегатов не любят, какими бы ни были их мотивы. Вас никогда не удивляло, почему даже атеисты уважают принявших католичество, зато священника, заделавшегося атеистом, все дружно ненавидят? Как бы мы ни протестовали — нас все равно никогда не простят за то, что мы отказались от собственных ошибок.

— Ты — неизлечимый мазохист, — сказал Варди. — Я отказался не от ошибки, так как ошибку совершил не я, а партия.

— Дорогой мой, отступник остается отступником, даже если папа спит с собственной сестрой.

— Был такой Савонарола...

— ...с которым у тебя есть некоторое сходство, — подхватил Жюльен. — Его сожгли заживо.

— И что это доказывает? — спросил Варди, обернувшись к Хайди за поддержкой. — Яспрашиваю вас: что это доказывает?

Хайди перемещалась вдоль книжных полок, разглядывая корешки и прислушиваясь к спору. Слова Жюльена о сбросивших мантию священниках показались ей очень верными; это объясняло, почему она чувствовала себя, как дома, в этой комнате, и почему существовала странная связь между ней и Жюльеном и даже Варди, несмотря на его помпезную самоуверенность. Их не только никогда не простят за отказ от прежних ошибок другие — хуже того, они сами не способны простить себя.

— Я думаю, — ставя на место книгу, сказала она своим звонким голосом, каким всегда разговаривала в гостях, — я думаю, что тот факт, что Савонарола был сожжен, доказывает правоту Жюльена.

— Очень просто, — пояснил Жюльен. — Люди осуждали продажность священнослужителей, но отступников среди монахов они ненавидели еще пуще.

— Чепуха! — не уступал Варди. — А как насчет Лютера? Или Генриха VIII?

— Оба были для Рима чужестранцами. Поэтому к ним относились не как к ренегатам, а как к бунтовщикам, поддержанным крепнущим национальным самосознанием. Кроме того, Лютер дал народу Библию. А что можем предложить мы, Варди?

— Сожалею, — язвительно отозвался Варди, — но никаких пророчеств я предложить не смогу. Я просто педантичный, категоричный радикал с четко формулируемой программой, отвергающий как капиталистическую анархию, так и тиранию тоталитарного государства, а также все военные блоки — как на Востоке, так и на Западе.

— Вот ты и сидишь на ничейной земле между линиями фронта, подвешенный между небом и землей, как гроб Мухаммеда, — высказался Жюльен.

— ...с четко разработанной программой, — повторил Варди, игнорируя невежу, — которая, да будет мне позволено скромно напомнить, пользуется возрастающей поддержкой в некоторых слоях мыслящей публики. Более того, — тут он снова повернулся к Хайди, — Жюльен — один из соавторов этой программы, и, будучи в нормальном настроении, выступает активным членом нашей Лиги.

— Да, — мечтательно молвил Жюльен, — мы, как ты говоришь, быстро завоевываем поддержку. За последний год число наших последователей выросло на пятьдесят процентов: от восьми до двенадцати...

— Ха-ха, — выдавил Варди и поднялся. — Шутка не нова, но всегда эффектна. Мне пора идти; надеюсь, ты справишься с припадком мазохизма... Время от времени на него находит, — объяснил он Хайди. — Это как приступ малярии. Может быть, вы окажете на него целительное влияние.

— Хотелось бы, — холодно сказала Хайди, — но мне тоже пора.

— Не надо! — взмолился Жюльен. — Почему вы не можете остаться и еще немного выпить?

— Хорошо, но что подумает профессор?

— Самое худшее — ха-ха! — откликнулся Варди тоном, галантно отмечающим любые вульгарные подозрения на ее счет, и церемонно, хоть и чуть-чуть неуклюже, потряс ей руку на прощанье.

— Как вам нравится мой друг? — спросил Жюльен после ухода Варди.

— Сначала он произвел на меня ужасное впечатление. Теперь же он кажется мне очень милым.

— Не надо недооценивать Варди, — сказал Жюльен. — Его мозг сродни самозаводящимся швейцарским часам. Но, хотите верьте, хотите нет, у него комплекс насчет женщин выше его ростом. Они мешают ему развернуться; поэтому он и становится таким напыщенным в вашем присутствии.

Хайди вздохнула.

— Чужие комплексы — всегда загадка. — Она вспомнила об ожоге у Жюльена на лице, который он по-прежнему старался ей не показывать.

— Верно. К примеру, я никогда в жизни не смогу осмыслить ваш комплекс по поводу разрыва с Церковью. В то же время для вас он так же важен, как для нас — разрыв с партией.

— Я вам об этом рассказывала?

— Нет, но были кое-какие намеки, об остальном же нетрудно было догадаться.

Он сел на подоконник в неглубоком алькове, привалившись спиной к стальной решетке. Узкую улочку уже окутывали сумерки; в нескольких окнах гостиницы напротив уже зажегся свет, и за жалюзи начинали шмыгать тени. Внизу раздался женский голос: «Marcel! Tu as oublie ta bicyclette! 14» Тот факт, что Марсель ушел, забыв, что приехал на велосипеде, казался одной из маленьких поэтических тайн, которыми изобилует жизнь и которые никогда не удастся разгадать. В голове у Хайди мелькнула неясная мысль о том, что стоило бы повнимательнее отнестись к таким тайнам: вдруг в них есть какой-то ключ? Захватив рюмку, она села на другом конце подоконника, опершись о решетку локтем, и посмотрела вниз. Зрелище людей, не спеша бредущих по двое-трое в предвкушении аперитивов расхлябанной, шаркающей походочкой парижан с Левого берега, действовали на ее настроение умиротворяюще. Она вспомнила, что уже несколько часов не думала о Феде, и ее сердце сжалось от знакомого чувства сладостной боли. Жюльен снова говорил, теперь уже на другую тему; она пропустила начало.

— ...причина, по которой Европа валится к чертям собачьим, — это, конечно, то, что она признала конечность личной смерти. Этим актом отречения мы перерезали свою связь с бесконечностью, изолировали себя от Вселенной, или, если хотите, от Бога. Эта утрата космического сознания, последствия которой заметны всюду — в рассудочном характере современной поэзии, живописи, архитектуры и так далее, — привела нас к поклонению новому Ваалу — Обществу. Я не имею в виду обожествление Тоталитарного Государства или даже Государства как такового: истинное зло — это обожествление общества. Социология, общественные науки, социальная терапия, социальная интеграция, все прочее «социальное»... Раз мы признали смерть конечной, на смену Космосу пришло Общество. У человека нет больше прямых сношений с Вселенной, звездами,

смыслом жизни; все эти космические сношения монополизированы, а все трансцендентные импульсы поглощены новым фетишем — «Обществом». Мы больше не говорим о Homo Sapiens, человеку разумном; мы говорим об «индивидууме». Мы не устремлены больше к доброте и благодеяниям; наша цель — «социальная интеграция». Антропологи не изучают более привычек людей: они работают «на общественной ниве». Так что...

— Что?

Он нервно поморщился.

— Я вас утомляю. Я бы предпочел заняться с вами любовью.

— Лучше уж продолжайте говорить. Жюльен натянуто рассмеялся:

— Допустим, вы правы. Но почему?

— Потому что я умею хорошо слушать, а еще потому, что мне интересно.

— Хорошо. — Жюльен покорно сложил руки. — Я имел в виду вот что. Поскольку религиозные убеждения заменены социальным идолопоклонничеством, мы все обречены на гибель в качестве жертв своей мирской лояльности.

— Разве это не то же самое, что пасть в религиозной войне?

— Нет. В религиозной войне вам было даровано хотя бы то утешение, что вы отправитесь в рай, а ваш противник — в ад. Но дело даже не в этом. Суть в том, что обожествление общества влечет за собой культ логистики и целесообразности. Теперь представьте, что целесообразность осталась единственным критерием; умножьте этот фактор на эффективность современной технологии, и пусть производство будет задействовано в конфликте, где задета безграничная мирская лояльность. Неизбежным результатом будет взаимное истребление. Единственную, отчаянную надежду на предотвращение катастрофы сулит лишь возникновение новой трансцендентной веры, которая смогла бы оттянуть людскую энергию с «общественной нивы» в просторы космоса — тогда восстановятся прямые сношения между человеком и Вселенной, а у мотора целесообразности появятся тормоза. Иными словами: рождение новой религии, лояльности космосу, с приемлемой для человека двадцатого века доктриной.

— Кто же ее изобретет? — спросила Хайди.

— В этом и загвоздка. Религии не изобретают, они материализуются из ничего. Подобно тому, как, благодаря конденсации, из газа получаются капли жидкости.

— И все, что мы можем, — дожидаться, когда это произойдет?

— О, пока можно забавляться с программами и платформами. Но результат от этого не изменится.

Улица под ними гудела от сумеречной жизни, всегда просыпающейся в часы, когда по долине Сены разливается особый голубой свет. В открытом прилавке молочной лавочки выставка бесчисленных сортов сыра постепенно расплывалась в неяркий натюрморт под названием «Различные сыры, 195...» Заскучавший полицейский рассматривал гирлянду мирно почивших кроликов, развешанных на крючьях напротив магазинчика битой птицы; его заложенные за спину руки поигрывали белой дубинкой. Все тот же голос, обладательница которого так и не показывалась на глаза, продолжал взывать: «Marcel! Marcel! Tu as encore oublie ta bicyclette!» Тайна сгущалась, вместе с ней сгущались вечерние тени. За углом, на Университетской улице, уже зажигались огни.

— Почему вы не пишете, а возитесь с платформами и спорите с полудевственницами? — спросила Хайди.

— Потому что я больше не могу писать, — ответил он безразличным тоном. — Я говорил вам об этом еще в первый раз, в такси, только тогда я подвыпил, и речь вышла слишком торжественной. — Он слез с подоконника и стал рассеянно расхаживать по комнате. Хайди совсем запмятовала, что он прихрамывает; в эту минуту хромота сильно бросалась в глаза. Он заметил ее взгляд, и хромота почти прошла.

— Это, — пояснил он с гримасой, — а также шрам у меня на физиономии — воспоминания о

битве при Теруэле в 1937 году от рождества Христова. Испания была последним актом в комедии невинности — климаксом, апофеозом великой буффонады, предшествовавшей Падению. Кстати, там был и Варди. Это вас удивляет, не правда ли? Он то и дело ронял из рук винтовку и никогда точно не знал, в какой стороне фронт, но выстоял до самого конца... Я лежал в госпитале, когда газеты написали, что последние могокане Революции все как один признались в шпионаже и взмолились о пуле в затылок, подобно корчащемуся от боли, требующему морфия.

— Вы говорили о том, почему не можете больше писать.

— О, если вам и вправду интересно, я могу предложить целый каталог причин. Что до поэзии, то с ней было покончено в тот день, когда я вышел из партии. Падшие ангелы не пишут стихов. Бывает лирическая поэзия, священная поэзия, любовная, бунтарская; но поэзии отступничества не существует. Какое-то время это беспокоило меня; потом я смирился с этим как с эмпирическим фактом и взялся за романы. Первый получился довольно успешным — он должен был стать первой частью трилогии; но тут разразилась война, поражение, Сопrotивление и все такое; когда все было кончено, я понял, что никогда не напишу второго тома и вообще никаких новых томов.

— Но почему?

Он стоял в нескольких футах от нее, между столом и окном. Мягкий, угасающий свет падал на здоровую часть его лица, оставляя в тени изуродованную; не было видно ни шрама, ни горькой складки губ — только неизменная докуренная до половины сигарета в зубах. Наконец, он сказал:

— Искусство — умозрительное занятие. В то же время оно не ведает жалости. Приходится либо безжалостно писать то, что ты считаешь правдой, или помалкивать. Сейчас я верю в то, что Европа обречена, и что данная страница истории скоро будет перевернута. Вот моя умозрительная правда. Отрешенно глядя на мир с позиции вечности, я даже не нахожу, чему тут тревожиться. Но одновременно я продолжаю верить в этический императив борьбы со злом, даже если такая борьба безнадежна, — достаточно вспомнить о судьбе, постигшей семью Бориса. В этой плоскости моя умозрительная правда превращается в пораженческую пропаганду, то есть в нечто аморальное. Из дилеммы «созерцание или действие» нет выхода. В истории бывали идиллические периоды, когда находилось место и тому, и другому. Во времена же, подобные нашим, это несовместимо. И я — далеко не исключение. Европейское искусство отмирает, ибо не может жить без правды, правда же его стала мышьяком...

Он умолк. Хайди покачала головой:

— Ваши слова звучат вполне логично, но одновременно в них слышится попытка оправдаться.

Он как будто не заметил ее слов.

— В искусстве есть еще одна сторона — объективность. Представим себе, что мне надо попытаться вывести вас и вашего друга Никитина в качестве персонажей романа... — Он испытующе посмотрел на нее, как опытный фотограф, изучающий фотомодель. — Страниц на двадцать меня бы еще хватило, но дальше все пошло бы насмарку, потому что под моим пером фигура Никитина неизбежно вышла бы низкопробной. Понимаете?

— Нет, не понимаю. Неужели нельзя избежать перехода на личности?

— Нельзя. Вы спросили, почему я больше не могу писать, а это более личный вопрос, чем если бы вы спросили у мужчины, почему он импотент. Кроме того, я не собирался говорить плохо о реальном Никитине; я говорил о нем как о вымышленном персонаже. Беда вымышленного Никитина как раз в том, что он не вымысел, а реальность.

— Я все еще не понимаю.

— Давайте скажем вот как. Реальность нельзя напрямую перенести в сферу вымысла; ее надо переварить, усвоить, а потом выжать из себя маленькими капельками, как пот. Любому известно, что если вы собираетесь написать об убийце, вам надо как бы проглотить его и самой стать убийцей — подобно дикарю, проглатывающему голову врага, чтобы пропитаться его храбростью, — только тогда убийство сможет сочтаться из ваших пор. Это как симпатическое колдовство; писатель должен обладать пищеварительной системой каннибала — от этого зависит качество его продукции. Но Никитина переварить невозможно: он провалится в мой желудок, как камень; от Никитина свернутся

чернила в моей авторучке...

— Разве обязательно писать о Никитине?

— О чем же еще? Если вы сидите в камере смертников, единственный, кто вас интересует всерьез, — это палач. Но мое воображение отказывается превращаться в Никитина. Оно — мое воображение — прожорливо, ненасытно, аморально, похотливо, оно не чурается каннибализма, но стоит ему натолкнуться на Никитина — и оно начинает артачиться, внезапно вспоминает о педантизме и целомудренности, переполняется моральным гневом и эстетическим отвращением. Единственный взгляд никитинских глаз — и оно просится в монастырь, рвется читать проповеди, а стоит писателю превратиться в проповедника — и он пропал.

— То есть вы так ненавидите Федю, что неспособны нарисовать его объективный портрет?

— А-а, так его зовут Федей? Я даже не знал, что у него имеется христианское имя. Для меня он — просто шаблон массовой выпечки; доисторический неандерталец с мозгом современного робота. Я же говорил, что лично о нем не собирался говорить ничего дурного.

Хайди встала и, опершись о решетку, посмотрела вниз, на улицу, почти отвернувшись от него.

— Вы не говорили дурно, — спокойно резюмировала она, — просто вы завидуете...

Он хотел прервать ее, но она покрутила головой.

— ...завидуете не как мужчине. У вас вызывает зависть то, что он верит во что-то такое, во что вы перестали верить.

— Это-то вполне очевидно, — сказал он. — Вопрос в том, считаете ли вы, что такая вера стоит зависти.

— Вопрос как раз не в этом. Вас гложет зависть, потому что вы утратили свою веру и не можете обрести другой. Я это знаю, потому что то же самое творится и со мной. Иногда я чувствую себя змеей, сбросившей старую кожу, но не способной отрастить новую. Чувствуешь себя такой голой и незащищенной! Вот и приходится разгуливать с фальшивой кожей...

— Дорогая моя, кто же может этого избежать?

— Федя. И мсье Анатолий... Что мне больше всего в вас не нравится, — продолжила она тихо, но отчетливо, — это ваша надменная поза человека с разбитым сердцем.

Он улыбнулся у себя в дальнем углу комнаты, а потом сказал:

— Один-ноль.

— Мне все равно. — Ее голос становился все более бесстрастным, оставаясь по-прежнему тихим, но отчетливым. — Мне бы больше хотелось, чтобы вы сказали мне, чем кончится наша с Федей история — как если бы мы были персонажами вашей книги.

Он попытался разглядеть выражение ее глаз, но она все так же рассматривала улицу.

— Зачем вам это знать?

Она продолжала смотреть вниз в ожидании ответа.

— Она может кончиться только по двум классическим канонам. Первый — Укрощение Строптивой. Второй — Самсон и Далила.

Она ничего не ответила. Он устремил взгляд через комнату на ее склоненный профиль, уже казавшийся в темноте неясным силуэтом, и неуверенно добавил:

— Есть, конечно, и третий вариант: Юдифь и Олоферн...

Хотя он произнес это, запинаясь, сама мысль на мгновение показалась ей совершенно очевидной. Она резко обернулась и звонко произнесла:

— По-моему, вы сошли с ума. Мне пора. С улицы снова раздался женский голос:

— Марсель! Марсель...

— Кто это? — не выдержала Хайди.

— Кто?

— Та женщина, которая зовет Марселя?

— Зовет? Я глух к уличным шумам.

— Там кто-то забыл велосипед.

— Простите?

Он взглянул на нее в изумлении. В комнате стало совсем темно. У нее возникло необычайно четкое ощущение *deja vu*.

— Может быть, вы включите свет? — напомнила она ему.

— О, конечно. Извините меня. — Он включил свет и сказал, моргая, пока она шла к распахнутой для нее двери:

— Между прочим, Бориса увезли в больницу.

После той встречи она почти не вспоминала ожесточившегося поляка. Теперь же его костлявая фигура встала перед ней, как живая.

— Что-то серьезное?

— Положение опасное. Если бы вы смогли к нему заглянуть — естественно, если вы не слишком заняты встречами с господином Никитиным...

Его голос не звучал оскорбительно, в нем была лишь спокойная враждебность, заставившая ее понять, что он вспомнил о Никитине не в связи с ней, а из-за Бориса. Не отвечая на его замечание, она сказала:

— Я бы с радостью, но я его едва знаю — кроме того, мне определенно показалось, что я не пришла к нему по душе.

— Борису никто не может прийти по душе. Но визит женщины, да еще с цветами... Не думаю, чтобы у него в Париже нашлась хоть одна знакомая женщина.

— Тогда ладно. Дайте мне адрес.

Он повиновался: это была общая палата в государственной больнице для нуждающихся.

Выйдя на улицу, Хайди заколебалась — ужинать ли в ресторане одной или с кем-нибудь созвониться. Но она не испытывала голода и к тому же знала, что, оказавшись в телефонной будке, тут же наберет Федин номер. Она отказалась от приглашения Жюльена под тем предлогом, что ее ждут, так что он теперь уверен, что она будет ужинать с Федей. Она жалко переминалась с ноги на ногу на тротуаре бульвара Сен-Жермен, пока к ней не пристали два американских студента. Услышав от нее отповедь на типичном бостонском диалекте, они извинились и вынуждены были ретироваться. В эту самую секунду ей показалось, что она слышит, как в ее квартире в Пасси надрывается телефон. Она торопливо окликнула такси и предложила двойную оплату в случае быстрой доставки по назначению. Возясь с ключами перед дверью, она действительно услышала нетерпеливое позвякивание телефона; тональность звонка подсказала ей, что ее разыскивают уже давно. Но стоило ей прикоснуться к трубке, как трезвон прекратился. Она поняла, что ее ждут долгие часы безнадежного ожидания; то же будет и завтра, и послезавтра. Оставалось принять это со смирением хронической больной. Теперь, по крайней мере, у нее хватало смелости признаться самой себе, что она увлечена не на шутку.

Она механически занялась приготовлением к долгому досугу: достала из холодильника еды, отнесла ее к себе в комнату, запаслась бутылкой скотча и содовой, вооружилась томиком стихов, детективом и тремя грампластинками. Разместив все это на расстоянии вытянутой руки, она разделась и нырнула под одеяло, забыв про зеркало. Теперь она была готова к осаде.

Белая телефонная трубка, безмолвно покоящаяся на рычагах, превратилась в центральную точку комнаты; комнату распирало от ее молчания. Хайди знала, что пытаться не смотреть на нее бесполезно, как бесполезно гипнотизировать ее взглядом, призывая подать голос. Все должно

развиваться по предначертанному плану; никакие ее действия не смогут его изменить.

## IX Утомление синапсов

Лев Николаевич Леонтьев уже три часа выжимал из себя восемьсот слов — телеграфный вариант недавней речи, предназначенный для домашнего потребления. Для того, чтобы статья появилась в очередном выпуске «Свободы и культуры», текст телеграммы необходимо было доставить в правительственное агентство новостей Содружества не позднее восьми вечера. Было шесть часов, и из агентства уже дважды требовали текст. У Леонтьева оставалось всего для часа, чтобы завершить писанину и успеть переодеться к приему, устраиваемому мсье Анатолем в его честь. Он нетерпеливо встал и прошелся по мягкому ковру до широкого окна.

Гостиница размещалась в одном из прославленных старинных зданий неподалеку от улицы Риволи; окна апартаментов выходили на Вандомскую площадь. Сейчас, на закате жаркого июльского дня, площадь выглядела еще более покойной и незыблемой, чем обычно. Пре-ем-ствен-ность, как говаривал его старый друг мсье Анатолю. В качестве противоядия, Леонтьев попытался припомнить, как выглядят трущобы Белльвилля, но потерпел фиаско. Перед его мысленным взором предстал всего лишь Палаццо Веккио во Флоренции.

Он вернулся к изящному столику в стиле эпохи регентства и вновь взялся за свой тяжкий труд. Трудность состояла в том, что недостаточно было облечь текст речи в ритуальную терминологическую оболочку, прибегнув к мертвому византийскому стилю, построенному из вопросов и ответов, который требовался для домашнего потребления. Ему нужно было произвести на свет совершенно другой текст, почти противоположный исходному по смыслу, в котором не было бы, однако, прямого, открытого противоречия с оригиналом и в котором сохранялись бы в придачу в качестве связующих мостиков целые фразы из оригинала. Он брался за это дело уже в шестой, а то и в седьмой раз; и неизменно уже в первой фразе спотыкался о неудобный предлог, зачеркивал его, потом возвращал на место, натыкался на проблемы с синтаксисом и вычеркивал предложение целиком. Этим он занимался с трех часов дня.

Ему были хорошо знакомы эти симптомы. Профессор Грубер называл их «утомлением синапсов». Синапсами зовутся перемычки между клетками мозга, которым положено пропускать нервные импульсы. В мозгу их многие миллионы. И вот порой с ними что-то происходит; импульс не может их преодолеть, что приводит к блокированию определенных мыслей и действий. По мнению Грубера, вызывается это токсинами, вырабатываемыми при утомлении, которые накапливаются в синапсах и парализуют их. Выходит, что эти токсичные химические вещества в состоянии блокировать мысли или по крайней мере некоторые из них. Имеются и другие токсины, терпеливо объяснял Грубер, оказывающие противоположное действие: они снижают нормальную сопротивляемость перемычек, отчего каналы мысли широко распахиваются, тогда как в хорошо отрегулированном мозгу они предусмотрительно и милосердно перекрыты. Относительно безвредным веществом такого рода является алкоголь. Но есть и другие, менее безобидные, способные перевернуть всю иерархию связей в мозгу, распахнув обычно перекрытые каналы и перекрыв те, которым положено действовать. Очень забавно. Находясь в лирическом настроении, Грубер объяснял, что можно сделать с человеком в таком состоянии. Можно заставить его поверить в самые невероятные вещи, стоит только поинтенсивнее вбивать их в него: скажем, что он Цезарь или Брут, герой или преступник — в зависимости, конечно, от свойств обычно перекрытых каналов его рассудка, то есть от того, есть ли у него соответствующая предрасположенность. Но, в конце концов, у кого ее нет? Кто из нас не убил своего мандарина?

«Что это значит?» — спросил тогда Леонтьев рассеянно. Грубер, бывший в тот вечер до странности разговорчивым и возбужденным, словно сам находился под влиянием наркотика, пустился в объяснения:

«Это психологический тест, изобретенный каким-то умником-французом. Если вы можете разбогатеть, нажав кнопку и убив тем самым китайского мандарина, которого ни разу в жизни не видели, причем об этом никто не узнает, — так сделаете вы это или нет? Излишне говорить, что



каждый из нас время от времени мысленно расправляется со своим мандарином...»

Грубер умолк, но немного погодя, с трудом скрывая растущий энтузиазм, продолжал:

«Теперь слушай. Вся прелесть занятий синапсами заключается в том, что мы открыли методы, при помощи которых человека можно заставить поверить, что он действительно убил своего мандарина, и искренне поведать, что у того была золотая коронка на верхнем левом коренном зубе, что они повстречались с ним там-то и там-то в такой-то и такой-то час, и что он убил его таким-то способом с помощью X, Y и Z, которые были его сообщниками... Проклятье! Если нам разрешат опубликовать это, коллеги в американских университетах поймут, что мы обогнали их на десять лет!»

Грубер внезапно замолчал, и воцарилась тишина, натолкнувшая его слушателя на мысль, что, как часто случалось в то время в той стране, говоривший понял, что сказал что-то такое, о чем лучше было бы умолчать. Мысли одного эхом отдавались в голове другого, и каждый беззвучный отклик усиливал обоюдные опасения. Они были ровесниками — и тот, и другой приближались к шестидесяти годам; однако Леонтьев с его твердой осанкой и внешностью вояки выглядел лет на десять моложе профессора. Тот был совершенно лыс, по-птичьему клонил голову набок, непрерывно ерзал на месте и двигался так порывисто, что Леонтьев не удивился бы, если бы он вдруг запрыгнул на буфет и продолжил разговор, болтая ногами, — в студенческие годы у будущего профессора и впрямь наблюдалась такая привычка.

Они подружились еще в университете, потом судьба разлучила их, и за последние двадцать лет Леонтьев потерял Грубера из виду. Однако в то время Грубера потеряли из виду все — он словно выпал из обращения. Последняя его опубликованная работа, касавшаяся воздействия на мозг двух малоизвестных экзотических препаратов, вызвала в академических кругах небольшую сенсацию. Грубер и его коллега, другой молодой психиатр, исследовали свойства этих препаратов на самих себе в серии экспериментов, длившихся три месяца. Ходили слухи, что оба стали наркоманами, а спустя несколько месяцев после опубликования этой статьи коллега Грубера застрелился. Вскоре Грубер уехал из столицы — одни говорили, что с целью подлечиться, другие намекали, что его забрали в армию для проведения там каких-то исследований. В ответ на дальнейшие слухи из определенных кругов последовали кое-какие расхолаживающие сигналы, возымевшие должное действие: Грубер не упоминался больше ни публично, ни в частных беседах, и скоро его имя было прочно забыто. Но оно неожиданно всплыло за несколько недель до отъезда Леонтьева в Париж, когда под конец официального банкета Леонтьев пожаловался старому приятелю на растущую неспособность работать и на опасения близящегося нервного срыва. Приятель принадлежал к высшим кругам правящей иерархии, однако, по слухам, впал в немилость: на последнем первомайском параде его не было видно на официальной трибуне, его фамилия исчезла из газет, и отставка представлялась неминуемой. В тот вечер он сильно набрался и жалобу Леонтьева воспринял с сочувственной улыбкой:

«Значит, даешь трещину? Почему бы тебе не проконсультироваться у Грубера?»

Леонтьев, не выживший бы после тридцати лет сражений на культурном фронте, если бы не научился полностью контролировать свои эмоции, небрежно кивнул, но, поразмыслив хорошенько, счел возможным выразить некоторое удивление.

«Грубер? — переспросил он. — Ах, да. Не знал, что он... на месте».

Приятель осушил рюмку.

«Ах, ты не знал? Как же ты собираешься писать хронику нашего времени, раз не знаешь ничего о Грубере? — Он убрал с лица ухмылку, почувствовав, как по ним скользнул чей-то взгляд, и безразлично добавил: — Нет, не на месте, — разве что случай окажется исключительным. Но, полагаю, Герой Культуры и Радость Народа — это как раз исключительный случай. Я посмотрю, что можно сделать. Либо он появится завтра и осмотрит тебя, либо забудь, что я упоминал его имя».

На следующий же день Грубер подкатил на огромном лимузине к загородному дому Леонтьева, одобрительно посмотрел на теннисный корт и плавательный бассейн, небрежно приложил к леонтьевской груди стетоскоп, словно они расстались не далее, как вчера, — и чуть погодя, сидя за бутылкой бургундского в кабинете, рассказал об «утомлении синапсов». Затем — то ли увлекшись,

то ли под влиянием бургундского, то ли из-за двадцатилетнего перерыва в общении — он заговорил о химическом воздействии на мозг, о том, что с помощью стерилизованной иглы человеку можно впрыснуть в вену чувство вины, привив ему преступное прошлое, подобно тому, как в треснутый череп вживляют скрепляющую пластинку.

«Самое забавное, — сказал он с неожиданным мальчишеским смешком, неприятно контрастировавшим с его обликом лысого старика, — это то, что, пусть нам и не разрешают публиковать наши результаты, о них писали больше, чем о чем-либо еще в последнее время». — Между ними вновь повисла тишина, в которой каждый взвешивал последствия того, что мог прочесть в глазах собеседника.

«Ну, ты понял, что все это шутка. Фантазия. Я тебя разыгрывал», — спохватился Грубер.

«Конечно, — отозвался Леонтьев, улыбаясь своей знаменитой улыбкой прямо ему в глаза. — Ты всегда нас разыгрывал, еще в студентах. Но вот что я хотел спросить... Ты можешь как-нибудь снять это... утомление синапсов, применительно к моим литературным занятиям?»

«Хм-м, — замялся профессор. — Дело тонкое. Паука — не магия. Я не могу изобрести твоего мандарина; это твоя работа. Мне надо на что-то опереться — на что-то реальное, пусть это всего лишь десять процентов всей партии товара. Именно это я всегда пытаюсь внушить нашим болванам».

«Что-то я тебя не понимаю», — признался Леонтьев.

«Нет? Я думал, тебе известны азы... В конце концов, ты писатель — профессия, в которой не обойтись без воображения». — Он взволновался и заерзал на стуле. Своим яйцеобразным черепом и тщедушным тельцем он напомнил Леонтьеву огромный престарелый эмбрион — если не считать каких-то лишних деталей, которые он пока не мог отыскать. Наконец, до него дошло, в чем тут дело: вылезшие брови Грубера были выкрашены в черный цвет, и эти крашенные брови обладали необычайной подвижностью.

«Изъяснялся бы ты попонятнее», — взмолился Леонтьев.

«Попонятнее? — Профессор хохотнул. — Мой бедный друг, это последнее, о чем тебе следовало бы меня просить: а) как художнику; б) ввиду особых обстоятельств нашего века и времени... — Он нахмурился, пожал плечами и в конце концов решил: — Хорошо. Раз ты действительно просишь о помощи... Как Зина?» — неожиданно спросил он.

«Хорошо. Знаешь, у нас нет детей».

«Сколько ей лет?»

«Около пятидесяти. Все еще хороша собой. По крайней мере, для меня».

«Все еще преданы друг другу, как голубки?»

Леонтьев улыбнулся.

«Ты неженат...»

«Это не для меня».

Наступила тишина. Внезапно профессор как ни в чем ни бывало спросил:

«Почему бы тебе не „сделать ноги“?»

Сперва Леонтьеву померещилось, что он ослышался; но он сумел напялить маску «суровости со сдвинутыми бровями», заставлявшую людей вроде поэта Наварэна меняться в лице.

«Я тебя не понял — по крайней мере, надеюсь, что не понял».

«Ладно, ладно, брось! Когда я уйду, можешь хватать телефон и доносить на меня. А я скажу, что специально тебя провоцировал. Может быть, я этим и занимаюсь — кто знает? Во всяком случае, ты один из тех счастливичков, кому время от времени дозволяется выезжать за кордон на всякие там конгрессы. Но, конечно, всякий раз ты вынужден оставлять здесь Зину как заложницу. Перед тобой стоит выбор: либо пожертвовать Зиной, либо продолжать жертвовать искусством, правдой, чистотой души и тому подобным. Лично я не знаю, что такое искусство, правда, чистота и так далее — это не

для меня. Но мне известно, что для некоторых это кое-что да значит и может оказаться достаточным, чтобы возник конфликт, сбивающий с панталыку все синапсы... Что ж, я видел твою реакцию — готов поклясться, что ты воображаешь, будто сделал „непроницаемое лицо“ — и знаю теперь, что, хоть ты и мечтаешь „сделать ноги“ и написать хотя бы одну честную книгу за всю жизнь, ты все-таки пасуешь перед мыслью, что Зина во имя Честности, Правды и прочего проведет остаток жизни за Полярным кругом... Замолчи! — крикнул он, заметив, что Леонтьев собирается его прервать. — Замолчи и дай мне закончить. Ты хотел, чтобы было попонятнее, разве нет?... Так вот, решение номер один — сгинуть из-за сентиментальной привязанности к Зине. Второе решение посложнее. Тебе становится трудно писать; трудности будут постепенно возрастать; скоро у тебя вообще ничего не будет получаться. Никому не дано без конца насиловать свою совесть. Я сказал „совесть“, потому что это слово первым подвернулось под руку, на самом деле оно не для меня, я имел в виду определенную направленность ума. Ты можешь какое-то время действовать ему вопреки, однако это отбирает все больше и больше сил, а раз началось накопление токсичных продуктов усталости — дело плохо. Единственный способ — изменить эту самую направленность. Я не раз успешно справлялся с этим — но там цель операции состояла несколько в другом... — Он снова хихикнул. — Если только тебе улыбается доля христианского мученика — это-то я тебе сварганю запросто...»

«Ты болтаешь безумную, преступную чушь, — с достоинством произнес Леонтьев. — Теперь я должен попросить тебя...»

«Все верно. Линия безупречная. И все слова правильные. Теперь слушай. Почему я проявляю к тебе такой интерес? Ответ на этот вопрос сам. Я никогда не питал к тебе особой симпатии, а со времени нашей последней встречи ты вообще превратился в напыщенного осла. Но мне никогда не доводилось попробовать себя на таком материале, каким являешься ты. Работа начинает наскучивать мне — слишком монотонно. В случае с тобой были бы иными и методика, и цель. Во мне рождается творческий зуд; я чувствую, что смог бы не только убрать всю твою блокировку, но и подвинуть тебя на создание подлинного шедевра в строгих рамках нашей ортодоксии. Тебе это может показаться немного фантастичным, но ведь номера, которые откалывали наши самозванные убийцы мандаринов, были не менее фантастичными...»

«Предположим, — сказал Леонтьев, — что у меня вызвали доверие твои безумные и предательские фантазии — чего на самом деле не происходит. Тогда позволь из любопытства спросить, как бы ты за это взялся?»

Грубер расхохотался и, нагнувшись над столом, похлопал Леонтьева по плечу.

«Отлично! Ты самый бездарный актер, какого мне приходилось встречать... Так о методе. Он фантастически прост. Могу суммировать его одной фразой... — Он помолчал и с выражением произнес: — Я заставлю тебя поверить тому, что ты пишешь».

В последовавшей тишине Леонтьев собрался было прогрохотать «да как ты смеешь!», но вовремя одумался. Оба они зашли слишком далеко и держали теперь друг друга в заложниках. Внезапно он понял, что ему все равно, и вместо заготовленной фразы произнес с усталой улыбкой:

«А как это у тебя получится?»

«Ага! — оживился Грубер. — Вот и умница! Это не так трудно, как тебе кажется. Как я уже говорил, все, что нужно, — это реальный фундамент. Помнишь старикана Архимеда: „Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю!“ Есть же еще хотя бы что-то, во что ты веришь... Вот разберемся. Ты веришь в штурм Бастилии? Хорошо. А в баррикады 1848 года? В Коммуну 1871-го? В воззвания 1917-го? Тем лучше! Возникает система. Ты веришь, что в сути своей все наши послы были верными, но в какой-то момент, по чистой случайности, из-за конкретных людей или стечения обстоятельств, все пошло прахом. Что ж, если ты в это веришь, то ты — нетрудный пациент. Все, в чем ты нуждаешься, — это чтобы тебе показали, что все происшедшее было не случайностью, а необходимостью и что, следовательно, коль скоро послы были хороши, итог — это воля Истории, которая, *ex hypothesi*, всегда права. Очень просто, не правда ли?»

«Очень».

«Только ты не веришь ни единому моему слову. Моя задача будет состоять в том, чтобы убедить тебя».

«Как? Иглами и пиллюлями?»

«Главным образом, аргументами. Они будут несколько повторяющимися и грубоватыми, но это — часть ремонтной терапии. Грубость будет преследовать цель подавления основного источника сопротивления — твоих представлений о самоуважении и тому подобном. Вся химическая дребедень служит, в основном, для того, чтобы сделать тебя более восприимчивым к аргументам путем открывания одних каналов и закупоривания других. Пройдет всего несколько недель — и вся карта твоего мозга претерпит коренные изменения, как ландшафт Европы после последней войны. Ты будешь верить всему, что станешь писать, а писание твое обретет убедительность и резвость, как и подобает Герою Культуры...»

После небольшой паузы Леонтьев сказал:

«Ты прав, это удивительно просто. И удивительно противно».

«Конечно. Нет ничего противнее, чем наблюдать, как возвращают красоту кинозвезде: колдуют над ее заплывшим жиром лицом, приподнимают грудь, накручивают локоны на электробигуди. Но в результате она совершенно преображается, и противным этот процесс может показаться только тому, кто питает наивные иллюзии насчет человеческой плоти. Мое предложение отвратительно тебе, потому что ты питаешь столь же наивные иллюзии насчет того, как функционирует человеческий разум».

«Возможно. Но я на это не пойду».

«Так я и думал. Для меня это неудача, для тебя — и того хуже. Я теряю шанс на эксперимент, ты — уникальную возможность превратиться в первого синтетического писателя в истории. Но мне никогда не удавалось склонить пациентов к добровольному лечению — даже „Бесстрашных страдальцев“. Возможно, придется тебя изолировать — как для нашей обоюдной пользы, так и во имя интересов читающей публики».

«Не удивлюсь, если ты так и поступишь», — отозвался Леонтьев.

«Мы оба вышли из возраста, когда еще можно чему-то удивляться. И все же кое-что обнаруженное в тебе меня удивляет. Как я уже сказал, ты напыщенный осел, бездарный комедиант и бессовестный негодяй. Но при всем этом ты удивительно наивен... Как-то ночью, когда свирепствовал голод, в городе, заполоненном толпами нищих и беспризорных детей, я случайно наступил на ребенка, свернувшегося калачиком у дверного порога. Это была девочка восьми-девяти лет; она очнулась, протерла глаза, сделала мне заманчивое предложение, используя словечки, от которых покраснел бы любой ефрейтор, и тем же сонным голосом закончила: „Ладно, дяденька, если не хотите, то хоть расскажите мне сказку...“ Ты наивен такой же наивностью испорченного младенца».

Они поговорили еще немного, и Грубер уехал. Леонтьев наблюдал, как он машет рукой, высунув лысую голову из окна огромного черного лимузина и двигая крашенными бровями, словно клоун на арене цирка.

Леонтьев порвал бумагу, вернулся к окну и посмотрел на спящую площадь, глубоко засунув руки в карманы халата. Этот голубой фланелевый халат был подарком Зины по случаю десятой годовщины их брака. С тех пор минуло почти двадцать лет, и все это время он надевал его всегда, когда садился работать, и это настолько вошло в привычку, что он не смог бы писать в какой-то другой одежде. Классический пример условного рефлекса, как сказал бы Грубер. И вот уже двадцать лет, войдя к нему в кабинет и застав его стоящим вот так у окна, с засунутыми глубоко в карманы кулаками, широко расставленными ногами и расправленными плечами — ну прямо казачий гетман, озирающий степь, — Зина неизменно говорила своим певучим украинским голоском: «Не оттягивай карманы, Левочка, они провиснут». Сперва это приводило его в бешенство; но со временем эта реплика превратилась в важную часть ритуала его рабочего дня — еще один условный рефлекс, как сказал бы Грубер. «Кабинетом» служил в первое время угол их единственной комнаты, отгороженный простыней; затем он перебрался в когда-то принадлежавшую прислуге крохотную комнатку в коммунальной квартире; наконец он обосновался в просторной библиотеке загородного дома, где висели бухарские ковры, и в огромных аквариумах сновали золотые рыбки.

Однако халату он так и не изменил, а Зина не изменила своей привычке повторять ему одно и то же. Прежними остались и очертания ее тела — она была украинской крестьянкой, пылкой, но застенчивой, и ни разу за все тридцать лет не предстала перед ним обнаженной. Ее тело было ему знакомо, но как слепцу — на ощупь; очертания ее тела, его ленивые движения в темноте всегда казались ему эхом ее певучего голоса. Он много отдал бы сейчас, чтобы услышать, как она открывает дверь и рассеянно произносит: «Не оттягивай карманы, Левочка...» Это наверняка привело бы его в чувство и заставило закончить текст речи.

Было почти семь часов; в его распоряжении оставался всего час. Если прикинуться больным, то придется предупредить аташе по культуре, и они немедленно пришлют ему посольского врача. Можно изобразить любое чувство, любую убежденность, но не простуду, не несварение желудка, даже не головную боль. Что подтверждает правильность той философии, что учит относиться всерьез только к телу, отбрасывая всякие рассуждения о каком-то гипотетическом разуме. Хотя, если верить Груберу, разум может непосредственно влиять на тело, вызывая это самое утомление синапсов. Сейчас он чувствовал себя так, словно проглотил все мыслимые яды — сказывалось тридцатилетнее отравление. Однако прикидываться больным значило вызывать подозрение — они чуют такие вещи шестым чувством. Он мог бы, конечно, рискнуть, но сведения о его притворстве будут занесены в приходно-расходную книгу по статье «дебит», а ведь никому не дано знать, как будет выглядеть баланс: насколько исчерпан кредит, какова задолженность... Особенность Системы заключалась в том, что, раз допустив растрату, человек уже не имел возможности ее возместить. Кроме того, сказавшись больным, он уже не сможет явиться на прием к мсье Анатолю. Посещение же мсье Анатоля было светлым пятном всей командировки. Он испытывал почти физическое вождение оказаться на приеме, где люди разгуливают свободно, не озираясь через плечо на бесплотные тени, услышать их бессвязную, легкомысленную, безответственную болтовню — не ради сведения дебита с кредитом, а просто для тренировки ума и голосовых связок. Он, конечно, не сможет поучаствовать в этом; ему придется глубокомысленно молчать, изображая монумент самому себе, разглядывая их из-под густых бровей. Таким должен представлять непоколебимый Герой Культуры... И все-таки он увидит, как они прохаживаются, болтают, сплетничают, смеются, жуют сэндвичи. В последний раз его выпустили за границу пять лет назад; следующего раза, возможно, уже не будет. Ему нужен такой вечер, просто вечер — нужен больше всего на свете. Но к мсье Анатолю он сможет попасть, лишь закончив телеграмму. Что ж, он ее закончит, даже если синапсы лопнут от напряжения. Пусть рвутся в клочья...

Из карманов халата выпирали его стиснутые кулаки. Он повернулся и шагнул к столу. Внезапно он почувствовал, что его правый кулак проваливается в пустоту. Карман халата не выдержал напора, шов расплылся. Впервые за двадцать лет! Он с тревогой осмотрел разорванный карман. В следующее мгновение зазвонил телефон. Прикрыв дыру ладонью, как рану, он взял трубку. Дежурный с первого этажа сообщил почтительным тоном, что к нему посыльный, который просит, чтобы его пропустили, так как у него срочное дело, касающееся телеграммы.

— Пусть подождет, — сказал Леонтьев. — Телеграмма будет готова через полчаса.

— Да, сэр, — сказал дежурный. — Какая телеграмма, сэр? Он говорит, что у него самого телеграмма и что ему поручено передать ее вам лично.

Какое-то мгновение Леонтьев не понимал, что происходит. Потом он велел пропустить посыльного. Дежурный уловил в его голосе колебание.

— Что-нибудь еще, сэр?

— Да. Иголку и нитку.

— Что-нибудь зашить? Я немедленно пришлю человека.

— Не надо человека. Просто иголку и нитку.

Он повесил трубку. Мысль о том, что кто-то чужой будет возиться с зининым халатом, была для него невыносима. Он ощупал карман и убедился, что лопнул не только шов, но и ткань. Предчувствие надвигающейся катастрофы сменилось холодной уверенностью. Когда посыльный постучал в дверь, он уже знал, что это за катастрофа; во всяком случае, потом ему казалось, что он все предвидел заранее. Во всяком случае, он ни капельки не удивился, прочтя короткую телеграмму,

в которой говорилось, что его жена скончалась этим утром «от внутреннего кровоизлияния, последовавшего за автомобильной аварией». Телеграмма сошла с телетайпа агентства новостей Содружества полчаса назад. Глава агентства приложил к ней письмо следующего содержания: «Примите глубокие соболезнования. При сложившихся обстоятельствах мы не станем обременять вас подготовкой текста речи и передадим его сами, если вы его еще не закончили. Если же текст готов, просьба передать его с посыльным».

Посыльный, бледный юнец с худым настороженным лицом, разглядывал Леонтьева с нескрываемым любопытством. Это был паренек из рабочего пригорода, член партии, никогда прежде не лицезревший ни Героя Культуры, ни таких роскошных гостиничных апартаментов; сочетание того и другого приводило его в некоторое смущение. С другой стороны, старый поношенный халат на Герое и особенно рваный карман произвели на него благоприятное впечатление. У него был тайный грешок, от которого ему никак не удавалось избавиться, хотя он знал, насколько это противоречит революционной сознательности: он собирал автографы. К его стыду, в его коллекции были, в основном, автографы боксеров, чемпионов велосипедных гонок и кинозвезд, то есть паразитов загнивающего общества, чья единственная задача заключается в том, чтобы отвлекать внимание масс от плачевности экономической ситуации и революционной борьбы. Теперь же у него появилась наконец возможность пополнить коллекцию росписью настоящего Героя Культуры.

Великий человек стоял к нему спиной, глядя в окно; он успел забыть о присутствии паренька. Его спина и плечи выглядели так, что окликнуть его было страшновато; но ведь они, в конце концов, товарищи по оружию, подбодрил себя паренек, бойцы одного фронта. Он кашлянул.

— Мсье... — позвал он. Голос прозвучал в притихшей комнате довольно неубедительно. Леонтьев обернулся и уставился на него. Посыльному показалось, что Леонтьев ослеп. Он еще раз кашлянул и сказал уже громче:

— Вы не подарите мне свой автограф?

Леонтьев увидел протянутый ему дешевенький альбом. Он рассеянно посмотрел на паренька, не вынимая рук из карманов; потом внезапно вспомнил про дыру, поспешно извлек наружу правую руку и как будто очнулся\*.

— Да, — проговорил он, — я подпишу.

Приняв альбом, он посмотрел невидящим взглядом на чистую страницу. Внезапно его глаза загорелись, словно на дне глазных впадин произошло короткое замыкание.

— Подождите, — сказал Леонтьев, — я напишу кое-что для главы агентства.

Он быстро отошел к столу и принялся строчить в альбоме; словно под напряжением, подумалось пареньку. Он открыл было рот, но промолчал. Он смотрел, как пишет Леонтьев, и его удивило, что при угрюмом выражении лица Героя и крепко сжатых челюстях в уголках его рта затаилась странная улыбка. Леонтьев написал: «Я не могу дать согласие на изменение текста речи. Следует передать первоначальный текст. Вся ответственность за любое отклонение от него ляжет на вас».

Расписавшись, он отдал альбом посыльному. Теперь он выглядел совершенно по-другому. В его глазах плясали искорки.

— Вот, — сказал он, протягивая деньги, — купите себе... — Он умолк и посмотрел на паренька с рассеянным любопытством. — Что покупают себе в этой стране парни вашего возраста?

Посыльный колебался. При виде необычайно щедрых чаевых он сразу подумал о том, что надо будет сходить с подружкой в кино — или на танцы? Теперь же он отчаянно подыскивал более классово-сознательный способ вложения средств.

— Мало ли что... — осторожно промычал он, продолжая раздумывать. Он дальнейших мыслительных усилий его спас стук в дверь и появление слуги в полосатой форме, совсем как в кино. Воспользовавшись случаем, он прошмыгнул в дверь и был таков.

— Вы просили нитку и иголку, сэр, — сказал слуга с нескрываемым презрением, протягивая названные предметы на небольшом серебряном подносе. Леонтьев уже успел забыть о своей просьбе;

когда же он вспомнил о ней, ему показалось, что прошло уже очень много времени.

— Почему так долго? — сурово молвил он. — Теперь уже не нужно.

— Хорошо, сэр, — сказал слуга и развернулся на каблуках.

— Подождите, — сказал Леонтьев, снимая халат. — Возьмите это себе. Очень хороший материал.

Слуга подхватил халат двумя пальцами, оттопырив мизинец, что свидетельствовало о крайней степени брезгливости.

— Хорошо, сэр. Я передам это благотворительной организации.

— Да, — рассеянно согласился Леонтьев. — И принесите мне бренди.

— Для этого есть особая служба, — сказал слуга и, выходя из номера, с силой надавил на кнопку вызова официанта. Он был членом Национального Объединения, ненавидящего всех иностранцев, особенно из Содружества.

Как только он исчез за дверью, снова ожил телефон. Леонтьев снял трубку: это звонил Никитин из посольства. Он только что узнал о печальном известии и спешил выразить соболезнования от имени посла и от себя лично. Далее Никитин сказал, что при всем уважении к постигшей Леонтьева утрате ему поручено просить его не отменять присутствие на приеме у мсье Анатоля, так как в настоящий момент культурная пропаганда важнее, чем когда-либо раньше.

— Конечно, я приду, — вяло ответил Леонтьев и повесил трубку.

В дверь снова постучали. Вошел старый официант с бакенбардами и осведомился, чего желает постоялец. Леонтьев ответил, что он ничего не желает. Официант почтительно возразил, что Леонтьев звонил. Леонтьев неожиданно рассвирепел и принялся бранить официанта на своем родном языке, требуя убираться к черту и оставить его в покое. Официант окинул его непонимающим взглядом и с видом оскорбленной добродетели направился к двери.

— Подождите, — окликнул его Леонтьев по-французски, — я хотел немного бренди.

— Хорошо, сэр, — сказал официант. Он был членом Объединения роялистов, и инцидент еще больше укрепил его уверенность, что в Содружестве живут одни дикари.

Снова раздался телефонный звонок. Звонил секретарь из отдела кадров посольства с сообщением, что обратный билет взят для Леонтьева на следующий день. Самолет вылетает в восемь утра.

— Уже не нужно, — ответил ему Леонтьев тем же тоном, каким отказывался от нитки с иголкой. Секретарь был в явном изумлении; Леонтьев положил трубку.

Очередной стук в дверь возвестил о появлении официанта с большой рюмкой бренди на подносе. Леонтьев осушил ее одним глотком, попросил принести еще и стал одеваться на прием к мсье Анатолю.

Собравшись, он решил не брать такси, а пройти пешком. Он взглянул на часы — тяжелые золотые часы, подарок Маршала Мира по случаю леонтьевского пятидесятилетия. Прошло всего полчаса с тех пор, как он порвал карман халата, а события уже неслись с нарастающей скоростью. Бренди и холодный душ освежили ему мозги, и события этого получаса представлялись ему теперь кинофильмом с выключенным звуком. Отсутствующее звуковое сопровождение заменяли его собственные бессвязные мысли, роившиеся у него в голове, пока он говорил с посыльным, писал записку, отвечал на звонки и препирался со слугой и официантом. За все это время его не посетила ни одна осознанная мысль, он действовал, как автомат. И лишь ощутив на коже холодные струи душа, он понял, что звук включился вновь. Теперь он знал, что его жена умерла и что теперь он может в одиночку нести бремя свободы.

Он посмотрел в зеркало и с удивлением обнаружил, что в его внешности ничего не изменилось. Он расстелил на столе карту города — атташе по культуре снабдил его картой по его просьбе, потому что Леонтьев не любил обращаться с вопросами к прохожим и доверяться таксистам. До салона мсье Анатоля было всего минут десять ходу. Он знал, что еще несколько часов будет

находиться в безопасности; что будет вернее не возвращаться в отель, но оставить в номере вещи, словно он еще тут появится. Он не станет горевать, если они пропадут, — жаль разве что шести рубашек, купленных накануне: дома вещей такого качества не сыщешь. Эта мысль впервые напомнила ему о его библиотеке, загородном доме, бассейне. Без Зины дом превратится в склеп; и все же не так-то просто примириться с утратой плодов тридцатилетнего труда. В пятьдесят восемь лет трудно начинать жизнь заново и в одиночестве. Но от открывающейся перспективы у него захватывало дух.

Он оглядел напоследок комнату и, спохватившись, прихватил с собой пару новых рубашек, бритву и зубную щетку, сложив все это в бумажный пакет, в который были упакованы накануне его обновки. Получился вполне невинный сверток, похожий на подарок. Не дожидаясь лифта, он спустился вниз по лестнице, устланной мягким ковром. Портье и коридорные провожали его учтивыми кивками; интересно, кому из них приплачивают, чтобы не упускать его, Леонтьева, из виду? Ему почудилось, что они смотрят на него с каким-то необычным любопытством. Наверное, это воображение.

Пока он шагал по улице Риволи, голубые сумерки летнего вечера все больше закругляли контуры деревьев и домов. Он чувствовал необыкновенную легкость, словно парижский тротуар приобрел волшебную способность устранять силу тяжести. До этого он побывал в Париже всего однажды, двадцать лет назад, и тоже на митинге за мир — то были времена Народного фронта. На этот раз ему чуть было не удалось выбить разрешение, чтобы его сопровождала Зина. Но «чуть было» не в счет. Она храбро перенесла разочарование, хотя главным желанием ее жизни было хоть разок побывать за границей; но она так и не дождалась его осуществления. Он рассказывал ей о Париже, как рассказывают слепым о живописи; они шептались о вечно брезжащем путешествии, подобно приговоренным к смерти, грезящим о помиловании. Он показывал ей фотографии Нотр-Дам и набережных; рассказывал о кабаре Монмартра, о bals musettes<sup>15</sup> на улице Лапп, о луковом супе на рассвете... Теперь же, пересекая площадь Курсель, откуда открывался сказочный вид на бесконечную вереницу огней, мерцающих в голубых сумерках, он снова повел свой рассказ, только на этот раз беззвучно, прерываемый ее наивными восторженными возгласами. Потом, стоя на мосту с болтающимся на пальце пакетом и глядя вниз на пляшущие в реке огоньки, он прервал рассказ и сделал многозначительную паузу. В его ушах зазвучал ее мелодичный украинский голосок: «Левочка, да не может быть!» Он почувствовал боль в указательном пальце: обмотавшаяся вокруг него бечевка преградила доступ крови, кончик пальца разбух и посинел.

Зина, оставь меня, мне еще надо поработать, сказал он беззвучно, но очень отчетливо. Она покорно кивнула, и ее лицо быстро пропало. Он снова зашагал по мосту.

## Х. Вечер у мсье Анатоля

На приеме у мсье Анатоля царило приподнятое настроение. Пессимисты, угрюмые глашатаи Апокалипсиса были вновь посрамлены. Они утверждали, что войны не миновать, но война так и не разразилась. Они предрекали, что Содружество готовится проглотить Кроличье государство, а смотрите-ка, крохотная республика все еще жива и всего-то ценой незначительных уступок. Ее премьер-министр, архиреакционер, который и был, кажется, причиной всех затруднений, был вынужден уйти в отставку; Собрание распущено, на ближайшее время назначены новые выборы. Пока что, в качестве доказательства доброй воли и мирных намерений, временное правительство республики согласилось на требование Содружества, чтобы обе стороны убрали оборонительные сооружения вдоль границы. Неоспоримая разумность такого предложения опровергла измышления всех тех, кто в ослеплении ненависти и мании преследования обвинял Содружество в агрессивных поползновениях. Была не только устранена угроза немедленной вспышки военных действий; ходили также слухи о надвигающейся конференции Большой Двойки — конференции, которая положит конец всем конференциям, навсегда провозгласив всеобщее, окончательное урегулирование. В очередной раз восторжествовал разум, и чувствуют себя пристыженными паникеры. У гостей мсье



Анатоля были все причины для восторга.

Сам мсье Анатолий восседал в своем любимом кресле перед камином, положив поблизости костыли, подобные скипетрам царства теней, куда все чаще возносилось его воображение и куда вскоре предстояло навсегда проследовать и ему самому. Костыли были изготовлены по специальному заказу из рябины, черного дерева и свиной кожи; ходили слухи, что в его завещании имелся пункт, согласно которому костыли полагалось похоронить вместе с ним, чтобы немного обустроить его пребывание в аду. У левой ручки кресла стояла, как водится, мадемуазель Агнес в скромном жемчужно-сером платье, которое она издавна надевала по случаю приемов, так что никто не мог припомнить ее в чем-нибудь другом. По правую руку от хозяина располагался почетный гость, Герой Культуры Лев Николаевич Леонтьев. Сегодняшний прием проводился с большим размахом, так что двери в столовую и во вторую гостиную, так называемый Голубой салон, были широко распахнуты, причем в столовой была накрыта буфетная стойка с холодными закусками, способная удовлетворить аппетиты самого Гаргантюа.

Наблюдая, как гости проходят по двое-трое мимо занятой мсье Анатолем стратегической позиции, где их ждало знакомство с почетным гостем и обязательное наказание в виде язвительных речей хозяина, Леонтьев сравнивал происходящее с тщательно отрепетированным балетом. Впечатление становилось все более ярким с каждым бокалом шампанского, который он опрокидывал с интервалами в десять минут. Он не уставал нашептывать самому себе, что одежда этих людей, их бурная жестикуляция и дружелюбные гримасы естественны для них и для их времени, и все же ему не удавалось избавиться от навязчивого чувства, что весь прием — не более чем представление, в котором актеры в меру своего скромного дарования стараются воплотить на сцене свою эпоху и ее типы.

В дверях появилось двое мужчин: один — высокий, плечистый, в очень идущей ему рясе знаменитого монашеского ордена, другой, смахивающий на актера, — в вечернем костюме. Подходя к креслу мсье Анатоля, вновь прибывшие взяли за руки. Позади них шла высокая девушка замечательной красоты с замечательным отсутствием всякого выражения на лице и с оттопыренной нижней губкой, свидетельствующей о презрении к миру, не ведавшему, чем он вызвал такое к себе отношение.

— Дорогой Лев Николаевич, — провозгласил мсье Анатолий, — позвольте представить вам отца Милле и господина Жана Дюпремона, нашего ведущего порнографа, недавно перешедшего в лоно святой церкви. Что касается юной дамы, — продолжил он, схватив ее холодные тонкие пальцы и напомнив при этом обезьяну, вцепившуюся в банан, — она как будто племянница отца Милле...

Отец Милле расхохотался своим знаменитым смехом, похожим на львиный рык.

— Она и есть моя племянница — запротестовал он без особого, впрочем, убеждения. — Не так ли, дитя мое?

— Пора бы придумать новую шутку, — сказала племянница отца Милле и, вырвав руку из клешни мсье Анатоля, проследовала к дверям Голубого салона.

Жан Дюпремон повернулся к Леонтьеву.

— Мы со святым отцом беседовали о секте, о «Бесстрашных страдальцах», — сказал он. — Очень интересно и очень загадочно. Можно смиренно осведомиться, чтобы вы о них думаете — или это будет нескромный вопрос?

На первый взгляд он казался очень симпатичным господином латиноамериканской наружности, высоким, черноволосым, с тоненькими усиками; но, разглядывая его и соображая, как ответить, Леонтьев заметил, что один глаз Дюпремона смотрит как будто в другую сторону. Либо этот глаз был стеклянным, либо Дюпремон обладал странным косоглазием, от которого все его лицо казалось вывернутым наизнанку. Его влажное, вялое рукопожатие только подкрепляло это впечатление. У святого отца было широкое, подвижное лицо и голубые глаза, глядевшие то невинно, то умудренно. Оба с любопытством ждали от Леонтьева ответа. Впервые с тех пор, как он появился на приеме, ему задали прямой вопрос. И впервые за четверть века он мог свободно сказать то, что думает. Но знал он и другое: как только он скажет, что думает, это станет решительным шагом в причудливый, чуждый мир, сжиганием всех мостов за спиной. Он с тревогой ощутил, что у него бешено, как у

актера на дебюте, колотится сердце.

Молчание затянулось; мсье Анатоль повернул голову и готовился уже вставить словечко, когда Леонтьев обрел, наконец, дар речи. Его речь была, как всегда, лаконичной и как будто непродуманной, однако в голосе звучали властные нотки. Он сказал, что восхищен отвагой маленькой секты, однако знает о ней слишком мало, так как в его стране цензура запрещает любую информацию, относящуюся к «Бесстрашным страдальцам».

На лицах слушателей отразилось изумление. Только теперь Леонтьев сообразил, что они не имеют ни малейшего понятия о событиях последних часов; в их глазах он все еще оставался официальным вельможей, Героем Культуры Свободного Содружества. Большие круглые глаза святого отца загорелись пронизательным огнем: святой отец пытался понять, в чем смысл новой смены ориентиров. Тишину нарушил не очень-то уверенный голос мсье Анатоля:

— Глядите-ка, так вы симпатизируете этим еретикам...

Леонтьев окинул слушателей многозначительным взглядом из-под насупленных бровей и медленно проговорил, смакуя каждое непривычное слово:

— Подлинному революционеру не к лицу скрывать симпатию к меньшинству, сражающемуся с преследователями за свою веру.

Мсье Анатоль посмотрел на него с неприкрытой тревогой. Святой отец откашлялся; хотя его голос звучал, как всегда, ровно, он определенно производил разведку:

— Если я правильно понимаю, эти люди практикуют самобичевание и членовредительство; короче говоря, они — секта, состоящая, если применить термин современной науки, из извращенцев-мазохистов?

— Вы понимаете неправильно, — сказал Леонтьев. — Они руководствуются вполне разумной и правильной теорией. Они поняли, что основная причина, заставляющая человека подчиняться тирании, — это страх. Из этого они заключают, что, стоит им освободиться от страха, тирания немедленно рухнет, и воцарится свобода. Страх внушают физические и умственные страдания. Они — результат пыток, изнурительного труда, физических неудобств, разлуки с семьей и друзьями, кар, обрушивающихся на жену, родителей, детей, и так далее...

Леонтьев умолк и увидел, что кружок его слушателей вырос. Среди них он с мрачным удовлетворением заметил поэта Наварэна, лорда Эдвардса и профессора Понтье. Мсье Анатоль в великом возбуждении махал костылями, призывая всех окружающих влиться в аудиторию. Продолжив свою речь, Леонтьев, сам того не желая, впал в привычный для себя катехизисный пафос.

— Итак, если угрозы пытками, разлукой с семьей, вымещением злобы на тех, кого вы любите, и так далее, являются основными методами запугивания, то как достичь невосприимчивости к страху? Конечно же, только обретя иммунитет к различным страданиям... Кто не испугается переживаний, связанных с утратой? Тот, кто и так все утратил. Кто не убоится пыток? Тот, кто привык к телесной боли и победил вызываемый ею страх. Если у вас есть жена, и вы ее любите, то как вам освободиться от ярма страха, если вы дрожите при одной мысли о том, что ваши действия могут причинить ей вред? Оставьте ее — и страх перестанет довлеть над вами. Вот почему Иисус отверг в Кане собственную мать, сказав: «Женщина, кто ты мне?»

Пока Леонтьев говорил, поэт Наварэн тихонько выскользнул из толпы слушателей. Пряча ангельскую улыбочку, он отправился на поиски надежного товарища, который мог бы засвидетельствовать самоубийственные речи Леонтьева. Дюпремон тоже вылез из толчей и поспешил к буфету, чтобы первым огласить сенсационную новость о неожиданном безумии Леонтьева и его очевидной измене. Однако вокруг Леонтьева хватало людей, которые затоптали бы мсье Анатоля вместе с его креслом, если бы он не отгонял их пинками костылей.

— Ого! — вскричал профессор Понтье в крайнем возбуждении. — Но это же почти теория неонигилизма! Следует ли понимать вас так, что ее принципы наконец-то пересекли границы Содружества?

Леонтьев уставился на него в недоумении.

— О чем это он? — спросил он мсье Анатоля.

— Не знаю, — ликующе отозвался мсье Анатоль. — Должно быть, о каком-то новом способе интеллектуальной мастурбации для умственных недорослей всех возрастных групп.

— О, дайте же мне объяснить! — не унимался Понтье, кипя воодушевлением. Однако аудитория стала шикать на него, а крепкий святой отец отпихнул его подальше.

— Дорогой мой Герой, — начал святой отец, произнося титул с беспристрастием человека, обращающегося к собеседнику «мой генерал» или «мой граф», — дорогой мой Герой, ваши симпатии к весьма вредной, по моему разумению, секте весьма меня удивляют. Невосприимчивость к страху кажется мне тем же самым, что разрешение на анархию, то есть куда более опасным для человечества явлением, чем даже открытие ядерного распада.

— Правильно, правильно! — крикнул Геркулес-Расщепитель Атомов из заднего ряда, где над прочими головами возвышалась его косматая грива. Его слова встретил ропот одобрения и несколько несогласных голосов.

— Вы хотите сказать... — вмешался Дюпремон, покинувший буфет вместе с надутой племянницей отца Милле и теперь покровительственно поддерживающий ее влажной ладонью за голое плечо, — так вы хотите сказать, что от страха перед пытками можно избавиться, причинив боль самому себе? Как интересно!

— Не знаю, — проговорил Леонтьев. Его недавний восторг уже прошел; он чувствовал скуку и отвращение к себе самому и к слушателям. Однако они ждали от него продолжения, и он сказал:

— Надо понимать, что боязнь умственного и физического страдания совершенно иррациональна. Боль — такое же ощущение, как и многие другие, у нее есть физиологические пределы. При их достижении организм перестает осознавать себя. Из этого следует, что невыносимой боли не бывает. — Он отыскал глазами отца Милле и продолжал, словно обращаясь к нему одному:

— Вы задали вопрос, и я рассказал вам все, что знаю об их теории. Эти люди пытаются различными способами победить в себе страх, чтобы уйти из-под власти угнетателей. Они верят, что если у них найдется достаточно последователей, то это приведет к бескровному крушению владычества страха.

Слушатели, следившие за его логикой и забывшие, что одновременно присутствуют при сенсационном акте вероотступничества, опомнились и снова ошеломленно уставились на его коренастую, с военной выправкой фигуру и бесстрастную физиономию. Внезапно хриплый женский голос пренебрежительно произнес:

— Это просто контрреволюционный перифраз гандизма. Вы решили подшутить над нами?

Голос принадлежал женщине с решительным выражением на оживленном лице — супруге профессора Понтье, представительнице крайнего про-содружеского крыла в неонигилистском движении. Заслышав ее слова, племянница отца Милле высвободилась из-под длани Дюпремона и двинулась сквозь толпу в ее сторону. Настал черед мадам Понтье по-хозяйски завладеть ее плечом.

— Нет, — отозвался Леонтьев, — это куда радикальнее гандизма. Там властвовала пассивность, эта же секта вступила в решительную борьбу со страхом.

— Каковы их религиозные убеждения? — осведомился отец Милле.

— Не знаю, — признался Леонтьев.

— А политическая программа? — послышался чей-то голос.

— Не знаю.

— Сколько их?

— Не знаю.

— А по-моему, — проворчал лорд Эдвардс, — это просто кучка подлецов. — После этой реплики лорд покинул толпу и с презрительным выражением на лице отправился к буфету, бормоча

что-то про себя. У него нашлись последователи, и толпа стала распадаться на парочки и группки, в которых продолжилось обсуждение причин непонятных и воистину фантастических леонтьевских речей. Среди немногих, все еще остававшихся подле Леонтьева, были мадам Понтье и племянница отца Милле, томно склонившая голову на плечо старшей подруги. Напротив них с непреклонной улыбкой застыл поэт Наварэн. Услыхав его шепот, мадам Понтье кивнула и спросила тем же хриплым, пренебрежительным голосом:

— Товарищ Леонтьев, я хочу задать вам прямой вопрос. Вы что же, отправились в Капую?

— Нет, не в Капую. В Каноссу <sup>16</sup> — возможно.

Снова воцарилось гробовое молчание, а потом словно по сигналу указующего жезла все группки вновь пришли в движение, и комната загудела, как пчелиный улей. Мсье Анатоль, применив костыли, прогнал прочь остатки леонтьевской аудитории.

— Довольно, довольно! — покрякивал он. — Лев Николаевич — мой гость, оставьте его в покое!

Последним подчинился отец Милле. Удаляясь, он бросил Леонтьеву:

— Все это весьма прискорбно. У меня было предчувствие, что мы можем найти взаимопонимание... Вы не представляете, как я ждал этого вечера. И именно в такой момент вы впадаете в эту престранную ересь... — Он хохотнул, как лев, раздумавший рычать, и взял за руку верного Дюпремона, теребящего свои тоненькие усики и страдальчески провожающего глазами племянницу отца Милле, направлявшуюся в этот момент в Голубой салон под руку с незнакомым молодым человеком,

— Ха! — произнес мсье Анатоль, когда, наконец, он, Леонтьев и мадемуазель Агнес остались одни у камина.

— Вы поняли смысл замечания отца Милле?

— Нет, — сознался Леонтьев и отвесил церемонный поклон мадемуазель Агнес, наполнившей его бокал. — Я плохо понимаю всех этих людей.

— Я вам все объясню, — обрадовался мсье Анатоль.

— Прежде всего, отца Милле встревожили ваши... — Он был в явном замешательстве, что случалось с ним крайне редко. — Его напугали ваши слова, потому что назревает согласие. Если Риму и Византии удастся помириться, им будут ни к чему еретики. А кто сомневается, друг мой, что по логике вещей они рано или поздно придут к согласию? Конечно, у каждого партнера останется кое-что за пазухой, но это уже неважно... Знаете ли вы, друг мой, сколь мала разница между изощренной хитростью и отъявленной глупостью?

Леонтьев закурил и медленно опорожнил свой бокал. Он чувствовал, что попал в паутину неопределенности, но одновременно ощущал необыкновенную легкость, помогавшую ему плыть через хаос.

— Что за чудесный вечер! — прыснул мсье Анатоль. — Я так благодарен вам, дружище! Вы великолепным жестом бросили камень в стоячий пруд, в котором мы все обитаем, барахтаясь и квакая. Как видите, круги от камня уже достигли буфета; завтра они разойдутся по всему Парижу, Франции, Европе... Затем, оттолкнувшись от скал на восточном берегу, они вернутся к вам, грозя отмщением. Но сегодняшней день принадлежит вам, поэтому я отвлеку вас болтовней еще на несколько минут, после чего предоставляю вам возможность отдаться более зрелым радостям; могу представить, что для вас, пришельца из совсем другого мира, окружающее может казаться чуждым и непонятным. Представьте себе, что вы — Данте, а я — Вергилий: обожаю эту роль. Конечно, я не смогу показать вам ни чистилища, ни ада — там все закрыто по приказу префектуры; так что я смогу всего лишь провести вас по канавам к нашему маленькому пруду, где проклятые и обреченные беззаботно проводят время в ожидании ваших инженеров, которые явятся сюда со своими дренажными трубами и бульдозерами. Ага, вот снова племянница отца Милле. Она все время заставляет трепетать мои давно увядшие чувства. В моем возрасте и состоянии это подобно

покалыванию иглами. Что за прелестная дурочка — вы заметили, как она все время дуется? Это — позиция всей нашей молодежи. А какое выразительное тело! Надутые губы, грудь, даже ягодицы! Все их поколение таково. Они презирают нас, осуждают за немощь, корысть, а более всего — за истрепавшиеся идеалы и плачевные иллюзии, но не могут ничего предложить взамен — вот и дуются. Юнцы этого возраста еще хуже: у них такой всезнающий вид, ничто не может выбить их из седла, ничто не может их пленить, они говорят с девушками, как прирожденные сутенеры, читают книжки, не разрезая страниц, взирают на любые убеждения и философские учения, как на сущий вздор, и при всем этом не могут отличить бургундское от кларета, а Шекспира — от Анри Бернштейна. О, мой друг, следует запретить возраст до двадцати пяти лет! Леонтьев улыбнулся.

— Я вас утомляю, — сказал мсье Анатоль. — Скажите, когда вам станет скучно, и я отпущу вас поохотиться за надутыми обводами племянницы отца Милле.

— Мне пришла в голову интересная гипотеза, — сказал Леонтьев. — Взаимная неприязнь разных поколений — в диалектике природы. В обычные времена это проявляется вполне безвредно. Но в эпоху революции все меняется: биологическое напряжение между поколениями может принимать обличье политической борьбы. Может, к примеру, произойти так, что старый хитрый волк, примкнув к стае молодняка, подсобьет их разодрать в клочки всех старых волков своего поколения.

— Да, но... — по привычке откликнулся мсье Анатоль, еще не зная, как продолжить спор. — Да, но в конце концов вся хитрость старого волка окажется тщетной, ибо молодые волки разорвут и его.

— Не обязательно, — возразил Леонтьев. На протяжении четверти века он не мог позволить себе бесед на такие темы; теперь же он чувствовал, как каждая клеточка его мозга впитывает из воздуха кислород и как трепещут синапсы, обдуваемые обжигающим ветром. — Совсем не обязательно, — повторил он, — ибо, согласившись, чтобы он стал их вожаком, молодые волки будут связаны с ним узами вины за пролитую кровь. Расправившись с отцами, они признают своим отцом его и станут слепо подчиняться и превозносить его. Так оно и произошло — только раньше я этого не понимал.

— Да, но... — начал было мсье Анатоль, но тут же нетерпеливо прервал сам себя: — Возможно, возможно. Возможно, вы совершенно правы. Но разве вам не хочется послушать про отца Милле и его племянницу? — Ему не нравилось, когда Леонтьев говорил на темы, которые были ему не совсем понятны; кроме того, возникла опасность, что его монолог скатится до диалога. Это следовало предотвратить. Приняв молчание Леонтьева за согласие, он радостно поспешил с разъяснениями.

— Возвращаясь к племяннице отца Милле... — Он указал кончиком костыля на девушку, мелькавшую на другом конце комнаты. — Вся изюминка в том, что она действительно его племянница, хотя, дабы сделать приятное отцу Милле, все притворяются, будто уверены, что она его любовница, единокровная дочь, а то и то и другое одновременно. Это бесконечно льстит отцу Милле, хотя он ведет безупречно праведную жизнь, посвящая ее спасению заблудших душ в мире искусства и литературы и возвращению их в лоно Церкви. Теперь вы можете спросить: почему столь усердный и благочестивый человек напяливает маску распутного аббата XVIII века? Может быть, потому, что начитался Рабле или бальзаковской халтуры? Нет, мой друг, у этого умственного извращения более глубокие причины. Настоящая праведность настолько вышла у нас, французов, из моды, а продажность настолько вошла в плоть и кровь, словно она — естественный ход вещей, что даже приверженец святого ордена вынужден скрывать свои достоинства, как смертный грех, и притворяться грешником, иначе его примут за молокососа; он вынужден носить маску не только для мира, но и для самого себя, чтобы не утратить самоуважения. Я не удивлюсь, если после долгого потворствования этой шутке святой отец и впрямь пребывает в убеждении, что эта девушка — плод его воображаемого греха...

Леонтьев снова улыбнулся; в его воображении возникла яркая картина участи отца Милле, угодившего в лапы Груберу и его подручным. Небольшая подстройка синапсов, парочка таблеток, задушевный разговор — и вот он объявляет застывшему в удивлении миру, что он — Распутин собственной персоной!...

— Что же касается племянницы, — продолжал неутомимый мсье Анатоль, — то это очаровательное, но безмозглое создание является в данный момент центром загадочного помешательства, время от времени овладевающего миром искусства. Ее образ под едва заметным гримом, зато с величайшим количеством интимнейших подробностей выводят в бесконечных неонигилистских романах и пьесах, и ни один писатель или критик, независимо от пола, не может рассчитывать на широкое признание, если не вступит с ней в связь — или по крайней мере не пустит такой слух. И все это несмотря на то, что она столь же безнадежна в постели, как тупа в беседе, да и вообще — самая надутая и противная стерва на всем Левом берегу. Поможет ли вам ваша диалектика объяснить такое чудо, мой друг?

Героические голубые глазки Леонтьева замигали.

— Природа обожает пустоты, — промямлил он. Мсье Анатоль захихикал.

— Неплохо! Вот еще одно чудо: после тридцати лет, проведенных в окружении тупости и дурмана, вы, оказывается, сохранили искру остроумия! Но я закончу свой рассказ: поверите ли, никто не знает даже ее имени! Она всего лишь «племянница отца Милле». Наш век страдает прискорбным помешательством на абсолютном, и племянница отца Милле как раз выполняет эту функцию — абсолютной, пленительной пустоты. Она — надувшая губки Астарта неонигилистов, которые «спешат на приступ, отличаясь в деле, как полчище червей на полусгнившем теле», как написал сотню лет назад один архисимволист. Однако, дабы сменить метафору и пролить свет на этот современный культ Астарты с другого угла, представим себе басню Лафонтена «Собаки и фонарь»: жили себе в деревне собаки вполне счастливо, пока не был воздвигнут на рыночной площади новый фонарный столб. Одна из собак, пробегая мимо, по рассеянности почтила его своим вниманием. С этого дня, движимые хорошо известным, но по сию пору неразгаданным собачьим братством, все собаки считали за долг отдать должное именно этому столбу, и только ему. Так и закладываются основы культа... Глядите-ка, друг мой, кажется приближается наш Святой Георгий. Соберитесь-ка с силами, грядет столкновение.

Повернувшись в направлении, указанном кончиком костыля, Леонтьев узрел худого брюнета, стремительно несущегося в их направлении. Его лицо корчилося в судороге, руки и ноги болтались, как у неуклюжего подростка, однако взгляд был устремлен вперед, выдавая неукротимую энергию, а головой он определенно собирался боднуть в живот какого-нибудь недруга. Люди, сбившиеся в маленькие группки, уступали ему дорогу и провожали оживленным шепотом; даже племянница отца Милле искоса взглянула на него, и в ее глазах промелькнул благоговейный ужас.

— Это Жорж де Сент-Илер, романист и странствующий рыцарь, — шепнул мсье Анатоль. — Мы зовем его Святым Георгием, потому что он всегда сражается с очередным драконом — фашистским, коммунистическим или любым другим, подвернувшимся под руку. Он дрался в рядах абиссинского сопротивления и группы «Штерн» в Иерусалиме, а в прошлом году вылетел на моноплане в сторону Кремля, намереваясь взорвать его, но выжег раньше времени горючее. Но это очень непростой и многомудрый странствующий рыцарь; по сравнению с ним Лоуренс Аравийский — просто обыватель, страдающий плоскостопием. В его речах бывает понятна лишь одна фраза из десяти, но не нужно расстраиваться: вам все равно не удастся вставить ни единого словечка; однако и эти десять процентов стоят внимания.

Размахивая длинными руками и отчаянно гримасничая, Святой Георгий приблизился к ним, начав какую-то тираду еще за несколько ярдов.

— Привет! — бросил он мсье Анатолю. — Ввиду очевидной неуместности вопросов о вашем здоровье приходится судить о нем на основании прецедентов, как, например, по случаю с ирландским Мафусаилом, однако не следует забывать, что он не принадлежал к числу травоядных, что делает параллель недействительной, а также не был любвеобильным, что позволяет поставить вопрос о правдоподобности ваших утверждений о том, что вы остаетесь с нами из гедонистских соображений — так. Теперь о вашей проблеме, — он повернулся к Леонтьеву и вцепился в пуговицу на костюме Героя. — Шансы на реакклиматизацию лишь частично зависят от физиологического возраста, точно так же, как все замечания типа «слишком поздно» или «уже» не относятся ко времени, а подразумевают целый комплекс факторов — так. Поскольку все более частые случаи схожего с вашим ренегатства и умственного хакарири находятся в обратно пропорциональной

зависимости от их эффективности, догадку об утилитарных соображениях наверняка следует отбросить, что оставляет нас наедине со значением поступка как такового; ибо негоже забывать, что лишь в самом поступке, независимо от его назначения, содержится человеческое достоинство. Так — мы оба знаем, что осознание достоинства поступка — грандиозного, возможно, безумного, но никак не глупого — лишь на первый взгляд предстает отходом от прагматизма к эстетической шкале ценностей; ибо когда речь заходит о космической судьбе человека, одна шкала становится неотделимой от другой. Излишне напоминать вам, что кепплеровский поиск планетарных законов был скорее эстетическим, нежели прагматическим, — что позволяет нам рассматривать настойчивое желание планет двигаться по эллиптическим орбитам таким образом, чтобы квадрат периодов обращения оставался пропорциональным кубу их удаленности от Солнца, как элегантную прихоть Господа Бога. Вам остается признать, что придя к власти, нам не надо кастрировать Понтье, зная, что его мошонка набита опилками; в конце концов, вельможи второй династии Мин довольствовались тем, что затыкали анальное отверстие предателя цементом третьей степени твердости, после чего каждые два часа скармливали ему из зеленой нефритовой чаши какое-нибудь жирное блюдо с соевыми бобами и рисом. Так — мы оба знаем, что самое главное — это завоевать будущее, словно это уже прошлое. В конце концов, судьба человека — всегда обитать на противоположном берегу; детали обсудим позднее.

Одарив Леонтьева очаровательной улыбкой, прорвавшейся сквозь спазматические подергивания его лицевых мускулов, подобно лучу света, блеснувшему среди несущихся по небу туч, он отчалил в неопределенном направлении.

— Что я вам говорил?! — закудахтал мсье Анатоль. — Конечно, он ненавидит Понтье и неонигилистов, ибо он и есть единственный оставшийся в живых нигилист; те же, кто зовут себя этим именем, действительно ходят с опилками там, где он указал.

— Он оторвал мне пуговицу, — тоскливо произнес Леонтьев, сомневаясь, что у Зины найдется подходящая замена в старой коробке из-под шоколада, где хранилась впечатляющая коллекция пуговиц. Потом он вспомнил, что Зины больше нет, и на мгновение почувствовал себя так, словно у него под ногами разверзается бездна. Он опрокинул очередной бокал шампанского, и железное стремление во что бы то ни стало насладиться приемом взяло верх.

— Это знак того, что вы ему по душе, — сказал мсье Анатоль. — Он всегда забирает что-нибудь у людей, которые ему нравятся; такая уж у него мания. Как-то раз он забрал кубик льда из взбиваемого мною коктейля и унес его домой в кармане брюк; еще на его совести кража дверной ручки из туалета президента Академии, за что ему и отказали в избрании.

Сент-Илер в это время пронесся со скоростью реактивного снаряда в направлении молодого американца. Американец походил на выпускника университета, в котором скромность сочетается с некоторой самоуверенностью, обретенной благодаря признанию собственной скромности как природного изъяна, подобного близорукости. Ему даже удалось вставить пару слов. Пока длилась беседа, порнограф Дюпремон описывал вокруг них круги, пытаясь расслышать, о чем говорит Сент-Илер, и примкнуть к беседующим; но при кажущейся поглощенности Сент-Илера собственным красноречием он умудрялся поворачиваться к Дюпремону спиной всякий раз, когда тот пытался предстать пред его очами; благодаря этому их группа совершала колебательные движения, напоминая маятник, пока Дюпремон не сдался и не побрел к буфету. Мсье Анатоль, зачарованно наблюдавший за этими маневрами, объяснил:

— Из всех лягушек нашего пруда, Дюпремон — самая пронирыливая лягушка. Его первый роман «Путешествие вокруг моего биде» был необыкновенно успешным; критики окрестили его новым Золя, Данте и Бальзаком в одном лице. Нечего и говорить, друг мой, что я обожаю порнографию, однако мне кажется, что она должна обращаться только к мужчинам в моем возрасте и состоянии, не имеющим иного утешения; молодежь должна посвящать Приапу максимум действия и минимум мысли. Естественно, Дюпремону понадобилось возвести вокруг своего биде некую философию, которую читатель, конечно же, пролистывает, не читая, но которая успокаивает его совесть, создавая у него впечатление, что его книга — какое-никакое явление культуры. Но вот незадача: именно в эти философские ловушки критики и угодили: они заявили, что эти места заставили их залиться краской. После каждой новой книги они призывали его не отвлекаться от сути, то есть от биде, но именно это он и отказывался делать: он все менее увлекался оргиями и все более

— диалогами о Жизни, Смерти и Бессмертии, пока его издатели не забили тревогу. Сами видите, даже удачливый порнограф не может устоять перед мрачным вожделением нашего века — ностальгией по Абсолютному. К счастью, именно тогда он повстречал отца Милле и претерпел обращение в веру — кажется, подлинное. Конечно, ему захотелось немедленно забросить порнографию и сесть за религиозные трактаты, но ему разъяснили, что людей, занятых этим делом, хватает и без него, тогда как у него, Дюпремона, есть читатель, который может услышать спасительный глас только благодаря ему; поэтому ему надлежит продолжать писать в прежнем духе, избегая фронтальной атаки и пытаясь обойти противника с тылу, — что было, согласитесь, необыкновенно уместной метафорой. Теперь все счастливы: Дюпремон, подобно мученику веры, измышляет все более вычурные оргии с единственной целью заставить грешника затрепетать с ног до головы в последней главе, которую, правда, никто не читает; ему даже удалось превратить свое биде в спасительный сосуд — как тут не вспомнить якобинцев, молившихся на гильотину, возведенную ими в сан священного орудия, готовящего человечеству Золотой Век! Отсюда мораль: задумывались ли вы когда-нибудь, друг мой, о судьбе тех, кто, говоря словами жестокой притчи, призван, но не избран? Я скажу вам, что их ждет: они отправляются на поиски райского царства, а попадают в бордель, считая, что почти достигли цели... А теперь вы должны оставить меня, освежиться у буфета и пустить еще парочку кругов по глади пруда. Я устал.

Его лицо неожиданно сморщилось. Мадемуазель Агнес, преданно дежурившая поблизости, не произнося ни слова и не проявляя ни малейшего интереса к меняющемуся окружению, беззвучно поставила его на ноги. Опираясь на костыли и на дочь, обвиняющую его за грациозную талию, мсье Анатолий, не прощаясь, с угрюмым видом покинул комнату.

Леонтьев почувствовал себя брошенным на произвол судьбы. Хотя он был почетным гостем, а возможно, именно благодаря этому, никто не осмеливался к нему подойти; он так и остался одинокой страдальческой фигурой перед камином у опустевшего кресла. Спустя несколько минут, он решил, что прежнюю позицию больше не защитить, так что лучше ретироваться. Однако он сказал себе, что лучше не торопиться: ведь он еще не до конца наслаждался этим уникальным и незабываемым вечером; кроме того, идти ему было некуда. Расправив плечи и глядя своими голубыми глазами прямо перед собой, он двинулся поперек комнаты к распахнутой двери в столовую. Он выпил несчетное количество бокалов шампанского на пустой желудок, но не чувствовал их эффекта и не ведал, что описывает довольно причудливую траекторию, и что это не ускользнуло от внимания присутствующих. Он почти уже добрался до вожделенной двери, как вдруг узрел круглое веснушчатое лицо культурного атташе Никитина, как раз входящего в зал. Никитин быстро оглядел помещение с победной улыбкой, притворившись, что не замечает Леонтьева; выходит, он уже знает. Поэт Наварэн поспешил ему навстречу. После теплого рукопожатия между ними завязалась беседа, во время которой оба старались не повышать голоса и не смотреть в сторону Леонтьева. Леонтьеву была знакома эта техника; он сам не раз вел себя так с коллегами, утратившими расположение свыше. Еще больше напрягшись и приосанившись, он продолжил движение в сторону столовой, всего один раз зацепившись за толстый ковер, но тут же с достоинством восстановив вертикальное положение.

Глядя, как официант накладывает ему в тарелку холодного цыпленка, ветчину и всевозможные салаты, Леонтьев неожиданно почувствовал, что очень голоден. Направляясь с тарелкой в угол столовой, он наткнулся на лорда Эдвардса. Тот тоже нес тарелку, наполненную невероятным количеством мясных блюд, и с видом дикого зверя, ищущего, где бы схорониться с добычей,

озирался в поисках спокойного уголка, чтобы все это проглотить. Пробормотав что-то, что могло быть как извинением, так и грубостью, Геркулес, к изумлению Леонтьева, затрусил следом за ним, чтобы устроиться на подоконнике большого окна. Оба принялись за еду, причем Леонтьев делал вид, что не замечает присутствия Эдвардса, в то время как тот то и дело порывался заговорить; однако эти попытки неизменно превращались в неясное бормотание. Наконец, протянув наполовину объединенную куриную ножку под самый нос Леонтьеву, он издал серию утробных звуков, после чего вымолвил:

— Так вы хотите сказать, что так прямо и переметнулись?

Его глубокий голос звучал до смешного неуверенно, как у подростка, который, съдаваемый похотливым любопытством, не в силах удержаться от крайне неприличного вопроса. Леонтьев



поднял глаза от тарелки, но Геркулес, как оказалось, глядел в другую сторону, а на его лице с косматыми бровями застыло выражение несмываемой вины.

— Да, я ушел, — бесстрастно ответил Леонтьев.

— М-м-м, — пробубнил Эдвардс, после чего неожиданно заявил недовольным тоном, словно перед ним сидел допустивший оплошность студент:

— Вам должно быть стыдно — в вашем-то возрасте!

Это прозвучало настолько нелепо, что Леонтьев поневоле улыбнулся.

— Причем тут возраст? — спросил он, забавляясь.

— Притом, товарищ, притом, — фыркнул Эдвардс. — В нашем возрасте — насколько я понимаю, нам обоим перевалило за пятьдесят — человек не нарушает принятых на себя обязательств. Это неприлично — совершенно неприлично. — Желая устранить всякие сомнения, он удовлетворенно повторил: — Совершенно неприлично!

Леонтьев не нашел, что ответить. В свое время он читал «Алису в стране чудес» и с тех пор знал, что в споре с англичанином опираться на логику бесполезно.

— Что же вы собираетесь делать теперь, а? Подвывать хору шакалов? Много это принесет пользы!...

Несмотря на оскорбительный смысл этих слов, они были произнесены вполне дружелюбным тоном. Леонтьев отнес это на счет колебания и любопытства, породивших первый вопрос Эдвардса. Сходным образом отнеслись к нему и многие другие гости. Одновременно он чувствовал, что сам факт беседы между ним и Геркулесом произвел в столовой маленькую сенсацию. Он порадовался, что ему не приходится есть в углу одному. Потом он заметил Наварэна и вспомнил, как всего несколько дней назад этот господин подлизывался к нему перед фотообъективами и какое это вызвало тогда у него презрение. Он сухо бросил:

— Меня не интересует, принесет ли это мне пользу.

— Чушь! — сказал Эдвардс. — Дьявол, притворившийся монахом. — Молча обсосав куриную ножку, он откусил половину кости, разжевал и проглотил. — Вот! Вы так можете? — спросил он с глубоким удовлетворением.

Во время голода в Гражданскую войну, — ответил Леонтьев, — мы перемалывали кости и делали из них кашу.

Эдвардс неожиданно покраснел.

— Так прямо и растирали? — выдавил он, бросил остаток кости в пепельницу и угрюмо уставился перед собой. Через некоторое время он отрывисто спросил:

— Тогда что же еще?

— Именно это я и попытаюсь узнать, — ответил Леонтьев.

— Ха! Могу предсказать результат эксперимента. Вы приползете обратно на коленях, прося разрешения отбыть пять лет в лагере и вымолить этим прощение.

Леонтьев улыбнулся.

— Из лагеря не возвращаются.

Геркулес пробурчал что-то и сказал тоном осуждения:

— Видите, вот вы и среди шакалов.

Леонтьев не стал отвечать.

Эдвардс начал было грызть куриное крылышко, но передумал, пожалел косточку и положил ее в пепельницу.

— И все-таки, почему сейчас, а не пять, десять, пятнадцать лет назад?

— У меня были обязательства по отношению к жене, — сказал Леонтьев. — Теперь она

мертва. — Прежде чем Эдвардс успел произнести слово, он продолжил: — Но над вами-то они не властны. Почему же вы?...

Эдвардс снова залился краской, помахал пальцем у Леонтьева перед лицом и проворчал:

— Крайне неуместный вопрос. Совершенно неуместный... — Он поставил тарелку на пол, оттолкнул ее ногой, засунул руки в бездонные карманы и принялся с нервным нетерпением покачиваться на каблуках. Глядя мимо Леонтьева, он спустя некоторое время произнес: — Говорю вам, у вас нет никаких оснований так поступать. Скоро сами узнаете. Кроме того, уж если вы вложили весь свой капитал в одну фирму, то не стоит его забирать — не в нашем же возрасте, не через тридцать же лет! Говорю вам, это неприлично. Совершенно неприлично...

Он недовольно уставился на людей, теснящихся вокруг буфета и копошащихся небольшими группками; большинство раскраснелось и яростно жестикулировало. Сплошной гул голосов во всех трех помещениях постепенно становился невыносимым, достигая крещендо и взрываясь время от времени визгливым смехом или возгласом.

— Хороша стервочка, — неожиданно откомментировал Геркулес, подразумевая племянницу отца Милле, появившуюся в дверях Голубого салона и плывшую теперь среди людей своей ленивой походкой, без видимой цели. За ней следом тащился профессор Понтье, неся пустую тарелку и бокал, локтями прокладывая себе путь к буфету. Эдвардс окликнул его громовым голосом, прокатившимся над головами и заставившим гостей вздрогнуть:

— Эй, профессор...

Понтье изменил курс и двинулся в их направлении, не выпуская из рук тарелку с бокалом. Племянница отца Милле тоже исправила траекторию и все так же без видимой причины двинулась за ним, словно во сне.

— Ну, профессор, — прорычал Эдвардс, обращаясь к Понтье, но не спуская глаз с племянницы, — что скажете? Взял и переметнулся!

— Ну да, ну да, — с воодушевлением начал Понтье, одарив Леонтьева нервной близоручкой улыбкой.

— Позор! — прервал его Эдвардс. — Получится скандал и один вред.

— Несомненно, — сказал Понтье. — С другой стороны...

— Почему же, по-вашему, — вновь оборвал его Эдвардс, на этот раз напрямую обращаясь к племяннице с настойчивостью экзаменатора, пытающего студента, — почему же, по-вашему, люди совершают подобные глупости?

Племянница отца Милле как будто очнулась от сна, в котором отчаянно скучный молодой человек приставал к ней со своей любовью. Ее ресницы медленно разомкнулись, как тяжелый занавес, худые голые плечи приподнялись с ленивым недоумением.

— Почему бы и нет? — молвила она с пленительной вялостью.

— Что «почему бы и нет»? — подросла мадам Понтье. — Она шпионила за группой еще из Голубого салона, пока беседовала с американским выпускником, после чего заторопилась на поле брани, дабы помешать мужу занять слишком философскую позицию по отношению к Леонтьеву вместо решительных действий, диктуемых обстановкой. Молодой американец, именовавшийся Альбертом П. Дженкинсом-младшим, последовал за ней, не выпуская из рук коктейля. Хрупкое равновесие между скромностью и самоуверенностью сдвинулось у него, пусть незначительно, в сторону последнего. Окинув племянницу отца Милле, у которой сползла с плеча бретелька, скользким взглядом, в котором сочетались удивление и вожделие, он, воспользовавшись тем, что охотника ответить на вопрос мадам Понтье не находилось, собрал в кулак всю свою смелость и звонко произнес:

— Позвольте поздравить вас, сэр, с храбрым поступком.

На непродолжительное время все лишились дара речи. Нервная улыбка Понтье свидетельствовала о гуманной терпимости, косматая грива Эдвардса встала дыбом, Дженкинс-

младший робко теревил Леонтьеву руку, сам же Леонтьев, впервые за долгие часы вспомнив о силе насупленного взгляда, принял поздравление с легким, полным достоинства кивком. Теперь на них были обращены взгляды присутствующих — всех до единого. Мадам Понтье набрала в легкие побольше воздуха, и последовал взрыв.

— Чудесно, — сказала она грудным голосом, водрузив руку на плечо племянницы отца Милле, словно стремясь защитить ее от вредоносного излучения, испускаемого Леонтьевым. — Чудесно! Всего час назад покинул свою футбольную команду, а ему уже предлагают место в другой. Только не забудьте, — продолжила она медленным, нарочито оскорбительным тоном, обращаясь теперь непосредственно к Леонтьеву, — научиться жевать резинку и плевать в негра, только его завидев. В противном случае вам не бывать Героем Культуры в Нью-Йорке.

— Ладно, ладно, Матильда, — успокоительно произнес Понтье, извиваясь своим изможденным туловищем, как заклинатель змей, пытающийся усмирить кобру. Первым побуждением Леонтьева было развернуться и покинуть эту группу с достоинством делегатов от Содружества на международной конференции, обнаруживших, что голосование прошло не в их пользу; но потом он решил, что лучше стоять до последнего.

— Странно, — произнес он, изучая классические, но слегка увядшие черты мадам Понтье, — я часто слышал такие слова по нашему радио, но то было для внутреннего потребления — «для отсталых масс», как у нас говорят.

— Обожди, Матильда, — заторопился не на шутку расстроенный Понтье. — Видите ли, — с жаром принялся он втолковывать Леонтьеву, — уже Гегель указывал на противоречие между принципом, согласно которому в случае убежденности в своей правоте следует действовать, невзирая на последствия, и вторым, не менее обоснованным принципом, по которому возможные последствия действий являются единственной мерой их правильности. С этой точки зрения вы, несомненно, причинили большой урон делу прогресса и укрепили позицию реакционеров...

Геркулес воспользовался возможностью, которой давно дожидался. Наклонившись со своей невообразимой высоты к племяннице отца Милле, он пророкотал с хитрецей в глазах, подобно медведю, вынюхивающему мед в улье:

— Может, пойдемте выпьем шампанского в баре, а?

Племянница отца Милле с видимым усилием приподняла ресницы, бросила взгляд на молодого американца, внимательно вслушивавшегося в спор, выскользнула из-под руки мадам Понтье и, произнеся свое «почему бы и нет?» с обиженным выражением на личике, незаметным движением поправила бретельку, восстановив тем самым правильные, заостренные очертания своего бюста и направилась к бару — хрупкий буксир, тянущий за собой громадный океанский лайнер. Мадам Понтье снова заговорила с Леонтьевым, только на этот раз предпочла перенести атаку с личных проблем на фронт обобщений, не состоящих в очевидной связи с темой спора:

— Вам кажется, что вы в свободной стране, и вы словно не замечаете, что оказались в стране под иностранной оккупацией, в стране, превращающейся в колонию. — В ее голосе слышалась тлеющая страсть. — Вы не можете войти в ресторан, чтобы не наткнуться гам на кучу американцев, ведущих себя так, словно они здесь хозяева. Они суют официанту гигантские чаевые и завладевают его вниманием, в то время как к посетителям-французам он относится, как к мусору под ногами. Скоро дойдет до того, что ни один уважающий себя француз не станет появляться в общественном месте — придется сидеть дома, за запертыми дверями, как в осажденном городе...

Молодой американец, стоящий подле Леонтьева, озабоченно протирал свои очки в роговой оправе.

— В соответствии с исследованием, проведенным Чикагским университетом, — обратился он к мадам Понтье извиняющимся голосом, — восемьдесят два процента американского населения совершенно не возражают против шума. Из оставшихся восемнадцати процентов тех, кто избегает шума, две трети страдают психоневрозами. Американский народ не научился пока развлекаться под сурдинку. Согласно последнему гарвардскому бюллетеню по социальной антропологии, для обучения этому искусству надо, чтобы три с половиной поколения людей выросли в преуспевающих семьях.

— Замечательно! — подхватил профессор Понтье. — По-моему, статистические подсчеты могут существенно помочь взаимопониманию между людьми. Кроме того, не забывай, дорогая, что нам нужны туристы с долларами...

— Туристы!... — взорвалась мадам Понтье. — Необходимая помеха. Я говорю не о туристах, а об их военных миссиях, пропагандистских учреждениях и тому подобном — о колониальной администрации, превратившейся в наше подлинное правительство и низведшей нас до уровня аборигенов. Вот вы — турист? — Она повернулась к Альберту П.Дженкинсу. — Даю голову на отсечение, что нет. Уверена, что вы приписаны к какому-нибудь штабу и воображаете, что прибыли спасать нас от кровожадных дикарей-азиатов.

Молодой человек, закончив полировать очки, водрузил их на нос, удостоверился, что его труд все равно далек от совершенства, и снова принялся тереть стекла носовым платком.

— На самом деле, — пустился он в объяснения, снова стора от смущения, — я приехал с задачей, связанной с проектом объединения и преобразования американских воинских кладбищ категорий А и В. А — это убитые в Первой мировой войне, В — во Второй. Идея заключается в том, чтобы преобразовать их в Парки упокоения калифорнийского типа — с постоянно звучащей по громкоговорителям музыкой, подсвеченными фонтанами, кипарисами и так далее. Но существуют опасения, что местное население проявит недовольство привилегированным способом захоронения погибших иностранцев. Поэтому мне поручено провести опрос жителей сельской местности поблизости от участков, где могут располагаться такие захоронения, с целью выяснения обоснованности этих опасений. Кроме того, кое-кто в Вашингтоне считает, что есть смысл заранее позаботиться о категории С, чтобы в следующий раз не пришлось трудиться и тратить деньги, снова начиная все заново...

— В следующий раз! — вскричала мадам Понтье. — Вы слышали, гражданин Леонтьев? В следующий раз... — Теперь в ее голосе отчаяние потеснило страсть. — Что вы знаете о последнем разе, молодой человек? А о предпоследнем? Что значит нашествие, бомбежки, оккупация? О, конечно, кое-кто из ваших приятелей расстался с жизнью в Нормандии и Фландрии вместо того, чтобы погибнуть с перепою в автомобильной катастрофе. Но не рассказывайте мне, что они сделали это из любви к нашим голубым глазам. Что знали они о Франции? Бордели, «Фоли Бержер», Эйфелева башня. Не будем сентиментальны — они явились на схватку частично из любви к схватке — «спорта ради», как вы говорите, а частично потому, что Уолл-Стрит не мог смириться с потерей Европы как рынка сбыта...

— Что ты, Матильда, — воззвал к ней Понтье умоляющим голосом, — этот вопрос не следует обсуждать в таком эмоциональном стиле. В конце концов...

Но мадам Понтье не обратила на него внимания. Она как будто забыла и о присутствии Леонтьева, обращаясь исключительно к Дженкинсу-младшему.

— Вы думаете, хоть кто-нибудь во Франции желает еще одного освобождения по-американски?

Молодой Дженкинс внезапно ощутил себя мальчишкой в бакалейной лавке, напутавшим в счете и столкнувшимся с разъяренной парижской домохозяйкой.

— Думаете, — не унималась мадам Понтье, — мы забыли ваши воздушные налеты, сеявшие больше разрушений, чем армия неприятеля? И ваших пьяных солдат, насилующих наших девушек, расплачивающихся с ними сигаретами и чванящихся, будто они — знатоки Франции? Мой милый юноша, не нужны никакие опросы общественного мнения, чтобы понять, что народ Франции имеет только одно желание — чтобы его оставили в покое...

Юный американец нервно теребил очки.

— Да, конечно, мадам, — уважительно сказал он. — Вопрос лишь в том, оставили бы вас в покое, если бы мы не...

— Вот и не надо, — прервала его мадам Понтье, охрипшая от крика. — Воюйте где-нибудь в другом месте — вот и все, о чем мы вас просим.

Американец повернулся к Леонтьеву.

— Считаете ли вы возможным, сэръ, чтобы Европа осталась ничейной землей?

— Нет, это невозможно, — ответил Леонтьев. — Природа не терпит пустоты.

— Удивлена вашей умеренностью, гражданин Леонтьев, — саркастически прокомментировала мадам Понтье. — Я думала, вы сообщите нам, что без защиты со стороны этого юноши, армия Содружества немедленно рванется к Атлантическому побережью.

— Так и будет, — сказал Леонтьев. — Я полагал, что это и так всем известно.

Казалось, мадам Понтье в очередной раз возмутится. Но она лишь нетерпеливо пожала плечами и убежденно произнесла:

— Не верю. Что бы ни говорили вы и вам подобные, я отказываюсь в это верить. Но если бы пришлось выбирать, я бы лучше сотню раз сплясала под балалайку, чем один раз — под скрежет музыкального автомата.

— Я не допускаю, — запротестовал Понтье, — я не допускаю такого фаталистического взгляда на неизбежность выбора. Я протестую и буду до конца протестовать против навязывания того, что Гегель называет «ложной дилеммой». Я отказываюсь... — Его передернула судорога, как марионетку, закрутившуюся на ниточке.

— Ладно, Понтье, успокойся, — устало произнесла мадам Понтье. — Сын Понтье от первого брака погиб на войне, — объяснила она. — Если на то пошло, я потеряла там двух братьев. Вот вам объяснение, почему ни одна французская семья не жаждет нового Освобождения... Существует немало пустот, и мы заполняем их иностранным материалом — поляками на севере, итальянцами на юге. Скоро заплат окажется больше, чем первоначальной ткани... — Теперь ее голос звучал равнодушно, и она незаметно посматривала на племянницу отца Милле, устроившуюся у бара и не оказывающую сопротивления медвежьим ухаживаниям лорда Эдвардса. Возможно, на нее повлияло дезертирство племянницы, или сказала общая безнадежность открывающихся перспектив, но ее голос приобрел иное, крайне нетерпеливое звучание:

— Но все это — одна трескотня; Европа — маленький полуостров на краю Азии, а Америка — остров, затерянный в океане. Какой толк перечить географии? Вы никогда не поспеете вовремя, чтобы спасти нас. Все, на что вы способны, — это готовить наше освобождение с помощью новых игрушек, которые сотрут с лица Земли все, что к тому времени еще останется на ней... Кроме того, жертва насилия обычно боится непрощенных спасителей. Да кто вы такие, чтобы восстанавливать нашу добродетель? Знаем мы этих благочестивых сахарных дедушек, залезающих вам под юбку, пока вы читаете им Библию...

— Но, Матильда, — прервал ее Понтье в крайнем возбуждении, — не в этом же суть! Несмотря на...

— Суть в том, — отчеканила Матильда Понтье с откровенностью дикарки, впавшей в отчаяние, — суть в том, что при неизбежности насилия можно, по крайней мере, постараться обратить его себе на пользу, убедив себя, что насильник — мужчина вашей мечты; если же от него несет чесноком — что ж, это ваш излюбленный аромат. Для чего же еще изобретена диалектика?

— Не совсем вас понимаю, — сказал американец, вновь принимаясь за очки.

— Ничего, молодой человек, продолжайте свои обследования и неделикатные расспросы. Возможно, они познакомят вас с фактами жизни. Нам, европейцам, не требуется столько статистики, чтобы постичь их; нам слишком часто запикивали их в самую глотку. Да и вообще, — неожиданно свернула она разговор, окончательно утомившись, — вы — измывающаяся над неграми, полудивилизованная нация, которой управляют банкиры и гангстеры, тогда как ваши оппоненты покончили с капитализмом, и в их головах есть хоть какие-то идеи. Так что...

Она повернулась на каблуках и, вынув из сумочки миниатюрное зеркальце, решительно щелкнула замочком и направилась в пустой угол бара, где принялась изучать свое лицо, определенно не находя в этом зрелище ни малейшего удовольствия, и приглаживать прическу, то есть классический узел на макушке. Затем она подозвала официанта и попросила минеральной воды.

Ни она, ни трое мужчин, которых она оставила стоять у подоконника, не заметили внезапной

перемены в царящей вокруг атмосфере — любопытного шепота, прошелестевшего сначала по Голубому салону, а потом проникшего в столовую и начавшего перебегать там от одной группы беседующих к другой. Несколько человек покинули буфет и направились в гостиную, откуда уже раздавался чей-то озабоченный голос. Их примеру последовали и остальные, и вскоре в столовой не осталось никого, кроме четы Понтье, молодого американца, озабоченного проектом воинских кладбищ, и Леонтьева. Чета вовлекла американца в очередной спор, Леонтьев же, давно переставший к ним прислушиваться, просто глядел в пространство. В его мозгу царил приятная пустота, время от времени нарушаемая смутным беспокойством о том, что ему негде провести ночь. Однако это была какая-то далекая, почти не имеющая к нему отношения тревога, ибо официант все так же кружил неподалеку с полными бокалами шампанского на подносе. Все вокруг было затянуто мягкой, сонной дымкой, так что он даже не удивился, когда поэт Наварэн в сильнейшем возбуждении влетел в столовую и, увидев Леонтьева, направился напрямик к нему. Ангельская улыбка пропала, лицо поэта было очень бледным.

— Леонтьев, — произнес он странным, полузадушенным голосом, — Леонтьев, вы еще не слышали? Умер Отец Народов.

## ИНТЕРЛЮДИЯ

С некоторых пор установилась необычная погода. Сперва в сводках говорилось попросту о «самом жарком 2 сентября после 1885 года», «самом сильном шторме в Атлантическом океане за 27 лет» и так далее, то есть сообщались данные, собранные бородачами из Метеорологического бюро, именовавшимися «метеостатистиками», единственной жизненной амбицией которых было объявить 15 июля «днем сильнейшего снегопада за все время наблюдений»; хотя, возможно, среди них была и оппозиционная фракция, жаждущая наступления «15 июля, целиком совпадающего со среднестатистическими значениями» и «самого нормального лета после 1848 года». Можно было предположить, что фракции, именовавшиеся, соответственно, «группой Апокалипсиса» и «нормальными», ненавидят одна другую с не меньшим идеализмом и ядом, чем соперничающие политические партии, философские школы, правительственные учреждения или литературные группировки.

На этот раз сторонники Апокалипсиса одерживали одну победу за другой и определенно брали верх в подсчете очков. За «самым жарким 11 сентября с 1852 года» и «самым жарким сентябрьским днем за все время после 1852 года» последовал «самый теплый сентябрь за все время наблюдения». К этому времени ежедневная сводка погоды переместилась с традиционного местечка внизу последней страницы в шапку первой полосы. Бородатые метеорологи торжествовали и начинали подумывать об ордене Почетного легиона или пэрстве Британской империи, ибо, подобно удачливым игрокам в рулетку или обладателям выигрышного лотерейного билета, питали надежду, что столь сенсационная погода — каким-то таинственным образом дело их рук.

Их восторг, однако, мало кто разделял. Жара и засуха (вызванная самым скудным количеством осадков в сентябре месяце после 1866 года) погубили поздние всходы, выжгли знаменитые английские лужайки и оставили без воды многие гидроэлектростанции. Это привело к обычным в таких случаях катастрофическим последствиям: возваниям властей о необходимости экономить воду и электричество, снижением подачи энергии для промышленных нужд и т.д. Европейское население, приобретшее за последние несколько лет аллергию на любые виды рационарования, экономии и увещевания, взволновалось и стало внимательно следить за погодой. В небо поднялись бесчисленные самолеты и вертолеты, пытающиеся вызвать дождь путем рассеивания нитрата серебра и сухого льда над крохотными облачками, забравшимися высоко в тропосферу, но все, чего они добились, — это гроз местного значения и несчастных случаев в собственных рядах, ибо распыляемые ими химикалии вызывали порой могучий атмосферный чих. Газеты наполнились предположениями о солнечных пятнах, одиннадцатилетних циклах и магнитных возмущениях, в то время как невежественные головы пухли от слухов о загадочных последствиях последних испытаний атомной бомбы и радиоактивных облаках. Слухи подпитывались противоречиями, возникшими между американской прессой и газетами Содружества на предмет недавнего испытания в Уральских

горах.

Это был необычайный, воистину гигантский взрыв, волны от которого были зарегистрированы сейсмографами доброй половины Земного шара. После взрыва в воздухе повисло не менее циклопическое и плотное облако официального молчания со стороны Содружества. Прошла целая неделя, прежде чем в лаконичном заявлении Агентства новостей Содружества было в примирительных тонах упомянуто о взрыве самой мощной бомбы в порядке обычных испытаний и об «удовлетворительных результатах». Однако почти одновременно с этим сообщением Государственный департамент США снабдил прессу серией фотографий. Фотографии были сделаны неким капитаном Богаренко из ВВС Содружества, совершавшим высотный разведывательный полет над участком испытаний и впавшим от увиденного в такой шок, что решение «уйти в Капую» было принято им без дальнейших размышлений. Он полетел в южном направлении и после дозаправки в Аральске и Ташкенте перелетел в Персию, где поспешил к американским дипломатам.

На фотографиях не было заметно особых ужасов. Панорама, снятая с большой высоты, являла взору симпатичную долину, окруженную горными вершинами, и кратер средних размеров в самом центре. От кратера расходились плохо заметные концентрические круги, так что вся картина напоминала вулканическую местность с птичьего полета, хотя круги, очевидно, обозначали зону разрушений. Однако под увеличительным стеклом становились различимыми объекты правильной формы, которые и привлекли внимание капитана Богаренко, заставив его снизиться, несмотря на грозные приказы и опасность облучения. Остальные фотографии, сделанные со средней и низкой высоты, содержали объяснение бегства Богаренко за границу. Испытание было произведено примерно в центре большого современного промышленного города с немалым населением. Судя по количеству и размеру домов, там проживало, по меньшей мере, 500 тысяч человек.

Хотя устояли лишь немногие дома, было ясно видно, что это недавно построенные сооружения из железобетона: квадратные и продолговатые, напоминающие формой кирпичи, с подстанциями, трансформаторами и линиями электропередачи; иными словами, это были лаборатории и заводские корпуса. Весь город имел геометрически правильную полукруглую планировку, из чего следовало, что он проектировался и строился с определенной целью.

Капитан Богаренко, при всем своем добродушии и энергии не отличавшийся острым умом, пришел за время кружения над мертвым городом к заключению, что все строительство, переселение людей и оснащение всем необходимым выполнялось с единственной целью последующего разрушения в экспериментальных целях. Даже сочтя такой размах неоправданным расточительством и жестокостью, он был готов отнестись к нему вполне безразлично и улететь прочь, ограничившись пожатием плечами, как случалось и раньше, когда ему приходилось сталкиваться с не менее странными решениями его правительства; энергичное пожатие плечами, в котором участвовала вся верхняя половина его туловища, вообще было характернейшим движением капитана Богаренко. Однако, снизившись до уровня крыш, он заметил, что здесь и там среди обгоревших трупов еще ползают живые люди. Видимо, их привлек шум двигателей, и они пытались привлечь внимание пилота, но их жесты показались последнему какими-то нелепыми, ибо все до одного из замеченной им дюжины ползали на четвереньках, не будучи в состоянии подняться на ноги. Определить, впали ли они в безумие, ослепли, страдают от страшной боли или первое, второе и третье одновременно, не представилось возможности; как бы то ни было, от такого зрелища у Богаренко поползли по коже мурашки, и он счел за благо направить самолет в сторону Персии, «временно впав в неуравновешенное состояние», как любят выражаться английские коронеры, вынося вердикт о причинах самоубийства. Лишь когда было уже поздно что-либо изменить — ибо он уже передал фотографии, снабдив их не очень-то связным рассказом, — до него дошла истина.

Истина заключалась, конечно же, в том, что город не был разрушен преднамеренно, а взлетел на воздух случайно. Как неопровержимо свидетельствовали фотографии, это был даже не город, а громадное сборочное предприятие для изготовления атомных бомб и, возможно, какого-то другого экспериментального оружия, специально построенное в самом недоступном месте Уральской гряды. Американские власти знали с некоторых пор о его существовании, но скрывали это. Никто и представить себе не мог, что правительство Содружества станет преднамеренно уничтожать свое новейшее и крупнейшее достижение на пути к Миру через Силу. Видимо, капризные ядра просто отбились от рук, или же кто-то из физиков решил, что правильнее всего будет подорваться вместе с

заводом. Что бы там ни произошло, это стало, выражаясь языком статистиков-метеорологов, «крупнейшим взрывом за весь период наблюдений» и крупным потрясением для Содружества.

После обнаружения фотографий, Содружество хранило молчание еще целую неделю. Затем взорвалась еще одна бомба, на этот раз в переносном смысле, — дипломатическая. Она свалилась в форме официального коммюнике Содружества, адресованного всему миру. В нем сообщалось, что «Правительственная комиссия Содружества по изучению причин недавнего взрыва на территории Автономной Республики Казахстан» обнаружила неопровержимые доказательства того, что взрыв был вызван мощной ядерной бомбой американского производства, сброшенной с самолета, принадлежащего вооруженным силам «враждебной державы». Этот беспрецедентный акт преступной агрессии привел к гибели «десятков тысяч мужчин, женщин и детей», трудившихся на мирной ирригационной стройке, призванной превратить голые горные склоны в цветущие виноградники и хлопковые плантации. Правительство Содружества Свободолюбивых Народов оставляло за собой право принять все необходимые меры для самозащиты и отражения поползновений враждебной державы, ответственной за этот трусливый акт необъявленной войны. В порядке меры предосторожности объявлялась частичная мобилизация Вооруженных сил и закрытие границ для всех видов транспорта, телеграфной и телефонной связи.

В тот же день пресса Содружества опубликовала мелким шрифтом короткое сообщение о том, что директор Агентства новостей Содружества, выпустившего первое коммюнике об «успешном испытании» арестован за публикацию «ложной информации, касающейся причин взрыва», и уже сознался в совершенном преступлении.

Естественно, новые разоблачения, о которых поведало правительство Содружества, вызвали взрыв возмущения, панику и беспорядки на обоих полушариях. Всеобщие забастовки во Франции и в Италии сопровождались невиданными демонстрациями под лозунгом «За мир!», столкновениями с полицией, превращением в стеклянное крошево окон в нескольких консульствах США и преданием огню прямо в порту нескольких партий американского апельсинового сока. Ультралевые организации Франции требовали немедленного суда над президентом США как военным преступником. Консервативные газеты предлагали объявить Европу нейтральной территорией и выдвигали идею встречи американского президента с новым Отцом Народов для обсуждения проблемы укрепления мира. Прогрессивная организация борцов за мир призвала устроить сбор средств в помощь уничтоженному городу в качестве жеста доброй воли международного масштаба. Призыв встретил самый горячий отклик; из всех стран мира потекли деньги и подарки, подобные ритуальным подношениям, предназначенным для улаживания богов и утихомиривания их ярости. Поскольку благотворительность всегда сопровождается вспышками симпатии и доброжелательства, Содружество вошло у мировой общественности в самый высокий фавор за последние годы: даже его заклятые враги вынуждены были признать, что его лидеры, в данном случае, проявили необыкновенную выдержку, не начав немедленно войну.

Правительство Соединенных Штатов, естественно, выглядело в этой ситуации весьма плачевно. Чем больше оно повторяло: «Мы не делали этого», тем больше его начинали подозревать даже ярые сторонники. Дело ухудшила неосмотрительность одного охочего до внимания прессы сенатора, главы одной из комиссий по ассигнованиям, важно заявившего в телевизионном интервью: «Я знаю, что наша совесть чиста — это неоспоримый факт. Это сделал кто-то другой». Подобное заявление выбило почву из-под официальной версии (которой к этому времени и так никто не верил) о том, что взрыв был случайностью. «В плановой социалистической экономике случайности исключаются», — указал новый Отец Народов в своей четырехчасовой речи, два часа из которой были посвящены уничтожающе-ироничным комментариям к основным историческим событиям в свете предлагаемой Государственным департаментом «теории случайностей». «Несомненно, что отныне всех детей в так называемых школах так называемых Соединенных Штатах будут учить, что Брут случайно убил Цезаря (смех), что император Нерон случайно поджег Рим (смех), что Тит случайно уничтожил Иерусалим (смех), что турки случайно завоевали Константинополь (смех)» и так далее. Когда он дошел до случайного поджога Москвы Наполеоном и случайного уничтожения этого воителя русским воинством, аудитория уже изнемогла и буквально охрипла от хохота. Отныне ни один прогрессивно мыслящий человек не упомянет «теорию случайностей», не залившись краской стыда; само слово «случайность» стало международной шуткой.



Обстоятельства сложились так, что это было первое публичное выступление нового Отца Народов, и оно внесло новую, поистине сенсационную ноту: публика с радостью обнаружила, что на смену несколько монотонному и поучающему стилю его предшественников пришел тонкий юмор, прогремевший вскоре как «Социалистический Сарказм на Службе Мира». Почти немедленно Социалистический Сарказм превратился в главенствующий стиль жизни Содружества, его литературы и искусства. Пресса Содружества запестрила портретами Серафима Панферовича Полушкина, стахановца сарказма, произнесшего за один час пятьсот сорок семь саркастических замечаний; многие редакторы, художники и романисты лишились мест и подверглись общественному осуждению «за недостаток внимания к борьбе на фронте Социалистического Сарказма». Но все это веселье не в силах было поколебать тот факт, что люди с минуты на минуту ждут начала войны и внимают потоку Социалистического Сарказма с лязгающими от страха зубами.

Государственный департамент выступил с запоздалым предложением о созыве международной комиссии экспертов для расследования причин катастрофы и ознакомления всего мира со своими заключениями. Ко всеобщему облегчению правительство Содружества немедленно согласилось на это предложение. Совет Безопасности, не собиравшийся уже несколько лет, был поспешно воскрешен для разработки надлежащей процедуры. Однако дебаты затянулись, ибо двум противостоящим сторонам никак не удавалось прийти к согласию по тексту резолюции. Резолюция, предложенная США, гласила, что «правительственные органы Содружества обязаны предоставить всю имеющуюся информацию и тесно сотрудничать с Комиссией с целью облегчения расследования на месте происшествия»; резолюция Содружества, в свою очередь, настаивала, что «правительственные органы Содружества обязаны предоставить всю имеющуюся информацию и тесно сотрудничать с Комиссией с целью облегчения расследования». Первым голосовался проект Содружества; однако, хотя разница между двумя текстами исчерпывалась тремя словами, США и их сателлиты проголосовали против, в связи с чем делегация Содружества возмущенно вышла вон. Таким образом, правительство США еще раз предстало в глазах прогрессивной общественности мира как саботажник дела мира и взаимопонимания между народами.

В тот самый момент, когда напряженность стала воистину невыносимой, правительство Содружества выступило с новым коммюнике, вызвавшим в мире волну изумления и вздох облегчения. В нем говорилось, что Комиссия экспертов Содружества закончила изучение причин недавнего взрыва на территории Автономной Республики Казахстан и подтвердило свое прежнее заключение, согласно которому «причиной взрыва послужила мощная атомная бомба американского производства, сброшенная с самолета, принадлежащего Вооруженным силам враждебной державы». Однако Комиссия нашла дополнительные и неопровержимые свидетельства, позволившие определить, какой именно враждебной державе принадлежал самолет: ею оказалась Кроличья республика. Главным доказательством послужило обнаружение, арест и последовавшее признание самого летчика, совершившего по приказу своего правительства этот трусливый преступный акт. Утратив вслед за сбрасыванием бомбы управление самолетом, он благополучно приземлился на парашюте в безлюдном районе Урала и после нескольких дней блужданий в горах был арестован патрулем Службы безопасности Содружества, причем среди его бумаг все еще находился письменный приказ о бомбардировке и подробная карта местности. При аресте летчик заявил: «Признаюсь в совершении преступления против человечности по приказу моих преступных командиров и желаю очистить совесть, дав полные показания о дьявольских махинациях моего правительства против Содружества Свободолюбивых Народов». Открытый процесс над летчиком должен был начаться через несколько дней.

Как уже говорилось, весь мир громогласно издал вздох небывалого облегчения. Вздох полностью заглушил слабый протестующий писк правительства Кроличьей республики, которое было немедленно свергнуто и заменено членами Объединенной партии мира и прогресса. В ответ на просьбу нового правительства предоставить помощь и защиту от внутреннего врага, все необходимое было щедро предоставлено еще до поступления просьбы, США же и их сателлиты с удовольствием принялись строчить на фирменных бланках свои привычные ноты протеста, чем дело и кончилось.

Фирменные бланки для нот протеста, недавно поступившие в пользование дипломатам и несказанно облегчившие труд разнообразных канцелярий, были скопированы с формуляра отчета об автомобильной аварии, применяемого страховыми компаниями. Несколько высокопарные формулировки, отработанные для различных видов страхового случая, красовались на бланках

радующим глаз курсивом, так что от руки требовалось заполнить только графы для даты, существа и места якобы имевшего место нарушения договора, потерпевшей стороны или нарушенных статей законодательства. Имелось пять категорий нот: F (дружественная), C (холодная), S (острая), G (серьезная), G2 (очень серьезная) и GS2 (серьезная и очень острая). Как правило, дипломатические осложнения состояли в обмене бланками протестов — как единичными, так и в полном диапазоне, от F до GS2; к тому времени, когда наступал черед G2 или GS2, событие, вызвавшее первоначальный протест, превращалось в принятый всеми *fait accompli* <sup>17</sup>. Путанные закодированные инструкции, направлявшиеся в былые времена правительствами своим посланникам, были теперь низведены до уровня лаконичных депеш, черпавших лексикон из популярной карточной игры, причем чаще всего звучало указание «срежь его через одно».

Итак, небо расчистилось, но лишь в фигуральном смысле. Настоящее облако — то, которое выглядело на фотографии капитана Богаренко как хитро закрученная спираль, свернувшаяся, подобно змее, над мертвым городом, — продолжало лишать людей покоя. Рассеется ли оно, расширится или улетит восвояси? А если улетит, то в каком направлении? Несмотря на бодрые высказывания экспертов, высмеивавших страхи, будто радиоактивное облако, замеченное больше месяца назад над Уралом, может повлиять на климат Западной Европы, суеверное общественное сознание продолжало усматривать загадочную связь между супер-взрывом и необычной погодой.

Наконец, 2 октября самые теплые осенние деньки за всю историю наблюдения за погодой окончились. Хлынул обильный дождь, температура упала до нормы, метеорологи-статистики из фракции «нормальных» повыползали из нор и принялись доказывать, что если начинать отсчет от последнего зимнего солнцестояния, то сумма осадков и средняя температура в тени будут ближе к идеальным средним значениям, нежели когда-либо после 1903 года. К несчастью, спустя две недели после первого дождя среди общественности, и так уже страдающей нервным расстройством, стала сеять новую тревогу донныне незнакомая форма гриппа. Болезнь чаще всего протекала следующим образом: сперва трехдневное недомогание с обычными симптомами простуды, сопровождаемое, правда, повышением температуры. Затем как будто наступало выздоровление, и так продолжалось десять-пятнадцать дней, причем пациент ощущал в этот период прилив возбуждения, словно под воздействием наркотика. Третья, последняя фаза характеризовалась рвотой, невыносимыми головными болями и нарушениями зрения невралгического характера: поле зрения пациента словно разрезалось пополам по горизонтали или по вертикали; в одной половине все оставалось нормальным, во второй же становилось размытым и искаженным или вообще пропадало. Эти симптомы тоже наблюдались от десяти до пятнадцати дней, после чего, как утверждали все переболевшие, наступало полное выздоровление. Смертность от новой болезни оставалась низкой, а в тех немногих случаях, когда смерть все-таки наступала, ее вызывали либо осложнения, либо общая слабость организма.

К сожалению, одним из первых заболевших новым гриппом был капитан Богаренко, который, как выразился американский телекомментатор, «проглотил больше супа из редиски <sup>18</sup>, чем любой другой человек на Земле». Это породило новую волну суеверных слухов, столь упорных и широкоохватных, что очередную эпидемию окрестили «болезнью Богаренко», как ни протестовали светила медицинского мира, утверждавшие, что радиоактивное заражение никак не может вызвать подобной симптоматики. Вскоре Кроненбергу и Диетлу из Института Джонса Хопкинса удалось выделить вирус «болезни Богаренко»: оказалось, что это вирус с нетрадиционным поведением, вызванным бесконечными антибиотиками и необходимостью сопротивляться им путем выработки устойчивых штаммов. Таким образом, необоснованность обывательских страхов была вновь доказана самым убедительным образом.

Несмотря на это, обыватель продолжал нервничать и испытывать страх; страх еще больше усилился, когда в начале ноября предусмотрительное британское правительство решило бесплатно снабдить каждого обладателя карточки Государственной Регистрации карманным счетчиком Гейгера и противорадиационным зонтиком. Как объяснил министр внутренних дел в первом из серии радиообращений, эта чисто профилактическая мера была направлена на то, чтобы приучить

---

17

18

население к мышлению в терминах современной войны и внушить ему чувство уверенности и безопасности. «Все вы помните, — сказал он в заключение, — каким дьявольским неудобством было таскать противогазы всю последнюю войну, хотя возможности воспользоваться ими так и не представилось. Надеюсь, что и эти новые игрушки окажутся столь же бесполезными. Тем не менее рассчитываю, что вы станете держать их под рукой и в должном состоянии, хотя бы потому, что они стоили немалых денег, а деньги эти уплатил, в конечном счете, налогоплательщик, то есть вы сами».

Эта речь вызвала гневные протесты со стороны епископов и других служителей церкви из-за беспрецедентного использования слова «дьявольский» по радио. «Где мы окажемся, — писал архиепископ Кентерберийский, — если министры кабинета станут подавать нации примеры сквернословия?» Вопрос рассматривался в Палате общин, причем несколько молодых лейбористов пытались защитить речь министра на том основании, что выражения вроде «дьявол», «пошел к дьяволу», «какого дьявола» так прочно укоренились в американской разговорной речи и, следовательно, в художественной литературе, что их вряд ли можно продолжать числить как примеры сквернословия. «У нас не Америка», — ответило несколько голосов сразу. В конце концов извиняться пришлось и министру внутренних дел, и Британской радиовещательной корпорации; все были удовлетворены, и история быстро забылась.

К Франции это, однако, не относилось: там несколько предприимчивых частных фирм развернули производство счетчиков Гейгера и противорадиационных зонтиков и принялись активно ими торговать. В отличие от громоздких, неудобных британских счетчиков, походивших на дедушкины карманные часы на цепочке, французские модели напоминали перьевые ручки (для мужчин) и губную помаду или пудреницы (для женщин). Одна фирма даже выпустила их в виде браслетов для надевания на лодыжки, которым полагалось щелкать, как кастаньетам, при регистрации радиоактивности. Что касается солнечных и дождевых зонтов — тут моделям и расцветкам не было предела, а поскольку действие этих зонтиков зависело от встроенной электросхемы, которой полагалось поглощать или отталкивать зараженные частицы, то логика подсказала использовать ток одновременно для питания встроенного радиоприемника.

Никогда еще бульвары не приобретали столь очаровательного вида, как в эти солнечные дни конца ноября, когда толпы гуляк шествовали под кокетливыми зонтиками, сопровождаемые приглушенным музыкальным щебетом радиовещания, напоминая движущиеся фигурки на циферблате музыкальных часов. Мало кого волновало, что чувствительные счетчики постоянно попадали впросак и показывали смертельные дозы радиации всякий раз, когда поблизости начинал работать пылесос или холодильник. Зонтики, со своей стороны, упорно заряжали своих хозяев статическим электричеством, разряжавшимся в виде трескучих молний при рукопожатиях, поцелуях и прочих телесных соприкосновениях. Для карикатуристов и поэтов-песенников это было, разумеется, подарком с небес; на первое место в хит-параде сезона вышла песенка «Мое радиоактивное тело».

Вскоре, однако, зазвучали знакомые скрипучие голоса протестующих с левого фланга. Профессиональные противники наслаждения и риска, вечно не дающие людям спокойно поразвлечься, заголосили, что «массы» не в состоянии позволить себе столь дорогих игрушек и остаются вследствие этого беззащитными, выживание же превращается в роскошь, доступную только для привилегированной буржуазии. Одновременно они утверждали, что эти безделушки, сбываемые доверчивой публике, совершенно бесполезны, что несколько подрывало силу предыдущего довода: ведь если они были настолько неэффективными, то богатые и бедные оказывались в одной лодке, что вело к восстановлению справедливости и демократии. Затем разразился знаменитый «скандал с зонтиками»: разоблачение того обстоятельства, что одним из главных держателей акций компании «САПАР»<sup>19</sup> оказался министр обороны — радикальный социалист. Правительство было вынуждено подать в отставку, начались забастовки и демонстрации; наконец, новое правительство торжественно обещало, что станет бесплатно раздавать всем гражданам счетчики Гейгера и противорадиационные зонтики самых надежных моделей, как только начнутся их поставки в необходимых для этого количествах. Однако в ответ независимые и зависимые левые снова подняли крик: оказывается, это заявление правительства является наглядным доказательством его воинственной, агрессивной политики, обслуживающей интересы банкиров с

Уолл-Стрит. Умеренные левые меланхолично сожалели о том, что правительство разбазаривает национальные ресурсы на столь непродуктивные цели вместо того, чтобы сосредоточить усилия на повышении жизненных стандартов, в то время как крайне левые подбивали массы отказаться от зловещих игрушек империалистических поджигателей войны, чтобы не превратиться в сообщников их агрессивных замыслов. Однако все эти противоречия оставались на уровне теории, ибо первая же партия заказанных правительством счетчиков и зонтиков была тут же съедена «черным рынком» и переправлена в Бельгию, где и продана с немалой прибылью.

Итак, дни золотой осени тянулись один за другим, как процессия пилигримов, время от времени приводимых в дрожь нападениями грабителей-кочевников, впадающих то в возбуждение, то в ликование, наслаждающихся приключениями и все больше устающих от путешествия в неведомое. Дни становились все короче, и чудилось, что неуклонное сокращение промежутка между восходом и закатом, хотя бы на несколько минут, и зловещее удлинение ночи, предвещают конец всему живому. Конечно, после зимнего солнцестояния процесс повернется вспять; но кто в наши дни может быть уверен даже в этом? За самым теплым на памяти человечества сентябрем последовала невероятнейшая из всех знакомых людям эпидемий; теперь же пошли непонятные помехи в радиоприеме, а по телеэкранам то и дело сновали какие-то звездочки и вспышки света. В конце концов все эти загадки утратили всякую связь со спиральным облаком, поднявшимся над Уралом, — о нем теперь вспоминали лишь самые суеверные индивидуумы. Казалось, сама Природа начала войну нервов против своего последнего блудного отпрыска.

## ЧАСТЬ 2

### I Возвращение блудного сына

— Короче говоря, — сообщил Варди, — мне предложено читать лекции по современной истории в университете Венограда, так что я возвращаюсь домой. Я пришел прощаться. Жюльен был настолько поражен, что у него изо рта вывалилась сигарета.

— Мне предоставлены надежные гарантии, — спокойно продолжал Варди. — С прошлым покончено. У меня есть письмо за подписью нашего нового посла, гарантирующее мне безопасность. Его я могу оставить у здешнего адвоката. Они больше не интересуются возмездием за старые грехи. Им нужны квалифицированные люди, способные помочь восстановлению страны.

— Ты что, совсем спятил? — воскликнул Жюльен, в отчаянии глядя на Варди — невозмутимо застывшего перед ним коротышку.

— Ты не предложишь мне сесть? — с улыбкой осведомился Варди.

Вместо ответа Жюльен зашагал по комнате, приволакивая больную ногу.

— Я жду от тебя объяснений, — заявил он, пока Варди устраивался в кресле.

— Как насчет того, чтобы промочить горло? — осведомился Варди с той же сдержанной улыбкой.

Жюльен пододвинул ему бутылку и рюмку. В бутылке был сладкий вермут — единственный уважаемый Варди напиток.

— Я жду, — повторил Жюльен, прислонившись к книжному шкафу и взирая на Варди сверху вниз.

— К чему столько драматизма? — сказал Варди. — Это долгая история. Расслабься.

— Ты решил меня разыграть? — спросил Жюльен.

— Нет.

— Неужели ты хочешь сказать, что веришь их гарантиям и уверениям?

— Более-менее. После смерти старика кое-что переменялось.

— Ты совсем спятил? — снова спросил Жюльен.

Варди пригубил вермут и отставил рюмку.

— Слушай, — сказал он, — я могу предложить тебе короткую и длинную версию. Короткая: на протяжении восьми лет, пока у власти у меня дома находились белые, я был красным эмигрантом, а потом, когда к власти пришли красные, я еще десять лет оставался белым эмигрантом. Вместе это восемнадцать лет бесплодной ненависти и бесплодных надежд. Уезжая, я был подающим надежды тридцатилетним молодым человеком, теперь же мне под пятьдесят. Вот я и решил, что пора разобраться с этой диалектикой.

— Я слушаю, — произнес Жюльен.

— Я думал, ты станешь напоминать мне о заполярных лагерях, госбезопасности и тому подобном. Побереги силы. Все это включено в уравнение.

— Давай свое уравнение.

— Оно простое. Будущее против прошлого. Двадцать первый век против девятнадцатого.

— Ты написал три книги, доказывая, что будущее принадлежит не им, и что они — не на стороне будущего.

Я прочитал на эту тему дюжину лекций. Самообман — мощный двигатель. Человек может проехать на нем всю жизнь. Но стоит двигателю заглохнуть, как человек умирает.

Жюльен ничего не ответил. Варди заговорил снова:

— Ты можешь, конечно, спросить, откуда я знаю, что не стану жертвой нового самообмана. Но я тщательно с этим разобрался. Самообман всегда сопровождается самообольщением. Самообольщение — это надежда. Раз я перестал обманывать самого себя, то мною правит уже не надежда, а смирение. Значит, здесь нет места самообману.

Жюльен сделал два шага по направлению к Варди и тряхнул его за плечо.

— Очнись, слышишь? Стряхни это с себя. Если бы мы жили несколько столетий назад, я бы сказал, что в тебя вселился злой дух.

Варди беззлобно снял руку Жюльена со своего плеча.

— Наоборот, — сказал он, — я наконец-то избавился от злого духа, который управлял мною все эти годы. Да и вообще, что тебя так удивляет? Вспомни-ка наш последний спор, когда ты бравировал своим пессимизмом перед этой американкой. Тебе ли удивляться?

— Ради Бога! — взмолился Жюльен. — У тебя в голове сплошная путаница.

— Никогда еще у меня в голове не было такой ясности — а моя память, как тебе известно, работает четко. Тогда ты обвинил меня, как неоднократно обвинял и раньше, что я сижу на ничейной земле, между линиями фронта. Я готов признать, что ты был прав, и занять более реалистическую позицию. Гордись тем, что тебе удалось хоть кому-то прочистить мозги. Один человек — это, возможно, и немного, но в последнее время у тебя и не было обширной аудитории.

На этот раз Жюльен не нашел, что ответить. У него в мозгу прозвучали, как эхо, слова Хайди: «Больше всего мне не нравится в вас ваша надменная поза человека с разбитым сердцем». Он допрыгал до алькова и уселся там, положив подбородок на сжатые кулаки. В своем свитере с высоким воротом он напоминал утомленного велосипедиста после проигранной гонки.

— Ну, вот, — закончил Варди. — Теперь мой черед слушать.

Щеки Жюльена задержались было в нервном тике, но он почти сразу почувствовал это и взял себя в руки. Повернувшись к Варди изуродованной половиной лица, он медленно произнес:

— Ты можешь обвинить меня в безответственном излиянии пессимизма без учета его деморализующего воздействия на других. Здесь я готов признать вину. Но не станешь же ты обвинять меня в том, что ты решил совершить самоубийство, перейдя на другую сторону?

— К чему метафоры? — сказал Варди. — Я мыслю конкретно. Я обманывал себя, полагая, что возможен последовательный нейтралитет. С этим заблуждением покончено, и помог его гибели ты. Поскольку мне под пятьдесят, и я стою перед необходимостью принять ту или иную сторону, то выбор падает на ту, на которую указывает логика Истории.

— Господи! Какой же прорицатель поведал тебе логику Истории?

— Риторический вопрос. Тебе известно, что я никогда не утрачивал веры в диалектический метод, позволяющий разглядеть порядок в кажущемся хаосе. В этом всегда состояла основная разница между мной и тобой.

Варди говорил более напыщенно, чем это обычно случалось, когда они бывали вдвоем. Он положил одну короткую ножку на другую и с натянутой улыбкой потягивал вермут, словно демонстрируя спокойствие и хладнокровие. Жюльен понял, что заставить Варди изменить принятое решение — безнадежная затея.

— Да, — медленно произнес он, — я всегда относился к тебе как к современному воплощению средневекового схоласта...

— Позволь заметить, — прервал его Варди, — что ты уже во второй раз отсылаешь меня в Средние Века. Сперва я оказался одержимым злым духом, теперь же, надо полагать, ты собираешься выстроить параллель между схоластическими рассуждениями приверженцев Аристотеля и социальным анализом, опирающимся на Маркса.

— Да, — сказал Жюльен. — Страшнее всего то, что мы очень хорошо понимаем друг друга. Видимо, ты все-таки признаешь, что параллель не лишена оснований. Троица Гегель-Маркс-Ленин удивительно напоминает троицу Платон-Аристотель-Александр. Маркс сделал с Гегелем то же, что Аристотель — с Платоном: воспринял в основных чертах систему предшественника, но перевернул ее вверх тормашками. Маркс для Ленина — то же, чем был Аристотель для Александра Великого. Больше четырех веков схоласты именовали Аристотеля просто «Философом», почитая его учение окончательной мудростью на все оставшиеся века; точно так же ты относишься к Марксу. Результат в обоих случаях один и тот же: бесплодие и злобный догматизм.

— Это всего лишь доказывает твой дилетантизм. — Улыбка Варди стала более естественной, ибо тема брала его за живое. — Примерно с девятого века до конца четырнадцатого учение Аристотеля действительно оставалось самым продвинутым начальным пунктом философской ориентации; так и сейчас гегелевская диалектика остается наиболее удовлетворительным методом изучения философии Истории. Если ты назовешь меня схоластом, я приму это за комплимент; если я бесплоден, как Абельяр, несгибаем, как Оккам, и злобен, как святой Фома Аквинский, то мне остается только поздравить себя.

— Ты случайно не запамятовал, что ведущие схоласты благословляли крестовые походы, охоту за еретиками и так далее?

— Конечно не запамятовал. Это были болезненные, но необходимые спазмы, предшествовавшие рождению Ренессанса. Теперь вспомни, каково положение дел на Востоке, — и ты увидишь, почему я больше не боюсь соглашаться с логикой Истории.

— Знаешь, — устало произнес Жюльен, — все эти аргументы двойственны, а то и тройственны. Я мог бы, к примеру, оспорить необходимость этих темных, кровавых прелюдий, а ты бы ответил, что все происходящее неизбежно и по-другому произойти не могло, и стал бы на этом основании защищать любые зверства и безмозглую жестокость как «подчиняющиеся логике Истории».

— Совершенно верно. Основное различие между нами состоит в том, что я ратую за исторический детерминизм, ты же перестал это делать, проглотив всю эту мистическую белиберду о свободе выбора, этических абсолютах и тому подобном. Разница в аксиомах неизбежно приводит к разным заключениям.

— И что из этого?

— А то, что мы говорим теперь на разных языках.

Жюльен снова заковылял по комнате. Он исчерпал все доводы и ломал голову, что бы еще

сказать, лишь бы Варди не уходил. Но Варди и не думал торопиться; он снова налил себе рюмочку вермута, что явно было для него перебором, и возобновил дискуссию:

— Оставим Аристотеля и вернемся к фактам. Пройдут два-три десятилетия — и мир объединится. Ситуация, в которой находится сейчас наша планета, схожа с ситуацией трехсот с чем-то германских княжеств в середине девятнадцатого века перед тем, как Бисмарк взялся объединять Рейх. Бисмарк обладал притягательной силой, но главное — то, что на его стороне была История. Орудия судьбы редко вызывают любовь людей, но проходит век, два — и кто вспоминает об их методах? Жертвы преданы забвению, достижения же — налицо.

— И тебе надоела участь жертвы? — спокойно спросил Жюльен.

— Именно. Я рад, что в твоём вопросе отсутствует сарказм. Я также готов признать, что бывают ситуации, в которых История оправдывает пребывание человека на стороне обреченных. Я предпочел бы быть среди последних защитников Фермопил или Парижской Коммуны, нежели солдатом Ксеркса или генерала Галифе...

— Но почему? — перебил его Жюльен. — Почему не персы и не стрелки Галифе — инструменты для выполнения исторической воли?

— Нет, — ответил нестигаемый Варди, — они — эпизодические персонажи. Следует различать легкую рябь и приливную волну. Афинская демократия, Французская Революция, революция 1917 года — все это фазы одного и того же непрерывного приливного процесса. Парижская Коммуна, при всей своей преждевременности и незавершенности, была одной из таких приливных волн. В подобных случаях диалектически верно оказаться на стороне проигравших. Но только в таких. Быть среди обреченных — само по себе не самоцель. Донкихотство — бессмыслица. История проводит различие между мучениками и дураками. Коммунары с Пер-Лашез — мученики, швейцарские гвардейцы, погибшие в Тюильри, защищая Марию-Антуанетту — дураки... Можешь продолжить сам, пользуясь логической дедукцией. Какой идеал стал бы я защищать, оставшись бок о бок с тобой на стороне проигравших?

— Хотя бы законное право и физическую возможность говорить так же откровенно, как мы с тобой сейчас.

— Я ценю это, — сказал Варди. — И сам прибежал к тому же аргументу на протяжении последних двадцати лет. Он согревал меня в голодных ночлежках и придавал мне сил, когда мне было нечего есть. Но я не переставал спрашивать себя, почему он становится все менее действенным... Пока, наконец, не открыл, что священное право говорить теряет всякий смысл, если никто не может сказать ничего заслуживающего внимания.

Варди снова приложился к рюмке. Он определенно задался целью убедить и Жюльена, и себя, что их дело безнадежно проиграно. Жюльен знал, что спорить с ним бесполезно, ибо у него готов ответ на любое возражение. Каждый заранее знал ответы оппонента, подобно тому, как знают друг друга шахматисты, в который раз разыгрывающие один и тот же дебют; Жюльен был вынужден согласиться, что право на спор также теряет всякий смысл, ибо разговор все равно останется стерильным. Двое умных, благонамеренных (во всех смыслах) людей описывали одни и те же круги, как звери, угодившие в ловушку. Может быть, что-то произошло с их мозгами, и они стали похожи на прооперированных крыс, способных сворачивать только в одном направлении? А может быть, все дело в том, что ловушка, в которую они попали, действительно не имеет выхода?...

Варди сидел в своем кресле, не двигаясь, положив ногу на ногу и выпрямив спину. Толстые стекла его очков поблескивали на солнце; маслянистая пленка, оставшаяся на его тонких губах после сладкого вермута, вызывала у Жюльена содрогание.

— Давай сменим тему, — сказал Варди. — Предположим, что я возвращаюсь из чистого оппортунизма, устав за восемнадцать лет бороться с ветряными мельницами, соскучившись по дому и возжелав жить в родной стране и созидательно трудиться — вместо того, чтобы спорить с тобой и постепенно выживать из ума, как Борис. Пусть мои резоны столь циничны — неужели ты станешь меня осуждать? Если да, то во имя каких принципов и ценностей?

Он откашлялся и с саркастическим, нарочито нетерпеливым видом поправил очки.

— Я не стал бы называть это цинизмом, — отозвался Жюльен.

— Это был бы цинизм, — резко сказал Варди, — если бы я не был убежден, что будущее — на их стороне.

— Ладно, будь по-твоему.

— Я хочу сказать, что ты не вправе называть оппортунизмом стремление подталкивать колесницу Истории в направлении будущего. Тот, кто толкает ее в этом направлении, — прав, кто препятствует ее движению, — ошибается. Иной моральной оценки быть не может.

— Мы обо всем этом уже говорили, — сказал Жюльен.

Наступило молчание. Из скромной гостиницы на другой стороне улицы доносился женский голос, напевавший старую мелодию «Говори мне о любви»: «Говори мне о любви, говори мне нежности...» Варди кашлянул и проговорил, почти не разжимая губ:

— Я хочу услышать, что ты меня не осуждаешь.

Жюльен, примостившийся на подоконнике, пожал плечами и зажег в очередной раз потухший окурок.

— Кто станет осуждать человека, решившего покончить жизнь самоубийством?

— Так. Ты все еще считаешь, что это самоубийство. Тогда как ты можешь рассуждать об оппортунизме?

— Я не рассуждаю об оппортунизме. Это ты.

— Я просто озвучивал твои мысли.

— Это не мои мысли. Мои-то мысли вот какие: ты одержим безумным, самоубийственным сумасшествием, прикидывающимся логикой.

— Раз это, по-твоему, не оппортунизм, то ты не имеешь права меня осуждать, — упрямо повторил Варди.

Жюльен не мог больше на него смотреть. Струйка липкого вермута сползла из уголка его рта на подбородок; это выглядело непристойно, но Варди ничего не замечал. Он все так же не менял положения ног, не снимал ладоней с ручек кресла и сохранял неестественную позу пациента, не желающего демонстрировать испуг, перед дверью зубного кабинета. Жюльен отвернулся и произнес:

— Они заставят тебя признаться, что ты прибыл с бутылочкой бактерий для распространения бубонной чумы.

— Лучше уж тифа. — Варди безрадостно улыбнулся. — Ты же все равно не согласишься.

— Ты знаешь их метод казни?

— Кто же этого не знает? Стеляют в затылок. — Он повернулся к Жюльену и сказал с прежней невеселой улыбкой: — Если ты хочешь меня испугать, то ты еще глупее, чем я думал.

— Маленькая деталь, — не сдавался Жюльен. — Они ставят человека лицом к стене, велят ему открыть рот и суют ему в рот резиновый мячик.

— Зачем? — спросил Варди, все так же улыбаясь.

— Они очень изобретательны. Пуля прошивает мячик насквозь, зато все остальное задерживается во рту. В результате отпадает необходимость каждый раз заново белить стену.

— И какие же тут могут быть возражения? — Очки Варди снова поймали солнечный луч, отчего на мгновение сделались двумя белыми бельмами, загородившими его глаза.

— Каковы, на твой взгляд, шансы на то, что они сдержат обещание насчет безопасности?

— Один против одного, — ответил Варди. — При данных обстоятельствах — вполне приемлемый риск.

— А по-моему — один против десяти, — поделился Жюльен. — Или даже того меньше.



— Тут ты не прав. После смерти старика многое изменилось. У меня вполне надежная информация.

— Ты хочешь сказать, что проглотил наживку.

— Ты достаточно хорошо меня знаешь, дабы понимать, что я все-таки не новорожденное дитя.

— Кто подсунул тебе эту липу? Наш друг Никитин?

— Дни нашего друга Никитина сочтены, — сообщил Варди.

— Вот это новость! — Жюльен не мог скрыть удивления.

— Будут новости и похлеще... — В первый раз с тех пор, как он переступил порог комнаты, Варди выглядел смущенным. — Пойми, Жюльен, наши отношения претерпели функциональные изменения. Пока мы обсуждаем общие вопросы, все остается по-старому, но когда речь заходит о конкретных политических событиях, мы оказываемся по разные стороны.

— Я понимаю.

— Твой сарказм напрасен, ведь ты отлично понимаешь, что лично ты здесь ни при чем. В общем, я дважды подолгу беседовал с нашим послом; были еще кое-какие встречи. Ты удивился бы, узнав, как сильно изменилась атмосфера. Мы уже давно утратили с ними связь, Жюльен. У нас сложилось о той стороне совершенно искаженное представление. Они вовсе не так глупы и не так циничны, как мы оба полагали.

В его голосе послышалась мольба. Жюльен сказал:

— Мне повезло, что я родился в этой стране. В противном случае возник бы соблазн последовать твоему примеру. Там, кажется, воцарилась подлинная идиллия.

— Нет, не идиллия, — отозвался Варди, игнорируя его сарказм. — Но, переступив черту, чувствуешь, что оказался в другом мире: бесподобный созидательный дух, искренняя самоотверженность и самозабвение, абсолютная, безоговорочная вера в то, что будущее принадлежит им...

— Почему не «нам»?

Варди улыбнулся.

— Это задело бы тебя и прозвучало бы излишне провокационно. Нет, серьезно, Жюльен, — заторопился он, — ты бы поразился, поняв, до чего это другой мир. Мы оба уже не помним, как это было двадцать лет тому назад. Мы стали желчными и злобными, как старые девы... Как только прошла первая напряженность, все сразу стало совсем другим. Это трудно объяснить — чувство, что ты снова помолодел...

Из дома напротив раздалось в полный голос: «Говори мне о любви, говори мне нежности...»

Судя по голосу, роль певицы исполняла всклокоченная старуха-уборщица, сметающая с вытертого до дыр коврика пыль и окурки под шкаф, откуда теперь долго будет доноситься специфический запах.

— Наверное, вы с послом рыдали друг у друга в объятиях? — спросил Жюльен.

— Не совсем так. Большая часть первой беседы — больше часа — была посвящена подробному обсуждению моих книг. Он прочел их все и делал удивительно уместные критические замечания, причем отнюдь не ортодоксального свойства и такие же откровенные, как наши с тобой беседы. Он принадлежит к нашему поколению: Испания, пять лет одиночки, Сопротивление и так далее. Короче говоря, он мог бы быть одним из нас — только он никогда не утрачивал веру в конечный результат и пронес ее через грязь и огонь...

Варди, кажется, заметил, наконец, струйку вермута у себя на подбородке, уже успевшую засохнуть, и слизнул ее кончиком языка. Язык его был сильно обложен — возможно, из-за несварения желудка. Жюльен поднялся на ноги, почувствовав, что не обойдется без бренди. Варди тем временем продолжал:

— Потом я говорил с другим человеком — неким Смирновым, каким-то образом связанным с

Никитиным и его службой. Он оказался не менее откровенным, и вообще, что за типаж! За восемнадцать лет изгнания я ни разу не встречал таких людей, как наш посол и этот Смирнов. А там-то их тысячи! Когда я признался, что не люблю таких, как Никитин, и что Никитины — это злокачественный нарост на теле революции, он засмеялся и сказал, что я, наверное, проспал события последних месяцев, что с Федей Никитиным и со всеми остальными Никитиными покончено; после этого он добавил несколько непечатных замечаний об Отце Народов, сошедшем в могилу...

— И это произвело на тебя впечатление?

— Согласись, что еще несколько месяцев назад об этом нельзя было и помыслить.

— Он убедил тебя, что, раз Первый умер, то начался Золотой Век?

— Нет. Но он дал мне понять, что есть шанс превратить конец Первого в конец эры Никитиных. Шанс, понимаешь, не более чем шанс; но разве ты не считаешь, что ради этого стоит рискнуть? Никитиных создал Первый; почему бы им не исчезнуть заодно с ним?

— Согласно твоей теории неизбежности, и Первого, и Никитиных создала революция.

— Опять заблуждение. Эра Первого была не более чем эпизодом. Это важнейшее обстоятельство ты не хочешь учитывать. Ты предпочитаешь пребывать в своем мрачнейшем пессимизме, отвечающем твоему мазохистскому темпераменту и вожделению Апокалипсиса.

— Я поверю каждому твоему слову, как только объявят всеобщую амнистию, возродят неприкосновенность личности, отменят цензуру и так далее.

— Для этого и понадобятся такие люди, как Смирнов, наш посол, я. Я же говорю: это всего лишь шанс, не больше. Но он будет упущен, если не найдется людей, готовых на риск. Когда Первый сыграл в ящик, двести пятьдесят миллионов людей вздохнули с облегчением; а ведь вздох двухсот пятидесяти миллионов производит в атмосфере нешуточное завихрение. Наша задача, перефразируя старую поговорку, — разделаться с трупом, пока он горяч.

— Ничего себе юмор, — прокомментировал Жюльен.

— Я просто процитировал Смирнова.

— Тебе не кажется странным, что эти люди так торопятся выложить тебе все, как на духу, хотя их планы носят отчетливо конспиративный характер?

— Я же говорю: нельзя упускать возможность. Они знают, кто я такой, знают, что я никогда не переходил на другую сторону, что, будучи в оппозиции к режиму, я все равно принадлежал к их лагерю. Я — не единственный, к кому они обращались... Идея, фактически, в том, чтобы объединить всю оппозицию, исправить преступления Первого, устранить Никитиных — короче говоря, вернуться к начатому в 1917 году...

Варди умолк и потянулся за рюмкой. Скрываемое возбуждение выдавало только его учащенное дыхание. Осушив рюмку, он встал из кресла и решительно произнес:

— Теперь, возможно, ты лучше понимаешь, что мной руководит. Мне не следовало рассказывать тебе всего. Поэтому я сперва кружил вокруг да около и отделялся общими фразами. Но я знаю, что на тебя можно положиться. Мы знаем друг друга много лет, и мне бы не хотелось, чтобы у тебя осталось после расставания превратное впечатление обо мне... — Он поколебался и в третий раз упрямо потребовал:

— Я хочу, чтобы ты сказал, что не осуждаешь меня.

Его сухой, педантичный голос молил о снисхождении, о том же говорил блеск его глаз на умном некрасивом лице. Жюльен почувствовал, что отказать ему будет по меньшей мере негуманно. Он прищурился, закурил сигарету и произнес как можно беззаботнее:

— Шантаж ничего не даст. У тебя нет никаких шансов, и ты сам знаешь об этом. Падшим ангелам не дано воскреснуть. Жаждой саморазрушения страдаю не я, а ты.

Варди повернулся на каблуках; на мгновение его черты исказились, как будто он получил удар в лицо; однако это длилось недолго. Он двинулся на своих коротких ножках к двери. Жюльен слез с подоконника и захромал к нему. У самой двери он поймал его за локоть, но Варди высвободился и

зашагал по ступенькам вниз. Жюльен остался стоять на лестничной площадке. Пройдя первый лестничный марш, Варди, как и полагалось, развернулся, но не поднял глаз. Жюльен повис на перилах. Варди шагал как раз под ним, печатая шаг, как малорослый солдатик. Жюльен впервые разглядел у него на макушке лысину, напоминающую тонзуру монаха.-

## II Любовь при свете дня

— Подожди! — вскрикнула Хайди. — Подожди! Ты рвешь мою блузку.

На ней была симпатичная блузка с высоким вышитым воротничком, и Федя драл ее с нетерпением подростка. Она оттолкнула его, убежала в угол комнаты, где находилась раковина, и, улыбаясь ему, стянула блузку через голову; затем с бессознательной грацией раздевающейся манекенщицы спустила юбку и перешагнула через нее. Федя удрученным взглядом наблюдал, как она юркнула в постель.

— В чем дело? — спросила она, скорчившись под одеялом. — Ты не будешь раздеваться?

Он чувствовал смущение, смятение и обиду. Они были вместе всего второй раз — а она уже бесстыдно раздевается у него на глазах, да еще в пять часов дня, словно они женаты долгие годы. В первый раз она последовала за ним в общежитие вполне охотно, но, оказавшись в комнате, передумала — возможно, из-за ее мрачного и убогого вида — и оказала сопротивление, так что ему пришлось брать ее силой. Вот так, убежденно размышлял он, хотя вряд ли смог бы выразить это словами, вот так оно и должно быть. Ее сегодняшнее уверенное поведение не только лишило его главного удовольствия, ибо естественная роль мужчины состоит именно в преодолении женского сопротивления, пусть даже за ним стоит одно кокетство и притворство; кроме того, это невоспитанно и некультурно! Что ж, век живи, век учись: теперь у него была любовница-американка, принадлежащая к привилегированным кругам, раздевающаяся и прыгающая к мужчине в постель с таким видом, словно ей предстоит партия в теннис.

Но размышления размышлениями, а лицо Хайди на подушке и ее голые плечи выглядели чрезвычайно аппетитно; к счастью, она пока не сняла бюстгалтера и трусов — отказывалась расставаться с ними при свете. Срывая все это с нее с некоторой диковатостью, Федя снова обрел утраченное было хорошее настроение; кроме того, у обоих от борьбы участилось дыхание и разгорелись тела. Хайди только и успела прошептать, чтобы он снял свой жуткий костюм, однако он пошел лишь на то, чтобы сбросить пиджак, успев удивиться половинкой мозга, что же в нем жуткого; она тем временем смахнула на пол лампу, которая не преминула разбиться, после чего в наступившей темноте оба ринулись по узкой тропе к вершине самозабвения, дыша все учащеннее по мере того, как круче становился подъем, пока наконец ураганный вихрь не вознес их на самый головокружительный пик. После этого ураган утих, и мир вновь обрел прозрачность и спокойствие. Какое-то время они наслаждались в разреженном воздухе неподвижностью, покоем тела и ума, в котором и состоит главное вознаграждение покорителя вершин. Потом чувство заоблачной высоты стало проходить, облака, укрывшие землю, рассеялись. Они снова спустились в долину, и подозрительный гостиничный номер, все еще милосердно укутанный вуалью темноты, снова стал проступать самыми своими выразительными чертами — главным образом, раковиной. Какой-то мягкий крошачий предмет, прикоснувшись ко лбу Хайди, проехался зигзагом по всему ее лицу. Оказалось, что Федя пытается в темноте отыскать ее рот и засунуть туда сигаретку. Она слегка разжала губы, прикусила сигарету и зажмурилась, когда он чиркнул спичкой, чтобы прикурить самому и дать прикурить ей. Он потушил спичку и сказал: «Ты очень красивая». Его слова польстили ей, и она мимолетно прикоснулась к его волосам и к груди — насколько позволила расстегнутая рубашка. После этого она издала глубокий удовлетворенный вздох и затянулась.

Никогда еще у нее не было такого примитивного и невнимательного любовника, однако, хотя он ни разу не подождал ее на тропе и не помогал карабкаться к вершине, он оказался первым, с кем она достигла полного исполнения желаний. Молодой англичанин — художественный критик, за которого она вышла замуж спустя три месяца после того, как покинула монастырь — любил, как птичка: клевок, трепет — вот и все. Федя же был полной противоположностью: с ним она

чувствовала себя так, словно на нее наехал паровоз. В промежутке между первым и последним у нее состоялся телесный контакт еще с тремя — или четырьмя? — мужчинами: в одного она была влюблена, другого возжелала, третий пользовался репутацией эротического виртуоза, с четвертым же она просто напилась. Последнее приключение завершилось катастрофой и унижением; остальные были отчасти изнурительными, отчасти возбуждающими и почти удовлетворительными — но не до конца, даже с виртуозом, хотя он с самым похвальным рвением стремился оправдать свою репутацию. Стеклоклетке вокруг нее всегда удавалось устоять, и она продолжала, как и раньше, дрожать на слабом очистительном огне — пылая, корчась, но никогда не сгорая дотла. Чем меньше оставалось времени до окончательной вспышки, которой ее плоть алкала, как когда-то она сама жаждала знака своей богоизбранности, чем ближе она подбиралась к ней, чувствуя, что остается последний, отчаянный рывок, тем замысловатее бывала траектория бегства счастливого мига и тем большим всякий раз — ее разочарование. В конце ее неизбежно поджидало нервное истощение и горькие слезы. Гражданин Никитин каким-то чудом преуспел там, где все остальные терпели неудачу.

Она втянула дым Фединой сигареты и услышала шумный плеск — Федя с воодушевлением совершал омовение. Нет, его нельзя было назвать ни тактичным, ни умелым любовником. Почему же тогда ему одному удалось перебросить ее через невидимый барьер? И почему, что тем более странно, она с самого начала знала, что именно так и произойдет? Неужели Федя оказался тем единственным, которому ведомо «Сезам, откройся!», на которое она бессознательно откликается? По ее спине пробежала дрожь, ибо она внезапно вспомнила еще одного человека, который, как подсказывал ей когда-то инстинкт, смог бы сделать с ней то же самое: это был ее исповедник в монастырской школе... Что же между ними общего? Ничего, кроме веры — непреодолимого очарования, благодаря которому отдаться им значило совершить акт поклонения, не взяв на себя никакой вины; именно вера позволяла им возносить ее в свой цветущий мир, где невозможно сбиться с пути, ибо там на всех перекрестках четко обозначено, где добро и где зло. Там, где остальные могли всего лишь задавать вопросы, у Феде наготове ответы; он уверен в себе, тогда как Жюльен стесняется даже хромоты, приобретенной в достойном сражении. Он твердо стоит на непоколебимом фундаменте своих убеждений, поглядывая на всех прочих, вязнущих в трясине. В его распоряжении имеется волшебная палочка, заставляющая ее плоть охотно и с радостью отбрасывать любые помыслы о самозащите.

Она услышала его шаги по скрипучим половицам. Свет вспыхнул без предупреждения. Она зажмурилась и с трудом разглядела его стоящим у двери, в черном траурном костюме и не менее траурном галстуке, с прилизанными влажными волосами, улыбающимся ей и с восхищением разглядывающим ту часть ее тела, которая оказалась без прикрытия одеяла.

— Может быть, встанешь? Пора пить аперитив. Пока Хайди одевалась за тонкой перегородкой у раковины, Федя курил (сидя на кровати и наблюдая за тем, как ее голова то появляется над перегородкой, то снова исчезает, словно она занимается шведской гимнастикой) и обдумывал положение. Со времени смерти Первого прошло два месяца, и напряжение стало мало-помалу проходить. Слухи о том, что всех заграничников отзовут домой, оказались ложными. Жизнь в посольстве и отношения в его Службе оставались примерно такими же, как и прежде. Отозвали только посла и еще пятерых-шестерых сотрудников — как высокопоставленных, так и мелкую сошку. С тех пор о них ничего не было слышно, и такт вкупе с хорошими манерами требовали не упоминать больше их имен. В их числе оказался бывший Федин сосед, Смирнов, чье исчезновение Федя воспринял со вздохом облегчения. Очевидно, все отозванные были замешаны в политику, так что им оставалось винить самих себя. Подобно многим другим, они, видимо, переоценили ослабление дисциплины, наступившее после смерти Первого. Федя же никогда не питал по этому поводу иллюзий. Как и все остальные, он не мог не радоваться, что старик наконец-то сошел в могилу, и оценил весь юмор приказа, согласно которому всем работникам дипломатических миссий предписывалось целый год не снимать траур. Безусловно, старик давно уже стал невыносим — капризы, мстительность, безумные выходки... Другое дело, что необходимо было представить его идолом для отсталых масс, которым пока не доставало культуры, чтобы бороться за счастье без водительства обожаемого вождя. Если бы у них не оказалось портретов Первого, которыми они увешали все стены страны, они снова взяли бы за старые иконы, и всему настал бы конец. Потребность поклоняться кому-то или чему-то — наследие темного прошлого: чтобы излечиться от нее, потребуется еще два-три поколения. Кроме того, народная демократия, окруженная

внутренними и внешними врагами, неизбежно принимает форму централизованной пирамиды, а у пирамиды обязательно должна быть вершина. Поэтому Отец Народов был необходимостью, а те, за границей, кто вышучивает внешние проявления его культа, не имеют даже отдаленного представления о диалектике истории. Они напоминают дикарей, попавших в оперу и возжелавших расправиться с отрицательным персонажем на сцене, не понимая, что их глазам предстает сплошное притворство, однако притворство это служит высшим целям и поэтому воспринимается культурной публикой всерьез. Как-то раз он попытался объяснить это Хайди, прибегнув к намекам и аллегориям, и, несмотря на искаженное мышление — а каким ему еще было оказаться при таком происхождении и образовании? — она, как будто, поняла, что все не так просто, и что он, Федя, не такой простак, как считает она и ей подобные. Однако все это не отменяло того факта, что Первый был не очень-то доброкачественным идиолом, поэтому избавление от него не могло не принести облегчения.

Дураки за границей надеялись, что вместе с верхушкой рассыплется вся пирамида. Это всего лишь доказывало лишний раз, что им недоступна историческая наука, а также не дано различить реакционную тиранию и революционную диктатуру. Смерть реакционного тирана и впрямь приводит к гибели всего режима, как происходит с организмом, лишившимся головы. Однако революционная диктатура скорее напоминает сказочное животное, у которого на месте отрубленной головы мгновенно вырастает новая. Даже Церковь не умирает вместе с папой, хотя при жизни люди целовали носки его туфель, — а ведь Церковь в свое время была воплощением идеологии римского пролетариата и лишь со временем выродилась в инструмент реакции.

И все же последние недели выдались нелегкими, особенно первые две, когда еще не было официально объявлено имя преемника Первого, и приходилось ступать с оглядкой, все время смотря под ноги. Взять хотя бы их последний разговор со Смирновым, когда Смирнов под каким-то предлогом заявился к нему в комнату и после нескольких ничего не значащих замечаний, как ни в чем не бывало, спросил:

«Ты не знаешь часом, когда жил Марий?»

«Марий? Какой Марий?» — не понял Федя.

«Демократический трибун в Риме, начавший гражданскую войну против диктатора Суллы».

«Х-а, этот... Ты что, пишешь историческую статью?»

Вместо ответа Смирнов предложил ему сигарету, и оба полезли за зажигалками, что напомнило Феде о том, как он приобрел французскую зажигалку в тот день, когда Хайди украла у него дневник. Но это была уже старая история, и Федя, всегда готовый оказать услугу, попытался вспомнить хоть что-нибудь о трибуне Марии. Единственной знакомой ему датой в римской истории были годы 73 — 71 до нашей эры — восстание Спартака.

«Подожди-ка, — сказал он. — Когда началась пролетарская революция под водительством Спартака? В 73 году, если мне не изменяет память. Если я знаю хоть что-нибудь о трибуне Марии, так это то, что он жил то ли до, то ли после Спартака и что он вряд ли что-нибудь значит ввиду его буржуазно-либеральной идеологии».

Федя был очень доволен своим ответом, однако Смирнов только усмехнулся в свои черные усы.

«Марий, — произнес он, — был человеком, разрушившим Римскую империю».

Федя еще не знал, к чему клонит Смирнов, но уже чуял недоброе и сожалел, что тому удалось втянуть его в разговор.

«Как же это ему удалось?» — спросил он безразличным тоном.

«Он заменил старую армию, комплектовавшуюся по принципу воинской повинности граждан Рима, наемнической армией».

«Ну и пошел он к черту», — уклончиво отозвался Федя.

«Спустя всего одно поколение после этой перемены, — гнул свое Смирнов, — власть перешла от Сената к армии. Именно армия приводила к власти различных цезарей и управляла ими, как хотела».

Теперь Федя знал, что у Смирнова на уме. Он стоял за партию, против армии, и хотел прощупать Федино отношение. У Феде не было четкого мнения по этому вопросу, хотя именно от того, как он разрешится, зависела преемственность власти; он был не политиком, а всего-навсего человеком Службы, исполняющим свой долг. Однако если проблему преемственности не удастся решить гладко, если дойдет до хладнокровной, скрытой пробы сил за кулисами, то даже подчеркнутый нейтралитет может быть потом поставлен ему в вину. Поэтому он проявил осмотрительность:

«Я слишком мало знаю об истории классовой борьбы в Риме. К счастью, в нашем случае такая опасность не угрожает: ведь и армия, и партия — инструменты в руках народа, хотя, конечно, они поочередно выходят вперед, в зависимости от конкретных требований ситуации».

Ответ сам по себе был правильным, однако именно из-за своей корректной нейтральности он прозвучал как косвенный отказ принять откровенность Смирнова. Массы ожидали некоторого смягчения режима в качестве траурного подарка; в этом у них со Смирновым разногласий не было. Однако Смирнов определенно возлагал надежды на внутреннее омоложение партии — ходили осторожные слухи, подтверждавшие наличие таких настроений, а иностранная пресса наполнилась спекуляциями о возможности ограниченной амнистии для оппозиционеров. Федя же, напротив, опираясь скорее на инстинкт, чем на расчет, придерживался мнения, что партия не может позволить себе такого примирительного жеста и ослабления дисциплины, не рискуя при этом запустить фатальный механизм, который приведет к ее уничтожению. Однако требовался хоть какой-то жест, идущий навстречу ожиданиям масс, порожденным смертью старика; раз ситуация не позволяет по-настоящему отпустить вожжи, остается только переложить ответственность за непопулярные меры, а также часть бремени исполнительной власти на армию.

После еще нескольких ничего не значащих фраз, Смирнов ретировался к себе — и с тех пор Федя его больше не видел. История бросила кости, и оба объявили ставки: Смирнов — более высокую, Федя — поскромнее, ибо не собирался играть. Получилось так, что Федя выиграл, а Смирнов проиграл. Если бы кости выпали иначе, Федя оказался бы в проигрыше и принял бы свою судьбу со смирением: будучи обвиненным в планировании установления военной диктатуры, он бы признал свою вину, подчиняясь правилам игры. Лишь люди разлагающейся, обреченной цивилизации воображают, что можно насытить волков, не тронув овец; именно это и обрекает их на гибель. Они живут в Капуе политической распущенности и либерального потакания собственным прихотям; их парламенты — бордели, в которых можно выбрать одну из дюжины фракций, руководствуясь вкусом; их пресса — рассадница ересей и свар. Однако бархатный сезон в Капуе завершился разрушением Карфагена.

— Я готова, — сказала Хайди, выходя из-за перегородки, свежая, как только что политый цветок.

— Ага! — одобрительно произнес Федя; он совсем забыл о ее существовании.

Бар, где они обычно пили аперитив, был пока пуст. Здесь царили трое симпатичных молодых барменов — Альбер, Андре и Альфонс, соединенные пылкой и несколько странной привязанностью и настолько похожие один на другого, что различить их было под силу одним завсегдатаям. Молодые люди с готовностью откликались на неправильные имена, словно сложили их в общий котел; туда же шли и все зарабатываемые деньги, поскольку ребята мечтали накопить достаточную сумму и открыть собственное кафе с заправочной станцией где-нибудь в Провансе. Они бесподобно взбивали коктейли, хотя сами ограничивались томатным соком и, в порядке исключения, глотком шампанского; это были милые молодые люди безупречного поведения, в заведении которых все чувствовали себя, как дома.

В баре всегда горел неяркий, рассеянный свет, здесь стояли удобные кожаные кресла и аквариум с причудливыми разноцветными рыбками, от созерцания которых успокаивались расшалившиеся нервы. Сюда любили заглядывать неонигилисты, пока очередной приятель племянницы отца Милле не вылил в аквариум двойной мартини, отчего рыбки сначала опьянели, а потом перевернулись кверху животами. Скандалист был присужден к выплате ущерба владельцу бара, загадочному господину, которого никто никогда не видел, — по слухам, коммерческому атташе

одной из южноамериканских стран. Суд вызвал в обществе большое возбуждение, так как обвиняемый, ученик профессора Понтье, построил свою защиту исключительно на базе неонигилистской философии. Его адвокат зачитывал пространные куски из «Отрицания и позиции», силясь доказать, что отношение к жизни по принципу «почему бы и нет?» имеет большую моральную ценность и исполняет важную общественную функцию, и что в данном случае рыбки, по всей видимости, достигли перед гибелью степени счастья, которая осталась бы для них совершенно недостижимой, умри они обычным порядком. Поступок его подзащитного, утверждал адвокат, позволил им ощутить свободу в глубочайшем смысле этого слова и перешагнуть преграды, возведенные их ихтиологической сущностью. Судья однако предписал возместить владельцу полную сумму убытков, весьма немалую, ибо рыбки оказались уроженками тропических вод. Неонигилисты впали в гнев, объявили сбор денег для покрытия расходов и окрестили судью коллаборационистом, фашистом, врагом революционного пролетариата и Свободолюбивого Содружества. Они также объявили бойкот бару, к вящему облегчению барменов и более степенной клиентуры.

Федя все так же предпочитал пить «перно» неразбавленным, но никогда не пьянел. Хайди в счастливом расслаблении внимала тихому джазу, доносившемуся из небольшого динамика над стойкой, точно соответствовавшему мягкому освещению и грациозному скольжению рыбок за стеклянной стенкой аквариума. Федя подпевал доносящейся из динамика мелодии; ему нравился этот бар, в котором, как он однажды разъяснил Хайди, царила по-настоящему культурная, хотя и несколько упадочническая атмосфера. Он мог просидеть неподвижно или напевая себе под нос целых полчаса с неизменным выражением полнейшего довольства на физиономии.

— О чем ты думаешь? — поинтересовалась Хайди.

— Ни о чем. Как в отпуске.

Она ждала, что он, в свою очередь, задаст ей тот же вопрос; это было детством, но ей польстило бы, если бы он спросил, о чем думает она. Феде, однако, это было неинтересно. Он чуть заметно приподнял палец, и, словно притягиваемый какой-то волшебной силой, у их стола мгновенно вырос улыбающийся Альберт (или Альфонс?), готовый наполнить их рюмки.

— Все еще работает, — сказала Хайди.

— Что? — невинно спросил Федя, отлично знавший, о чем речь. После их первой встречи он исполнял свой фокус со все большим мастерством.

Хайди вспомнила обстоятельства их знакомства и спросила с мечтательной улыбкой:

— Как ты пометил в своей тетрадке меня?

— Не знаю, что ты имеешь в виду, — ответил Федя, и его лицо приняло замкнутое выражение.

Она пожалела, что задала этот вопрос; однако у нее не оставалось иного выбора, кроме как продолжить начатое:

— Отлично знаешь. Те самые списки.

— А-а, это... — небрежно протянул Федя. — Я больше этим не занимаюсь. Так, глупая игра, просто развлечение.

Хайди захотелось быстро запустить руку ему в карман, выхватить оттуда записную книжку и посмотреть, не врет ли он. Но она тут же одумалась, зная, что эта безобидная шутка приведет его в ярость. Следующая ее мысль была о том, что в их отношениях очень мало интимности. Ни один мужчина не дарил ей раньше физического удовлетворения, и она воображала, что в этом все дело. Но хотя всякий раз, когда они занимались любовью, ее стеклянная клетка куда-то девалась, совсем скоро она попадала в эту клетку снова.

— А ты о чем думаешь? — спросил Федя, радушно улыбаясь. Однако вопрос запоздал; она догадалась, что он имеет в виду не то, что она, а не может забыть о книжке.

— О том, что иногда чувствую себя одиноко в твоём обществе.

— Да? — Федя был искренне удивлен. — Но ведь не станешь все время болтать. И — любить... — Ему не нравилось упоминать такие вещи всуе. Разговор о постели должен соблазнять; здесь нужен

соответствующий голос и намекающая ухмылка.

— Дело не в этом, — сказала Хайди.

— Тогда в чем? — спросил он, с трудом подавляя зевок.

— Так, ни в чем.

В стеклянной двери появилась компания из трех человек, и Хайди насупилась: это был Жюльен в сопровождении темноволосой женщины с некрасивым заостренным лицом и незнакомого мужчины. Каждый из них, переступая порог, тут же обращал внимание на странную парочку. Женщина безразлично скользнула глазами по Хайди, но, узнав Федю, вздрогнула и уставилась на него с выражением неприкрытого ужаса. Жюльен не выдал удивления, а лишь любезно кивнул Хайди, не выпуская изо рта обычного окурка. Мужчина, вошедший последним, выглядел смущенным. Женщина сказала что-то вполголоса Жюльену, тот пожал плечами и одобрительно улыбнулся. Женщина развернулась и ретировалась. Жюльен придержал дверь сперва для нее, потом для не перестающего удивляться мужчины, а затем последовал за ними сам, стараясь не выдавать хромоты. На Хайди он больше не смотрел.

Бармен Альфонс проговорил несколько слов, обращаясь к своему напарнику Андре. Пошептавшись немного, они вновь принялись полировать стойку и манипулировать с бутылками. Хайди набралась храбрости и посмотрела на Федю. Он выглядел таким же безмятежным, как и до инцидента, и все так же подпевал мелодии, транслируемой по радио; только глаза его сделались уже обычного.

— Ты знаешь этих людей?

— Каких?

Она терпеть не могла его привычку сперва притвориться, будто он не понял ее вопроса.

— Тех, что сейчас заходили, — нетерпеливо пояснила она.

— А, этих... Кажется, я видел раньше женщину и этого хромого.

— Это у него с испанской войны.

— Да? Наверное, ты знаешь их лучше, чем я.

— Знаешь что, — вспыхнула Хайди. — Не говори со мной так. Час назад я лежала с тобой в постели. Это невыносимо!

— А что я сказал? — удивился Федя с ноткой озабоченности в голосе. — Пожалуйста, не надо истерик.

— Эти люди ушли, потому что увидели тебя.

— И я подумал о том же, — безмятежно ответил Федя. — Должно быть, им не нравлюсь я или моя страна. Пусть они даже твои друзья, но они нехорошие люди. Эта женщина убежала из своей страны, потому что невзлюбила новый режим, отобравший землю у землевладельцев-феодалов и раздавший ее голодным крестьянам. Если ей это не нравится, пусть себе живет, где хочет, но в таком случае у нее нет права произносить речи и писать статьи, призывающие весь мир развязать войну и смертоубийство, лишь бы она смогла вернуть себе поместье и вновь заставить крестьян голодать и прозябать в неграмотности, как раньше. А калека — тот, хромой, — пусть даже он прошел Испанию, все равно он очень циничный человек, декадент, и совесть у него нечиста. Если бы у него все было в порядке с совестью, чего ради ему убежать от меня вместе с остальными?

Хайди прикусила губу. Она знала, что должна держать себя в руках, иначе произойдет сцена, после которой ей придется унижаться или потерять его, а потерять его никак нельзя. Она произнесла как можно ровнее:

— Он не убежал. Он просто удалился, потому что не выносит твоего вида.

Федя заметил ее волнение, ободряюще улыбнулся и, положив ладонь на ее руку, мягко сказал, словно обращаясь к ребенку:

— Если, скажем, ты зашла в общественное место и заметила там женщину, с которой ты на



ножах, то ты жене станешь удирать. Ты сядешь за другой столик и сделаешь вид, будто не видишь ее в упор. Уйдешь же ты только в том случае, если у тебя нечиста совесть. Или если ты понимаешь, что вся твоя ненависть уходит в песок, потому что той наплевать, и она только посмеивается над твоей враждебностью. Разве не так?

Хайди нечего было возразить, хотя она знала, что своим молчанием предаёт Жюльена, Варди, Бориса и саму себя. У нее даже не нашлось сил, чтобы отнять у Феди руку. Местечко, где его кожа прикасалась к ее, было единственным пространством тепла и жизни, ибо внутри она все так же ощущала крошечную пустоту. Она потерлась костяшками пальцев об его ладонь, и чувственное удовольствие от этого простого жеста тут же обдало ее волной такого глубокого отвращения к самой себе, что ее сильно затошнило, и на секунду кошмар непреднамеренной беременности заставил ее забыть обо всем на свете. Замерев на месте, она занялась отвратительным подсчетом чисел, словно превратившись в гудящий кассовый автомат. Щелканье прекратилось, из автомата выпал листок с датой; пока она в безопасности. Она издала еле слышный вздох облегчения и выдернула руку.

— Хочу выпить, — сказала она.

Федя тоже почувствовал облегчение; регулярные сцены заставляли его скучать до ломоты в зубах.

— Но это будет в последний раз, — предупредил он, — иначе ты не успеешь переодеться в Оперу.

Он пошевелил толстым указательным пальцем, даже не поднимая руки. Один из барменов немедленно оторвался от бутылок и с услужливой улыбкой устремился к их столику.

### III Падение героя

Лев Николаевич Леонтьев сидел в маленьком номере гостиницы на склоне Монмартрского холма перед новым полированным письменным столом, купленным накануне в универмаге. Он обдумывал покупку недели две; каждый день, проходя мимо витрины, он поедал голодными глазами этот сияющий стол с гладкой поверхностью и удобными ящичками по обеим сторонам. Он знал, что при сложившихся обстоятельствах такая покупка — страшная глупость; но с каждым днем он все больше укреплялся в мысли, что не работается ему по той причине, что стол в гостиничном номере вызывает у него непреодолимое отвращение. Стол был усеян круглыми пятнами от стаканов со спиртным и следами зубной пасты, оставленными предыдущими жильцами, и отчаянно шатался, что бы Леонтьев ни подпихивал под его кривые ножки. Он попытался было добиться замены стола от пасмурной парочки, заправлявшей отелем и по-хозяйски грубившей жильцам из-за стеклянной перегородки, однако ему было сказано, что, коль скоро ему захотелось шикарной мебели, то он волен идти на все четыре стороны. Он убеждал себя, что в его положении не пристало суетиться, и пытался заставить себя покорно высидивать за шатким столом, иногда по восемь часов кряду; однако ему никак не удавалось сосредоточиться. В конце концов он пришел к заключению, что глупо отказываться от нового стола, раз это все равно необходимый предмет, тем более что без него он все равно не может писать книгу, то есть транжирит время и проедает скромную сумму, полученную от издательства в качестве аванса. При условии строгой экономии и полного отказа от спиртного, суммы этой хватит месяца на три-четыре, больше же он ничего не получит, пока не представит рукопись или хотя бы значительную ее часть. Поэтому накануне он все-таки решился и приобрел стол.

Этим утром покупку доставил из универмага специальный грузовик, что вызвало в гостинице немалое возбуждение. Мсье Марсель, владелец и по совместительству — консьерж, заявил, что жильцам не дозволяется завозить собственную мебель, да и для старого стола из леонтьевской комнаты не найти места в других номерах; он повторил свою старую мысль о том, что Леонтьев вполне может поискать себе другое обиталище, раз ему не нравится теперешнее. К счастью, грузчики из магазина сообщили, что не могут терять время, слушая чужие споры, потому что им было велено доставить стол покупателю, а раз владелец дома возражает, они могут оставить предмет в проходе перед самой конурой консьержа, ибо так принято поступать в случае разногласий. Достоинство

Леонтьева было спасено тем обстоятельством, что ссора разгорелась теперь между мсье Марселем и грузчиками, он же просто стоял в сторонке, не отрывая взгляда от сияющей крышки стола. В конце концов, мадам Марсель, неопрятная дама, не расстававшаяся с домашними шлепанцами даже по случаю экскурсии по магазинам, появилась из своей пропахшей чесночным духом кухни без окна и, сказав грузчикам все, что она о них думает, прошептала что-то супругу — видимо, вразумила его, что наличие стола будет гарантией на случай задержки с оплатой номера. После этого мсье Марсель, отпустив еще парочку реплик, призванных спасти его репутацию, кивнул головой в сторону лестницы, ведущей на второй этаж, где располагался номер Леонтьева. Там их поджидала новая трудность, ибо комнатка оказалась слишком маленькой, и новый стол нельзя было туда запихнуть, не выкинув старый. Однако грузчики, проникнувшись, как видно, симпатией к Леонтьеву, устранили проблему, снеся по собственной инициативе старую рухлядь вниз, оставив ее у консьержа под носом и удалившись с довольными ухмылками. Самым замечательным было то, что они отказались от чаевых. Тот, что помоложе, спросил у Леонтьева, зачем ему понадобился стол. Услыхав, что на нем должна писаться книга, оба кивнули с уважением и полным пониманием, а старший даже присовокупил, ободряюще подмигнув:

— Правильно! Врежь им, товарищ!

Это-то замечание и не давало Леонтьеву сосредоточиться теперь, когда он восседал за новеньким столом, расправив на его зеркальной поверхности гладкий лист бумаги. Грузчики, поняв его беспомощность перед лицом хозяйских притеснений, автоматически зачислили его в свою когорту и пришли к выводу, что писатель, живущий в такой дыре, обязательно должен трудиться на дело революции. Если бы они проведали, что за книгу он пишет, с их лиц исчезли бы одобрительные улыбки, а братскую солидарность сменило бы презрение; он стал бы для них хуже прокаженного, и стол, по всей вероятности, никогда не оказался бы там, где ему надлежало быть. И, главное, он не мог их осуждать; более того, инстинкт и чувство вынуждали его занять сторону грузчиков, хотя это значило стать врагом самому себе.

Леонтьев неожиданно вспомнил фразу, произнесенную живописной личностью, известной под именем Святой Георгий, на памятном вечере у мсье Анатоля: бегство Леонтьева он сравнил с умственным хакари.

А ведь в первые дни все выглядело так обнадеживающе!... Когда под занавес вечера у мсье Анатоля было сообщено о смерти Первого, Леонтьев тут же воспользовался этим как шансом забрать из отеля новые рубашки и весь остальной скарб. Он знал, что в пылу неразберихи, вызванной смертью старика, люди из «особой службы» не станут им заниматься. Он вернулся в свой роскошный номер и переночевал там. Он даже подумывал о том, не произойдут ли такие перемены режима, которые позволят ему вернуться; во всяком случае, в его распоряжении было несколько дней, чтобы принять окончательное решение.

Решение, однако, принял не он, а другие люди: новость о его отступничестве быстро покинула салон мсье Анатоля, и уже на следующее утро утренние газеты пестрели заголовками типа «Герой Культуры уходит в Капую», «Ведущий писатель Содружества клеймит угнетение и защищает оккультную секту», далее в том же духе. Заголовки были, конечно, поменьше, чем можно было ожидать при нормальных условиях, ибо новость о смерти Первого потеснила прочую информацию; как бы то ни было, с утра у дверей отеля, где обитал Леонтьев, толпились журналисты, а уже днем два американских издателя прислали ему телеграммы с заманчивым предложением опубликовать книгу «Я был Героем Культуры» — как ни странно, оба не мыслили иного названия.

Поскольку факт отступничества стал достоянием гласности, мысль о возвращении можно было похоронить. Какие изменения ни постигли бы режим, одного они ему никогда не простят: симпатии к «Бесстрашным Страдальцам».

Леонтьев ласково провел пальцем по полированной поверхности стола; в самом его центре располагалась стопка глянцевой бумаги; на верхнем листе красовалось аккуратно напечатанное на машинке заглавие:

## Я БЫЛ ГЕРОЕМ КУЛЬТУРЫ

### Лев Николаевич Леонтьев

Пока это было все. Примерно пятьдесят страниц, написанных с невероятным напряжением сил за предыдущие три недели, были отправлены им в корзину. Он знал, что они никуда не годились: слишком натянуто, язвительно, сенсационно, в тоне просящего о снисхождении. Предстояло все начать заново.

Но с чего?... По логике вещей, с того момента, когда его первое стихотворение появилось в нелегальной «Искре». Или даже раньше — с детства, с происхождения. Однако агент, представлявший интересы издателей в Париже, умный и энергичный молодой человек, настаивал, что книга должна начинаться драматичной, актуальной главой, разъясняющей причины и обстоятельства его поступка, описанием обстановки запугивания и террора, в которой вынуждены существовать в Содружестве творческие личности, — и все это должно иллюстрироваться изобилующим анекдотами материалом и контрастировать с абсолютной свободой, какой наслаждаются их собратья на демократическом, просвещенном Западе. Этой части, написанной в бойком, цветистом стиле, какой ценит американский читатель, предстоит стать основой книги; прошлое же автора и первые годы Революции, представляющие ограниченный интерес, должны упоминаться лишь в случае их абсолютной надобности для понимания теперешней ситуации; лучше всего свести все это в короткую автобиографическую главу. Конечно, заторопился молодой человек, завидев насупленное неудовольствие Леонтьева, конечно, Леонтьев может написать свою книгу так, как ему нравится; он, побуждаемый искренним желанием обеспечить книге максимально возможный финансовый и моральный успех, осмелился давать советы только потому, что в каждой стране у читающей публики свой вкус. Излишне говорить, что шансы финансового успеха и политического воздействия книги несказанно поднимутся, будь книга написана с учетом возможности дальнейшей экранизации, публикации с продолжением в крупных журналах, чтения по радио и по телевидению...

«Нравится вам это или нет, — продолжал молодой человек, — никуда не уйти от того факта, что за последние пять лет ни одна книга, не эксплуатировавшая перечисленные мной предпосылки, не смогла дать прибыли».

Леонтьев не стал перебивать молодого человека, так как уже принял решение написать книгу так, как сам ее задумал. Это будет, как цинично заметил Грубер, «единственная честная книга в его жизни».

Как часто за последние десять, нет, двадцать лет он мечтал о гигантской сенсации, которая разразится после появления правды, только правды, ничего, кроме правды; какое это будет чудо — вернуть словам и фразам их первоначальный смысл, вызволить их из плена рабства и проституирования, вспомнить об их исконном целомудрии! Он уже мысленно написал целые главы такой книги — главы, кипящие огнедышащим гневом, подобно грандиозному и одновременно опустошительному потоку расплавленной лавы; главы душераздирающего плача, обильного, как слезы вавилонские; россыпи меланхолической мудрости, строки, наполненные непоколебимой верой в конечную победу справедливости и прогресса!... Увы, им так и не довелось вылиться на бумагу. Поступить иначе в то время означало бы не только безумный риск, но и напряжение синапсов, превосходящее все допустимые пределы. Пока книга оставалась плодом его воображения, Леонтьев мог продолжать оставаться нормальным Героем Культуры, подобно мужу, способному на мысленную измену, но прилежно исполняющему супружеский долг; но он знал, что лишь только доверит существующие в воображении главы бумаге, то уже не сможет ни выдавать ежегодно на гора очередную патриотическую драму — неизменную кульминацию театрального сезона на протяжении десятилетия, — ни написать хоть строчку для «Свободы и культуры». Кроме того, он никогда не расставался с убеждением, что как только ему представится возможность улизнуть, как только откроются шлюзы, то весь материал, годами копившийся за затворами синапсов, ринется наружу, подобно горному потоку.

И вот сейчас вместо очистительного потока он мог выжать из себя одни только капли злого, едкого пота...

Он снова погладил стопку бумаги. Приятное ощущение гладкой поверхности вызвало не очень симпатичное воспоминание, которое в последнее время отодвинулось на периферию его подсознания. Пустая бумага словно издевалась над ним, его тянуло к ней, и одновременно он ощущал ужас от ее присутствия; это смешанное чувство желания и бессилия было очень знакомым... Внезапно он вспомнил; вернее, кончики его пальцев вспомнили, как он впервые в жизни с такой же безнадежной алчностью ласкал другую мягкую, глянцевую поверхность — тело первой женщины, представшей перед ним обнаженной. Она была проституткой — в годы его студенчества другой возможности представиться не могло, — великолепный экземпляр с огромной рыхлой грудью, широкими бедрами и грубой, но вовсе не отталкивающей внешностью здоровой деревенской девки. Она всегда стояла на одном и том же углу, под одним и тем же фонарем, пока он ходил из школы домой, и на протяжении целого года именно она была героиней всех его эротических фантазий. Скоро фантазии стали наваждением; его мечты о ней приобрели невероятное жизнеподобие и красочность; скрупулезной проработкой деталей они чем-то напоминали воображаемые главы его будущей ненаписанной книги.

Прошло несколько месяцев, прежде чем он сумел добыть денег и храбрости, чтобы приблизиться к ней; но когда наступил долгожданный великий момент, и она разделась и улеглась на кровать — до головокружения странная фигура с выставленными напоказ деталями, виденными им до того лишь на мраморных статуях, он так и не смог преодолеть паралича и беспомощности. Сидя на краешке кровати и пяля глаза на всю эту сливочную роскошь, он только и мог, что водить кончиками пальцев по ее бедру, ощущая то же самое чувственное удовольствие, смешанное с постыдной неспособностью что-либо совершить, что и сейчас. Женщина просто лежала в ожидании продолжения, раскинув согнутые в коленях ноги и заложив руки за голову, готовая превратиться в воплощение его мечты; но в конце концов благосклонная улыбка на ее лице сменилась издевательской усмешкой, после чего презрение уже чудилось ему в каждой складке ее тела. Однако гадать, с чего бы это, ему тогда не пришлось. Лениво потянувшись, девка скорчила гримасу, сморщив нос и высунув язык, и пренебрежительно произнесла:

«Ну, вот — какой развратный мальчишка! Уж наверное ты только и думаешь, что об этом, и занимаешься этим сам с собой, стоит тебе остаться одному; поэтому у тебя ничего не выходит сейчас. Развратный и испорченный — вот ты какой. Иди, иди домой, продолжай свои делишки. Только на это тебя и хватает...» — Она сделала рукой неприличный жест и стала насмешливо наблюдать, как он, поспешно схватив одежду, заливаается краской и с трудом сдерживает слезы.

«Вот-вот — самое время расхныкаться. Все вы одинаковые — развратные слюнтяи. А все город и эти ваши учителя в школе... — Казалось, ей доставляет удовольствие унижать его, развивая свою крестьянскую философию. — Вас держат в крепкой узде, запирают в клетку, твердят, что вы лишитесь жизни, если не станете слушаться, так что в конце концов вы уже не можете действовать, как надо. Вот вам и приходится запирается по туалетам и заниматься там вот этим самым делом в одиночестве. В этом-то вы мастера! — Она снова повторила непристойное движение. — Только не в этом!» — Она потянулась рукой к густой поросли у себя между ногами.

Леонтьев встал и зашагал по комнатенке, чувствуя, до чего ему не хватает старенького халата. Он никак не мог понять, что с ним творится. Он смутно чувствовал связь между этими воспоминаниями и ощущением бессилия, охватившим его при прикосновении к новому столу и чистой бумаге, предлагающей себя, провоцирующей его, насмехающейся над ним. Он даже ощутил странное удовлетворение от странной шутки, которую сыграла с ним его память, от того, на какие символические ходы способно его подсознание. Но, видя символ, он никак не мог его расшифровать. Как можно сравнивать более чем понятное смущение неопытного мальчугана с унижением маститого, зрелого писателя? Параллель казалась заведомо негодной. Однако у нее имелась и положительная черта: пусть ему и довелось вспомнить столь постыдный эпизод, это был всего лишь эпизод. При следующем случае, когда обстоятельства сложились уже не так жестко, он не ударил лицом в грязь и, слава Богу, больше никогда не сталкивался с этой неприятной проблемой. Возможно, и теперешнее его затруднение пройдет точно так же, само собой? В таком случае самое правильное — не насиловать себя, предоставив синапсам заслуженную передышку...

Ерунда, оборвал он себя. Изволь собраться с мыслями, стиснуть зубы и сосредоточиться. В конце концов, уж если ты всегда был способен творить по команде, под самым невыносимым и выматывающим душу давлением, то будет парадоксом, нет, даже гротеском, если на условия полнейшей свободы ты прореагируешь полнейшим бессилием. Другие, коллеги Леонтьева, исчисляемые дюжинами, впадали в паралич от ужаса и отвращения, валились с ног, совершали смертельные ошибки и пропадали навсегда; он же выдержал гонку, преодолел все барьеры — едва ли не единственный в своем поколении. Разве не абсурд — сдаваться после всего этого?

Леонтьев проглотил две таблетки аспирина и снова уселся за стол. Бумага все так же гипнотизировала его. Он заподозрил, не в похмелье ли дело, однако не обнаружил никаких симптомов, подтверждающих догадку. Он никогда не брал в рот ни капли спиртного до ужина, то есть до восьми вечера. И все же...

Недели две тому назад, когда Леонтьев еще был в моде, молодые супруги-американцы, работавшие в одном и том же журнале (или газете?) пригласили его в заведение под названием «Кронштадт». Это было что-то вроде ночного клуба, но там имелся бар, где можно было просидеть на высоком табурете перед стойкой всю ночь, потягивая порцию-другую недорогого бренди с содовой и наблюдая за танцующими, покачивающимися под мелодии небольшого цыганского оркестра, или слушая певцов, исполняющих польские, украинские, чешские и венгерские народные песни. И певцы, и завсегдатаи были по большей части выходцами из этих стран, «ушедшими в Капую»; другие посетители шпионили за ними; были здесь и такие, кто, не имея за плечами никакого политического прошлого, просто подались за границу, когда их страны были «освобождены» Содружеством. В последнее время ощущался наплыв эмигрантов из Кроличьей республики.

Однако в «Кронштадте» не было ни великих князей, ни генералов, пересевших за руль такси, ни принцесс; швейцар не был бывшим гвардейским офицером, а барменша — бывшей балериной Санкт-Петербургской «Мариинки». Легендарные деньки, когда шампанское лилось рекой и повсюду громоздились блюда с икрой, остались в прошлом, между войнами. Плавающее бревно «Кронштадта» прибило к берегу позднейшей, совсем другой волной. Вместо великих князей и балерин здесь обосновались адвокаты, журналисты, бывшие заместители министра сельского хозяйства и члены парламента от либеральной, демократической, социалистической партий. Попадались тут и падшие ангелы из Движения, и неизбежные экзотические фигуры: эсперантист из Бухареста и филателист из Ковно, чьи хобби подверглись запрету ввиду космополитических тенденций и неизбежных контактов с иностранцами; психоаналитик — последователь Юнга, генетик — последователь Менделя, художник с формалистскими наклонностями и философ, впавший в неокантианский бандитизм. Все это были довольно потертые личности; самым большим, что мог предложить «Кронштадт» по части светского блеска, была прибалтийская баронесса, да и та по сниженной цене; более того, даже она не избежала участи члена радикальной партии мелких собственников своей страны.

Помещение «Кронштадта» напоминало длинный затоптанный тоннель, разделенный плюшевой занавеской на две половины. В первой, сразу у входа, помещалась стойка из сверкающего красного дерева и несколько столиков; в заднюю половину тоннеля, ту, что за занавеской, вели две ступеньки вниз; тут столы стояли вдоль стен, так что между ними оставалось узкое пространство, где могли толкаться танцующие и выступать артисты. В дальнем конце тоннеля имелась дверца, на которой светящимися буквами было выведено слово «TOILET», дабы надпись была заметной даже при погашенном свете; буквы вызвали в памяти надпись, загорающуюся в салоне самолета в момент взлета, когда пассажирам напоминает о необходимости пристегнуть ремни. В теории, занавеску полагалось всегда держать задернутой, чтобы заднее святилище оставалось отделенным от шумного бара; однако мсье Пьер, владелец заведения, частенько оставлял ее распахнутой, чтобы посетители бара могли внимать любимым исполнителям и глазеть на танцующих. Пьер, напоминающий внешностью стареющего сутенера из квартала Пигаль, коим он в свое время и подвизался, правил в стиле робингудовской демократии: он безжалостно стриг богатых бездельников, вливая в них разбавленное шампанское, однако, проникнувшись симпатией к какому-нибудь спустившему последнее завсегдатаю, он мог позволить ему часами сидеть у стойки с одной щедрой порцией бренди с содовой, а то и отпускал избранным личностям в кредит с недельной отсрочкой выплаты.

В тот вечер, когда Леонтьев впервые посетил «Кронштадт», его узнали сразу несколько

завсегдаев, видевших его портреты в газетах. Певцы стали исполнять его любимые песни, прибалтийская баронесса, художник-формалист, один из бывших заместителей министра сельского хозяйства и другие подсади к нему за столик, а Пьер не жалел шампанского за счет заведения. Супруги-американцы, пригласившие Леонтьева, наслаждались обстановкой вовсю и скоро захмелели. Оба были страшно молоды и радикально настроены, раньше симпатизировали Движению и были глубоко тронуты, когда Пьер объяснил, что назвал заведение «Кронштадт» в память о восстании балтийских матросов в 1920 году, безжалостное подавление которого стало поворотным пунктом в истории юного революционного государства и началом его превращения в полицейский режим. Они были тронуты еще больше, когда художник, филателист и кто-то из журналистов поведали свои истории преследования и бегства. Супруги-американцы мучались от комплекса вины за то, что успели побыть попутчиками и сторонниками тиранического режима; слушая рассказы за столиком, они обменивались многозначительными взглядами, и муж то и дело говорил вполголоса жене: «Вот от чего спасла нас Божья милость». По мере появления все новых бутылок и прибытия все новых слушателей, супруги укреплялись в убеждении, что именно они виноваты во всех этих несчастьях и катастрофах; стремясь искупить свое прошлое, они поили всех желающих, так что вечеринка получилась развеселой и совершенно дезорганизованной. В конце концов молодой американец улизнул с главной жертвой своего преступного прошлого, прибалтийской баронессой, покаявшись ей, что работал раньше агентом секретной шпионской сети Содружества, — это было драматической импровизацией, в которую он был отныне обречен свято уверовать сам, — и оставив Пьеру половину своих кредитных карточек. Тому пришлось немало потрудиться, дабы отговорить его от идеи расстаться также с пальто, шляпой и галстуком, которые должны были помочь в дальнейшей жизни какой-нибудь жертве тирании и угнетения.

Леонтьев оказался один на один с американкой, сочтя ситуацию одновременно многообещающей и затруднительной. Он пребывал в безмятежном настроении, но вовсе не был пьян — частично потому, что вообще редко напивался, а частично ввиду того, что перед уходом глотнул оливкового масла — старая привычка, которая всегда помогала ему избежать ловушек, которыми кишели при всем кажущемся веселье официальные банкеты в Содружестве. Он предложил себя в качестве провожатого и был немало озадачен, когда она пригласила его к себе, чтобы опрокинуть еще по рюмочке. Какое-то мгновение он колебался, подозревая подвох, однако юная леди, неверно расценив его нерешительность, сделала над собой усилие, чтобы придать взору утраченную сфокусированность, и беззаботно уверила его, что ее муж ни за что не объявится дома раньше утра, и что они предоставляют друг другу полнейшую свободу в таких делах. Стоило им подняться в номер, как она незамедлительно обслужила Леонтьева наиболее эффективным и гигиеническим образом, после чего отошла ко сну. Лишь добравшись до своего отеля, преодолев перед этим значительное расстояние пешком, чтобы освежиться, он сообразил, что не знает ни имен, ни фамилии гостеприимной пары юных радикалов; однако он решил сохранить о них благодарную память.

По прошествии нескольких дней, мучаясь от одиночества и депрессии, Леонтьев пришел в «Кронштадт» самостоятельно и провел там премилый вечерок, болтая с баронессой и художником за бутылочкой шампанского. Пьер встретил его как старого знакомого, дружба с которым делает ему честь, и пригласил появиться снова в ближайшую пятницу на «небольшой тихой вечеринке» по случаю бракосочетания одного из певцов. Вечеринка затянулась далеко за полночь, и Леонтьев, откликнувшись на просьбы гостей, продекламировал два своих стихотворения, написанные вскоре после революции, а потом спел сильным, мужественным баритоном забытую партизанскую песню. С этого времени он был зачислен в круг завсегдаев, имевших привилегию потреблять вместо шампанского бренди с содовой, если у них возникало такое настроение. Сперва он заглядывал сюда не больше двух раз в неделю, потом довел норму до трех раз; однако в последние дни он появлялся в «Кронштадте» ежевечерне, пусть даже всего на полчаса, дабы расслабиться у стойки с рюмочкой-другой бренди. Он никогда не напивался допьяна, никогда не лез людям в душу и пользовался дружеским, теплым и уважительным отношением публики. Мало-помалу, посещение «Кронштадта» превратилось для него в кульминацию дня, самый яркий его момент, единственное вознаграждение за упорные и бесплодные усилия.

Его влекла сюда не ностальгия по прошлому, не спиртное, не общество баронессы, а то любопытное обстоятельство, что после первых же глоточков шампанского или бренди у стойки, на безопасном расстоянии от письменного стола, он тут же переставал относиться к своей книге как к

жгучей проблеме и чувствовал, что может складывать страницу за страницей прямо в голове. Ему даже хотелось начать писать тут же, в баре, чтобы не терять удачных находок, но этому плану так и не суждено было осуществиться. Писать на людях напоминало бы эксгибиционизм; кроме того, его не оставляло предчувствие, что стоит ему только попытаться, как весь поток слов в голове немедленно иссякнет. В итоге единственный час удовольствия и расслабления, отведенный ему за целый день, будет непоправимо испорчен...

Леонтьев подошел к окну и посмотрел на море остроконечных крыш, мерцающих под бледным утренним солнцем. Почему же это так трудно — написать «единственную в жизни честную книгу»? Откуда взялся этот непреодолимый барьер, взметнувшийся между его сознанием и пачкой разлинованной бумаги? Походило на то, что на нем лежит проклятие, обращающее слова, звучащие в его голове как чистая правда, в отъявленную ложь, лишь только он занесет руку над бумагой. Еще больше его ужасало то обстоятельство, что, несмотря на его решимость не изменять первоначальному плану — то есть, начать книгу с описания своего детства, перейти к экстатическому подъему первых дней революции, и писать, руководствуясь исключительно своими чувствами, отвергнув свысока советы издателей и вкусы публики, — он всякий раз пытался начать именно с истории своего бегства, как рекомендовал умница-агент.

## **Я БЫЛ ГЕРОЕМ КУЛЬТУРЫ**

### **Лев Николаевич Леонтьев**

Он стиснул зубы, уселся поудобнее на жестком стуле перед письменным столом, вывел «Глава первая: Бегство» и исписал пять страниц своим наклонным боевым почерком, ни разу не подняв головы, автоматически стараясь не изменять «бойкому, цветистому, драматическому стилю», отвечающему рекомендациям молодого агента. Конечно, говорил он себе с сожалением, это совершенно не его стиль. Но и тот стиль, которым он пользовался на протяжении последних двадцати лет, тоже не принадлежал ему. На каком-то этапе этого долгого, изнурительного пути он, видимо, утратил индивидуальность; однако разве теперь определишь, когда именно это произошло? Скорее всего, утрата индивидуальности была постепенным процессом, подобным тому, как человек, сдавая в прачечную носовые платки, постепенно теряет их все до одного.

Он перечитал свои пять страниц и изорвал их в клочки. В голове воцарилась столь жуткая, тревожная пустота, что его охватила паника, и он решил отправиться в «Кронштадт» на час раньше обычного. Он уцепился за открывшуюся возможность с облегчением тонущего, внезапно стукнувшегося головой о болтающийся на волнах спасательный круг. Там, за полированной стойкой, после первых же глотков бренди с содовой чувство невыносимой пустоты уступит место приятному внутреннему свечению. Ожидаемое облегчение было таким же предсказуемым, даже неизбежным, как закон, согласно которому природа не терпит пустоты.

От паники не осталось и следа. Ощущалась лишь усталость синапсов; и одновременно обрело четкие очертания смутное дотоле видение богини Правды, возлежащей во всем своем великолелии на кушетке с раздвинутыми ногами и с насмешливо заложенными за голову руками.

## **IV Тень неандертальца**

Я созвал, выражаясь словами журналистов из отделов светской хроники, «видных представителей нашей интеллигенции», — обратился Жюльен к гостям, собравшимся в его кабинете, — ибо будет непростительной глупостью, если мы уподобимся стаду овец, которых гонят на бой-ню. Предлагаю по крайней мере немного поблеть, хотя готов признаться, что испытываю

скептицизм в отношении результатов. Однако пессимизм — удел философов, активному же гуманисту надлежит надеяться, даже когда дело совершенно безнадежно. Упрек в пасмурном отчаянии, пребывании во мраке обреченности, который мы столь часто слышим в свой адрес, проистекает, по моему, из недостаточно ясного представления о двух па-раллельных плоскостях нашего сознания: одна занята отрешенным созерцанием бесконечности, другая же действует во имя неких этических императивов. Приходится признавать их неизбежное противоречие. Достаточно согласиться с моральной ущербностью пораженчества и отчаяния, пусть они и оправданы с точки зрения логики, — и тогда активное сопротивление превратится в моральную необходимость при своей логической абсурдности. Перед нами откроются новые подходы к гуманистической диалектике...

Отец Милле, восседавший в кресле у окна, издал болезненный стон, словно кто-то резво наступил ему на мозоль.

— Вот это самое слово... — пожаловался он. — Без него никак нельзя?

— Не вижу в этом слове ничего дурного, — вставил профессор Понтье. — В конце концов...

— *Rax vobis* <sup>20</sup>, — сказал отец Милле. — Возражение снимается.

Жюльен, привалившись спиной к книжному шкафу, оглядел лица семерых гостей, стараясь побороть враждебное к ним отношение. В конце концов, каждый век освещается теми огнями, которые есть в наличии. Вблизи звезды других веков тоже казались тусклыми. Отец Милле при всех своих скорее располагающих слабостях, а возможно, именно благодаря им, оставался главным авторитетом среди интеллектуалов с религиозными наклонностями; его недавняя статья о Юнге стала заключительным росчерком пера в священном союзе между Психиатрией и Церковью, что произвело подобающее впечатление; раздались даже шуточки о неизбежной теперь канонизации доктора Зигмунда Фрейда. Что касается профессора Понтье, то он оставался излюбленным философом молодого поколения, питавшего симпатию к его трудам из-за ясности их стиля и полной невнятности смысла. Однако после скандала с Богаренко профессор Понтье вышел из Движения за мир и прогресс и подписал манифест, взывавший о финансовом содействии беженцам из Кроличьей республики; ввиду этого он был заклеен прессой Содружества как «сифилитичный паук» — «кровожадные гиены» вышли из моды после воцарения Социалистического Сарказма.

Кроме того, здесь находился Дюпремон, романист, недавно разразившийся новым бестселлером, имевшим головокружительный успех. Он оставался одним из немногих, кто еще был в состоянии писать, тогда как большинство писателей не могли выжать из себя ни словечка, и вся панорама литературы и искусства все больше напоминала спущенный детский мячик. Он был, видимо, самым наивным из всех, и именно эта наивность помогала ему держаться на плаву, когда остальные благополучно шли ко дну. В его последнем романе был один особенно неожиданный поворот: герой, молодой священник, умудрился до конца пробыть праведником, несмотря на самые заманчивые соблазны, описываемые с ни с чем не сравнимыми богатыми подробностями. Именно в этих соблазнах и заключалась мораль: читатель, идентифицируя себя с героем, давал волю собственному воображению, оставаясь в то же время переполненным сознанием своей возвышенной добродетели. Был здесь и Леонтьев, от которого ждали практических пояснений на предмет возможности движения сопротивления в культуре, и Борис, недавно выписавшийся из больницы и больше обычного походивший на труп; Жюльен пригласил его главным образом для того, чтобы попытаться вывести из состояния углубляющейся апатии. В кабинете было еще двое мужчин: издатель наиболее читаемой парижской ежедневной газеты и представитель размытой, но довольно влиятельной категории литераторов, не упускающих возможности фигурировать среди членов разнообразных комитетов и советов, отстаивающих благородные идеалы. Приглашен был также Сент-Иллер, но он, по своему обыкновению, опаздывал.

Получилась не внушающая особых надежд компания. Но, не уставал повторять про себя Жюльен, члены Якобинского клуба или ленинского эмигрантского кружка тоже в свое время набивались в прокуренные помещения и не являли собой многообещающей картины.

— Предлагаю, — объявил он, — чтобы каждый из нас по очереди изложил в течение



нескольких минут свои мысли о том, что предпринять в случае войны и новой оккупации. Знаю, это звучит по-мальчишески наивно, но тот факт, что вы приняли мое приглашение, свидетельствует о том, что вы тоже ощущаете потребность в обмене мыслями — или их отсутствие, если так вам больше нравится.

Из его рта не торчала сигарета, следовательно, это был необычный Жюльен. Возможно, причиной стала новость об открытии большого веноградского процесса по делу о шпионаже «профессора Варди и его сообщников», а может быть — преследующее каждого из них предчувствие неминуемой катастрофы. Его циничное равнодушие пропало без следа — по крайней мере, на время; он был почти жалок, умоляя всех этих людей собраться, хотя при такой неоднородности состава встреча была обречена на провал. Некоторые из гостей чувствовали смущение, ибо едва знали хозяина. На протяжении последних лет его литературная репутация неуклонно убывала. Он никогда не посещал литературных салонов и премьер, а изредка публикуемые им статьи были пропитаны до того горькой и откровенной безнадежностью, что читатели, знакомясь с ними, всякий раз ощущали неудобство. В конце концов, критики пришли к молчаливому согласию, что часто случается по отношению к писателям, долгое время служившим объектами яростных споров: на него наклеили ярлык «пророка гибели», и утвердилось мнение, будто его пораженчество находится в деликатной психологической связи с увечьем, заработанным на испанской войне, — хромота и изуродованное лицо уязвляли, видимо, его мужскую гордость и заставляли взирать на мир исключительно пессимистически. Ходили также слухи, что он с недавних пор попал под влияние отца Милле и вот-вот переметнется под длань Церкви — шаг, совершенный раньше многими его бывшими коллегами по революционному движению. Как бы то ни было, его голос звучал в телефонной трубке до того настойчиво, что потенциальные гости не нашли в себе сил отклонить столь необычное приглашение — хотя бы по той причине, что это обеспечивало им алиби перед собственной совестью. Тем временем стало очевидно, что и для Жюльена основным мотивом всей затеи был отчаянный поиск алиби.

Слова самого Жюльена, что ничего серьезного от встречи и не ожидается, позволили присутствующим несколько расслабиться. Издатель влиятельной газеты выразил всеобщий настрой, когда сказал, обращаясь к присутствующим:

— Нам обязательно нужно поговорить! Должен сознаться, что, получив любезное приглашение нашего друга господина Делаттра, я был сперва несколько растерян и не догадывался, в чем же истинное назначение встречи. Но, думаю, теперь я все понял: уже тот факт, что мы представляем самые различные подходы к жизни и политические тенденции, может помочь выработке нового подхода к стоящим перед нами проблемам. Согласен, что никогда не следует оставлять попыток преодолеть бессмысленные раздоры, разделяющие политические партии; нужно пробовать новые направления мысли и приходить к оригинальным решениям. Но возможно ли решение как таковое? И не предпочтительнее ли в определенных условиях усвоить эластичный, положительный подход к событиям на шахматной доске Истории, тем более если они предстают в виде фатальной неизбежности, нежели накликивать новые страдания и битвы, жестко отказываясь от сотрудничества и учиняя безответственные провокации? Вот какой предварительный вопрос хотелось бы мне задать...

Мсье Турэн умолк. Он был полным господином чрезвычайно преуспевающего вида с золотыми запонками на манжетах и жемчужной булавкой в скромном галстуке. Благодаря назойливости журналистов светской хроники, для публики не было секретом, что он приобрел дом в Марокко вблизи Касабланки и частный самолет, который доставит его туда вместе с семьей в случае необходимости. Это, видимо, позволяло ему сохранять спокойствие и беспристрастность.

После его короткого выступления воцарилась тишина. Отец Милле, раскинувшийся в плетеном кресле, выклянченном Жюльеном у консьержки, пренебрежительно хмыкнул. Жюльен нехотя заговорил снова:

— Меня всегда удивляло, почему в присутствии более чем четырех человек так трудно говорить очевидные вещи. Все присутствующие знают, что мы доживаем последние дни Помпеи — но, в отличие от жителей Помпеи, мы предупреждены об этом загодя. Пусть мы не можем предвидеть, когда именно произойдет взрыв и в какой конкретно форме, мы знаем в общем и целом, что должно случиться. В момент возникновения конфликта у нас начнется гражданская война. Через

несколько дней мы будем оккупированы — либо открыто, либо под каким-нибудь удобным предлогом или прикрытием — и включены в состав Содружества Свободолюбивых Народов...

Его слова были встречены негодующим рокотом. Жюльен, демонстрируя гостям изуродованную половину своего лица, продолжал нарочито небрежно:

— Вот я и говорю — мы будем оккупированы. Извините меня за голые факты, среди интеллигентов это считается дурным тоном. Однако когда это случится, у армии Французской Республики не окажется, как вам известно, ни технической возможности, ни желания сражаться...

— *Ca alors!* <sup>21</sup>— не выдержал мсье Турэн. — Вы заходите слишком далеко, вам не кажется? — Он огляделся в поиске поддержки, но на всех лицах, не считая литератора, издававшего возмущенное бурчание, застыло каменное, непроницаемое выражение.

— ...ни желания сражаться, — повторил Жюльен. — Не говоря уже о таких общеизвестных фактах, как разница в количестве дивизий и стратегическая неспособность американцев удержать в Европе хоть одну линию фронта по нашу сторону Пиренеев...

— Не согласен! — прервал его Дюпремон, перекрыв нарастающий ропот. — Не знаю, к чему вы клоните. Я протестую...

— Бога ради, дайте ему договорить! — вмешался отец Милле. Он фыркнул и со вздохом присовокупил в наступившей тишине: — Будьте же честны, господа! Делаттр всего лишь повторяет то, что мы все и так знаем наизусть.

— Через несколько дней после оккупации, — продолжил Жюльен, — начнется большая гигиеническая операция. Вся французская нация, все ее политические и культурные институты, библиотеки, традиции, обычаи, идеи — все будет загружено вперемешку с грязным бельем в большую стиральную машину для обработки горячим паром. Большая часть всего этого не выдержит такого обращения. Выживут лишь самые грубые ткани. Но и они выйдут на свет искрошенными, укороченными, задубевшими от крахмала, стерилизованными, неузнаваемыми. После этой операции мир в его теперешнем виде прекратит существование.

Мсье Турэн кашлянул.

— Позвольте спросить, — сказал он, поглядывая на часы, — с какой целью нам предлагается выслушивать эту проповедь о всеобщей гибели?

Жюльен пожалел, что пригласил его. Он-то надеялся, что присутствие влиятельной персоны создаст менее суетную атмосферу, выведет встречу за рамки чисто «интеллигентского» собрания. Он набрался терпения и заговорил снова:

— А потому, что, как известно, даже такие неофициальные собрания станут в будущем невозможными. Люди, жившие при этом режиме, внутри этой чудовищной стерилизующей машины, говорили мне, что отдали бы полжизни за привилегию всего часок поговорить так же свободно, как мы говорим здесь, в этой комнате... — Он бросил взгляд на Леонтьева; но тот, не отрываясь, смотрел в окно. — Через неделю, месяц, три месяца мы тоже утратим эту привилегию. Вот когда каждый из нас почувствует, что охотно пойдет на любую жертву, лишь бы вновь обрести вот такую возможность обсуждать с другими людьми свои планы на будущее. Но такой возможности больше не представится...

Гости в замешательстве заерзали. Дюпремон открыл было рот, но передумал и ничего не сказал. Следующим оратором оказался профессор Понтье.

Нельзя не понять, сказал он, беспокойства Делаттра перед лицом критической ситуации в мире, однако он считает, что беспокойство это чрезмерно. Если даже допустить, всего лишь для дискуссии, что предсказанное Делаттром возможно, из этого никак не следует, что последующие события должны рисоваться одними черными красками. Ведь сам Делаттр обмолвился, что невозможно предвидеть конкретных обстоятельств, при которых возможное превратится в реальное, — сам же он вовсе не уверен, что такого развития нельзя избежать. А поскольку любое развитие событий обязательно определяется конкретными обстоятельствами, трудно, не зная этих обстоятельств,

принимать решения и даже вести плодотворную дискуссию. Одновременно он готов согласиться, что было бы ошибкой дожидаться катастрофы в позе фаталиста, и что для защиты мира, демократии и интересов всех угнетенных наций и классов требуется крайняя бдительность...

Он особо выделил последнюю фразу и неожиданно умолк, дабы присутствующие прониклись значением сказанного. Действительно, единственной интерпретацией того обстоятельства, что он поставил «угнетенные нации» перед «классами», могла быть догадка, что он таким образом намекает на положение в восточноевропейских странах. Профессор Понтье по-своему дошел до предела возможного, стараясь не отстать от требований момента. Никто, однако, не счел возможным подметить это, кроме мсье Турэна, который с неожиданным энтузиазмом выкрикнул: «Слушайте, слушайте!» и даже привстал со стула. Снова посмотрев на часы — на них вместо второй стрелки красовался счетчик Гейгера, — он подошел к Жюльену:

— Думаю, — произнес он с примирительной улыбкой, — профессор Понтье внес полную ясность в ситуацию, и на теперешнем этапе к этому вряд ли можно что-либо добавить. Прошу извинить меня, господа...

Жюльен вежливо проводил его до двери. Выйдя в коридор, мсье Турэн внезапно смутился.

— Если совсем откровенно, *mon cher*, — объяснил он извиняющимся тоном, — когда вы позвонили мне, у меня сложилось ошибочное впечатление, что речь пойдет о каком-нибудь издательском проекте — литературном журнале или о чем-то еще в этом роде. Если у вас есть какие-нибудь планы в этом направлении, звоните мне не колеблясь. Пока же, если позволите, я дам вам дружеский совет: не поддавайтесь мрачному пессимизму. Культ обреченности — плачевный симптом нашего времени. — Крепко зажав под мышкой противорадиационный зонтик, он помахал Жюльену ручкой и стал осторожно спускаться по скрипучим ступенькам.

Закрыв входную дверь, Жюльен обнаружил, что литератор, не сказавший за все время ни одного слова, тоже собрался уходить. Это был невысокий пожилой господин в элегантном костюме и старомодных гетрах.

— Сожалею, — молвил он, — видимо, я неверно понял цель собрания. Если здесь образуется какой-то комитет, прошу вас не вписывать в него моего имени. — Поколебавшись, он все же добавил, забирая шляпу и перчатки: — Во всяком случае, не на данной стадии. Посмотрим, кто еще в него войдет. Не будете ли вы так добры направить мне список спонсоров, почетных членов и так далее...

Вернувшись в кабинет, Жюльен застал там изрядно разрядившуюся атмосферу. Понтье и Дюпремон затеяли спор, отец Милле погрузился в беседу с Леонтьевым. Один лишь Борис, устроившийся на подоконнике, разглядывал улицу в полнейшей апатии. За целый час, минувший с момента его появления, он не изменил позы ни на миллиметр.

Отец Милле встретил Жюльена недоуменным взглядом.

— Чего ради было приглашать на такое собрание этих людей? — поинтересовался он.

Жюльен пожал плечами.

— Я никогда не питал к ним симпатии, вот и подумал, не пригласить ли их. Искушение за гордыню ума, говоря вашим языком... — Он запрыгал к своему излюбленному местечку в углу комнаты и с облегчением оперся о книжный шкаф. — Не знаю, понимает ли хоть кто-нибудь, зачем я созвал это идиотское собрание. Наверное, это попытка облегчить совесть. В предыдущих войнах интеллигенция оказывалась такой жалкой и презренной! Я всегда считал, что для нас худший грех — совершить оплошность. Опять-таки, пользуясь вашим языком.

Полуболевшись, как Жюльен трется позвоночником о шкаф, подобно зверю, страдающему от чесотки, отец Милле вполголоса сказал:

— Не означает ли это, что вы созрели для того, чтобы всерьез перейти на наш язык? — Он одобрил свой вопрос доброй порцией раблезианского смеха, но глаза его смотрели все так же проницательно.

— Я проглотил бы непорочное зачатие и все остальные догмы, как блюдо с устрицами, если бы вы знали, как быть со стиральной машиной. Но, да благословит Господь ваше невинное сердце, вы знаете не больше, чем Турэн...

Жюльен и отец Милле были однокашниками, и их все еще связывали воспоминания о былой тесной дружбе. Отец Милле собрался было ответить, когда Борис внезапно соскочил с подоконника, как ожившая статуя. Выпрямившись во весь свой сухопарый рост, он простер руку в сторону Понтье в осуждающем жесте. Все затаили дыхание.

— Почему вы не избавитесь и от него? — пронзительно выкрикнул Борис. — Он предатель!

Жюльен запрыгал к нему, надеясь успокоить. Понтье резко встал, возмущенно подыскивая слова. Остальные трое присутствующих хранили молчание.

— Не обращайтесь внимания, профессор, — заторопился Жюльен. — Мой друг очень возбудим: опыт пребывания в гуще свободолюбивого народа и так далее...

Понтье по-прежнему беззвучно открывал рот; его голова дрожала. Отец Милле и Дюпремон шептали ему примирительные слова. Однако Борис расслышал их негромкие голоса и прокричал еще более пронзительно:

— Он предатель!

После этого он посмотрел на Понтье в упор и неожиданно спокойно проговорил:

— Вы предатель, хотя сами и не подозреваете об этом. Уходите отсюда.

В комнате вновь зазвучали примирительные голоса; даже Леонтьев, казалось, очнулся от своих дум и с любопытством воззрился на соседей. Понтье наконец-то набрал в легкие достаточно воздуха.

— Как вы смеете, мсье! — повторил он несколько раз, причем с нарастающим чувством собственного достоинства. Казалось, еще немного — и он швырнет обидчику свою визитную карточку и вызовет его на дуэль в Булонском лесу. Такая возможность и впрямь пришла ему в голову, вместе со всеми мыслимыми последствиями: грандиозной рекламой неонигилистскому движению и изысканной статейкой, оправдывающей возрождение древнего рыцарского обычая, который, пусть с оговорками, можно рассматривать как символ неизбежного появления индивидуалистской антитезы коллективистским тенденциям в обществе.

Он уже предвкушал удовольствие, как вдруг вспомнил, что не захватил с собой визитной карточки; без карточки же или хотя бы перчатки, которую можно было бы бросить в лицо сопернику, красивый жест будет выглядеть не слишком убедительно.

— Боюсь, если ваш друг не извинится, то одному из нас придется покинуть собрание, — сказал он Жюльену, чувствуя, что у него снова начинает дрожать голова. Жюльен кивнул и сказал:

— Да, и я боюсь, что так будет лучше всего. — Но вместо того, чтобы выпроводить Бориса, Жюльен, бросая Понтье новое оскорбление, спокойно присовокупил: — Пойдемте, я вас провожу. Я вам все объясню.

В кабинете снова повисла тишина. Чувствуя на себе взгляды всех присутствующих, Понтье опять стал задыхаться. Потом голосом, которому полагалось выражать благородное самообладание, но в котором на самом деле прозвучала всего лишь мальчишеская бравада, он выкрикнул:

— Спасибо, я сам найду выход!

Выглядел он довольно жалко. Жюльен заковылял за ним и, глядя как Понтье забирает свою одежду, с кривой усмешкой произнес:

— Кажется, вечер оказался не очень-то успешным.

Понтье ожидал извинений, но Жюльен всего лишь открыл ему дверь в притворном удручении.

— Позвольте указать вам, — сказал Понтье, — что я нахожу ваше поведение воистину непростительным. — Он все еще ждал разъяснений, униженно застыв в дверях. Жюльену пришлось сделать над собой усилие.

— Конечно, — утомленно произнес он, — поскольку оскорбление нанес Борис, то я должен

был попросить удалиться именно его. Но, как я сказал, он слишком много перенес...

— Это не извиняет его поступка. Как и вашего, — заметил Понтье, все еще стоя в дверях с трясущейся головой.

— В данном случае — извиняет, — сказал Жюльен более твердо.

— Даже то, что он назвал меня предателем? — воскликнул Понтье раздраженным голосом недоросля, которому никогда не суждено повзрослеть.

— Он сказал, что вы предатель, хотя сами этого не сознаете... — Жюльен не стал продолжать. Но, несмотря на его молчание и выразительную позу у распахнутой двери, Понтье никак не мог заставить себя уйти.

— И какой же принцип или ценность я предал? — осведомился он все тем же раздраженным голосом.

— Господи! — не выдержал Жюльен. — Я вам не судья и не исповедник.

— Но это... это же неслыханно! — взмолился Понтье. Казалось, он вот-вот разрыдается. Жюльен знал, что стоит позвать его назад, и он охотно вернется, забыв про оскорбления. Он тоже искал алиби перед собственной совестью, пока трубы Судного дня не призвали его к ответу. Но если позволить ему возвратиться, он примется за старое и заговорит в прежнем тоне. Жюльену пришлось в голову, что Понтье страдает своеобразной, но довольно распространенной формой помешательства.

— Лучше уж идите, профессор, — мягко произнес он и захлопнул дверь у него перед носом.

Войдя в кабинет, Жюльен застал Дюпремона и отца Милле погруженными в негромкую беседу. Борис нетерпеливо расхаживал взад-вперед.

— Вот и ты! — вскричал Борис. — Теперь, когда ты выставил этого предателя, мы можем вернуться к делу.

— Валяй! — безрадостно буркнул Жюльен. Борис тоже походил на безумца, только страдающего иной манией. Остальные трое гостей взирали на него с любопытством.

— Теперь всем должно быть ясно, — начал Борис, все так же меряя комнату шагами, — что всех нас облапошили и заставили уверовать, что Он — обычный человек, теперь же мы, наконец, открыли для себя очевидную истину, что Он — Антихрист. Не знаю, как можно было столь долго оставаться слепцами. Конечно, нас специально заставляли думать, что враг — это страна, партия или что-нибудь еще. Но следовало давным-давно понять, что ни одна страна или партия не способна на то, что вытворяет этот враг... Да, да... — Он отмел нетерпеливым жестом воображаемые возражения и улыбнулся отцу Милле, остановившись перед ним. — Да, ваши инквизиторы делали в свое время большие гадости, но все они — детские игры по сравнению с этим. Возможно, то была репетиция... — Он умолк, пораженный этой мыслью, пришедшейся ему по вкусу. — Да, наверное, это и была репетиция! — торжественно произнес он. — Но на этот раз с репетициями покончено, теперь Он дает собственно представление. Женщин и детей угоняют в пустыню и обрекают на смерть. Мужчин увозят в заполярную ночь, где они через короткое время превращаются в зверей. Других подвергают пыткам, впрыскивают им в вены отраву, чтобы они засвидетельствовали Его триумф. Сыновей учат выдавать отцов, солдат — изменять своей стране, идеалистов — служить Ему в героическом самоотречении. Мы-то полагали, что это просто массовое помешательство, тогда как на самом деле речь идет о волшебстве. Даже слова начинают значить нечто противоположное их кажущемуся смыслу; даже их заставляют стоять на голове, подобно чертям на Черной мессе.

Конечно, мы давно знаем обо всем этом, но неведомой оставалась причина. Теперь, открыв причину, мы знаем и метод борьбы: Его надлежит убить, распяв вверх ногами. Остается немало технических трудностей: паспорта, дорогие авиабилеты, бесчисленная стража и так далее. У нас осталось немного времени. Но раз мы пришли к согласию насчет метода, трудности преодолимы... — Он обернулся к Жюльену с улыбкой на костлявом лице и добавил со старомодной учтивостью: — Простите, что я столь долго распространялся о таких очевидных вещах. Просто никто из присутствующих господ не решался начать.

В наступившей тишине раздался спокойный голос Жюльена:

— О ком ты говоришь, Борис?

Борис удивился, что слышит такой излишний вопрос.

— Конечно об Антихристе, — ответил он с ноткой нетерпения в голосе.

— Да, но под чьей человеческой личиной?

— Усыпанный ospой и с глазами убийцы, естественно.

— Ты хоть понимаешь, Борис, что этот умер три месяца назад?

Борис снисходительно улыбнулся.

— Ну, да... Я так глуп, что запомнил об этой их байке. Вот уж не подумал бы, что ты можешь на нее купиться! Естественно, им пришлось ее выдумать, чтобы защитить его.

Его нервный подъем внезапно улетучился. Он подозрительно оглядел слушателей.

— Вижу, что вы не лучше остальных. Не хотите видеть фактов. Наверное, я неверно понял назначение этой встречи. Приходится все делать самому... — Он ненадолго замер в центре комнаты, подобно одинокому пленнику воцарившегося молчания.

— Выпей, Борис, — предложил Жюльен, делая вид, будто ничего не произошло.

Борис на секунду уставился на него невидящим взглядом и как будто очнулся.

— Нет, я пойду, — проговорил он, медленно качая головой. — Никто из вас не понимает, что на самом деле происходит. Вы думаете, что я сумасшедший. Я понял это по вашим глазам. Если вам так удобнее, можете продолжать думать в том же духе. Но ведь я говорю вам: миллионы гибнут от дизентерии. Они валяются под открытым небом, подобно узлам с тряпьем, утопая в собственных экскрементах...

Он распахнул дверь и странной скованной походкой вышел в коридор. Отец Милле вопросительно взглянул на Жюльена. Тот пожал плечами:

— Ничего не поделаешь. То проходит, то опять начинается. Врачи утверждают, что это не опасно и что сотни таких же больных бродят по улицам. Если бы я навестил его дома, это только подстегнуло бы его подозрительность и ухудшило дело.

Он запрыгал следом за Борисом, чтобы проводить его к выходу.

Борис подждал его на лестничной площадке.

— Я снова съехал с катушек? — виновато спросил он с судорожной усмешкой.

— Слегка. Тебе надо держать себя в руках, Борис, — сказал Жюльен.

— Я знаю. Стоит сказать им лишнего — и они воображают, что ты безумец.

— Ты снова за старое?

— Они арестовали этого дурня Варди, — сообщил Борис, продолжая усмехаться.

— Знаю. Суд начался несколько дней назад. Ты что, не читаешь газет?

— Вот кто безумец, — пробормотал Борис, нерешительно переминаясь с ноги на ногу.

— Может, вернешься? Выпьем по рюмочке. Борис покачал головой.

— Нет. Меня ждет работа.

Он продолжал мяться, когда к ним присоединился Дюпремон.

— Боюсь, мне тоже пора, — сказал он, надевая свою черную фетровую шляпу и глядя на них косыми глазами. Неуверенно потрогав свои стриженные усики, он добавил: — Очень поучительная встреча.

— Сейчас и вы скажете, что ошиблись насчет ее цели, — предположил Жюльен.

— Нет, — ответил Дюпремон. — Кажется, я вас прекрасно понимаю. — Только видите ли...

Он нервно скользнул по ним глазами. Если бы не это легкое косоглазие, он производил бы весьма благоприятное впечатление. Жюльену никогда прежде не приходило в голову, что Дюпремон, при всех своих светских манерах и ауре творца мистически-эротических бестселлеров, просто очень застенчивый человек.

— Видите ли, — растерянно повторил Дюпремон, — то, что вы задумали — либо уже поздно, либо еще слишком рано...

Он снова прикоснулся к узкой полоске у себя над губой и повернулся к Борису:

— Может быть, вас подвезти? У меня внизу машина... — Он сказал это извиняющимся тоном, словно и впрямь смущался того обстоятельства, что у него есть машина. К удивлению Жюльена, Борис, никогда раньше не видевший Дюпремона в глаза, тут же отвесил вежливый поклон, выразивший согласие. Оба зашагали по лестнице к выходу.

В кабинете остались только Леонтьев и отец Милле.

— С вашим собранием творится нечто, подобное истории о десяти негритах, — молвил отец Милле вернувшегося к ним Жюльену, вооружившемуся бутылкой бренди и захваченными на кухне рюмками. — Ага, выпить как раз не помешает.

Леонтьев тоже оживился при виде рюмок. На протяжении последнего получаса он считал минуты, отделявшие его от того момента, когда он войдет в бар «Кронштадта». Он ничего не говорил во время спора, ибо ему нечего было сказать. И все же он чувствовал, что эта заведомо бессмысленная встреча кое-чему его научила, объяснила кое-что, изумлявшее его с того самого времени, как он «ушел в Капую». Это вновь обретенное понимание, пусть и негативного свойства, казалось ему очень важным. Оно знаменовало конец его иллюзий на предмет способности Капуи к сопротивлению. Теперь, сам не зная каким образом, он получил в руки ключ к бесчисленным загадкам, водившим вокруг него хоровод со времени памятной встречи с парочкой американских радикалов и стремительного гигиеничного акта, ставшего ее кульминацией. Наконец-то он стоял лицом к лицу с необозримой пустотой, которая, подобно тщательно охраняемой тайне, была сердцевинной всего сущего. Это была голая, горькая пустота — не простенькое «ничего» былых дней, а лаконичное *pues nada*, окончательное *nihil*, ничто.

— Вы сегодня не слишком разговорчивы, мсье Леонтьев, — ввернул отец Милле.

Леонтьев смирил его ледяным взглядом, припоминая их первый спор у мсье Анатоля.

— Для дискуссии не представилось возможности, — сказал он.

— Не представилось, — согласился отец Милле. — Но теперь мы одни; мне всегда казалось, что трое — оптимальное число для компании, при том, разумеется, условии, что никто из троицы не принадлежит к противоположному полу... — Он снова огласил кабинет своим раблезианским смехом; отец Милле обладал редким даром от души посмеяться в одиночку, не ожидая, чтобы к нему присоединились другие. — Наш друг Жюльен выглядит столь удрученным, что я задам за него вопрос, который он хотел с нами обговорить и на который вы один способны дать ответ — а именно, верите ли вы в возможность организованного интеллектуального сопротивления при столь хорошо знакомом вам режиме? Я имею в виду духовное, а не политическое сопротивление, ибо именно это, если я не ошибаюсь, Жюльен и хотел поставить на обсуждение.

Леонтьев заподозрил, что отец Милле смеется над ним. Эти люди только болтают, но ничего не знают. Они болтают о тирании и угнетении — но что известно им о таком ползучем ужасе, как усталость синапсов? Глядя не мигая прямо в багровое лицо отца Милле, он безразлично ответил:

— Не знаю, что вы имеете в виду под «организованным интеллектуальным сопротивлением».

— Вопрос всего-навсего в том, верите ли вы в какую-нибудь альтернативу пассивному подчинению?

— Мало кто пассивно дожидается конца, — проговорил Леонтьев и чуть заметно улыбнулся. — Вы увидите, что большинство ваших друзей проявят величайшую активность, доказывая свою лояльность и донося друг на друга. Кое-кто, возможно, отважится на протестующий жест, после чего исчезнет. Кто-то еще станет, как вы предлагаете, плести заговоры и тоже исчезнет. Классические методы конспирации невозможны, да и вышли из моды.

— А вам известен более современный метод? Леонтьев вежливо повел плечами и поднялся.

— Есть люди... секта, пробующая иной путь. Но не думаю, чтобы в вашей стране у нее нашлось много последователей. Возможно, уже слишком поздно.

Он шагнул к двери: настала пора «Кронштадта».

— Или слишком рано?... — крикнул ему вдогонку Жюльен.

Леонтьев оглянулся с безразличным видом.

— Может, и слишком рано. — Он снова пожал плечами. — Если вы предпочитаете придерживаться этой версии.

Не успел Жюльен запереть за Леонтьевым дверь, как раздался настойчивый звонок, и в квартиру ворвался Сент-Иллер. С радостно скорченной физиономией он потряс руки Жюльену и отцу Милле и, отказавшись от предложенного кресла, немедленно перешел к сути:

— Привет, друзья, — приветствовал он их, — хотя число ваше сильно сократилось из-за раздоров и трусливого дезертирства, которые легко было предсказать, что и служит объяснением моего намеренного опоздания и того обстоятельства, что внизу меня дожидается такси со щелкающим с неумолимой символичностью счетчиком. Короче говоря, вы ни к чему не пришли.

— Ни к чему, — подтвердил Жюльен. — Тем больше у вас причин отослать неумолимое такси и вселить в нас уверенность.

— Оба ваши предложения, хотя и высказанные одним махом, находятся в совершенно ложной логической связи, — резко ответил Сент-Иллер, — выдающей заблуждения так называемого здравого смысла. Простейший эксперимент убедил бы вас, что куда экономичнее продержат такси на протяжении необходимых пяти минут, чем платить за посадку во второе такси, не говоря уже об удвоении и без того обильных чаевых — так. Столь же очевидно, что уверенность, которой вы жаждете, можно вселить искрометно — или никак. Тщательность — гибель искусства, а наша насущная проблема как раз заключается в искусстве умирать, которое, при кажущемся родстве с политикой, на самом деле является проблемой чисто эстетического свойства.

На этот раз его слова звучали менее туманно, чем обычно, и в голосе его звучал непривычный пыл, сопровождаемый спазмами лицевых мускулов. К удивлению отца Милле, Жюльен, внимавший речам Сент-Иллера с куда большим вниманием, чем чьим-либо еще до него, неуверенно проговорил:

— Мне становится близка ваша точка зрения.

— Вот и отлично, — одобрил Сент-Иллер, — хотя и не удивительно, учитывая сходство наших аксиоматичных убеждений. Нет нужды напоминать, что разница во взглядах у людей с одинаковыми аксиомами всегда может быть отнесена на счет языковых и грамматических отличий; в периоды же кризиса они до того стираются, что семантический Вавилон заменяется откровенным языком трагедии. Ведь человек получает вызов судьбы, выражаемый простейшими предложениями, так что и ответ должен иметь форму утверждения, без всяких условных наклонений. В языке судьбы существительное — всегда утвердительный символ, глагол же — вечный протестующий жест. Вот и все — детали обсудим позднее.

Сент-Иллер ринулся к двери. Перед лестницей он еще раз обернулся, и Жюльен обнаружил, что его лицо иногда может быть вполне спокойным.

— Будьте уверены: надлежащий сигнал дойдет до вас, когда пробьет срок.

Он помчался вниз по лестнице, неуклюже размахивая руками и перепрыгивая через три ступеньки, и мгновенно исчез из виду.



Отец Милле встретил Жюльена снисходительной улыбкой.

— Не могу понять, — посетовал он, — как вы или любой другой можете принимать его всерьез.

Жюльен налил себе полную рюмку и присел на подоконник. Он чувствовал опустошение и страдал от ощущения нереальности происходящего, охватывавшего его теперь все чаще и чаще. В маленьком отеле на другой стороне улицы в нескольких окнах уже горел свет. За занавесками, как всегда по вечерам, сновали тени, отчего узкая улочка становилась мирной и совсем домашней. Из заведенного кем-то граммофона неслась самая популярная песенка сезона «Моя радиоактивная малышка». На этой улице даже угроза Апокалипсиса начинала казаться сморщенной и нестрашной: когда в небесах появятся четыре коня, жители квартала заторопятся в букмекерские конторы, чтобы успеть сделать ставки.

Вспомнив вопрос отца Милле, Жюльен сказал:

— Он как раз заслуживает, чтобы его принимали всерьез.

Отец Милле добродушно посмеялся и тоже встал.

— Очень полезная встреча, — пророкотал он, — просто очень. Надеюсь, как-нибудь в другой раз мы возобновим начатый разговор.

— Пока я еще не слышал вашего ответа, — спохватился Жюльен.

— Все по-старому, мой милый друг, все по-старому: старый символ, старый жест, как выражается ваш старый знакомый.

Он уже ушел, а по кабинету все еще перекачивалось эхо его бодрого смеха.

Жюльен снова уселся на подоконник. Улица наполнилась шаркающими шагами вечерней толпы, боящейся опоздать к ужину. По мостовой метался продавец газет, выкрикивая последние новости с процесса в Венограде; по всей видимости, профессор Варди и его сообщники признали свою вину и осуждены на казнь через повешение. Жюльен глотнул бренди с чувством облегчения: встреча прошла примерно так, как он ожидал: он сделал все, что мог, и заручился алиби перед собственной совестью. Достаточно было всего лишь тени надвигающихся событий — и от последней стяжки, удерживающей фактуру гибнущей цивилизации, не осталось и следа. Дюпремон прав: слишком поздно — или слишком рано. Или и то, и другое.

## V Мост через поток

Леонтьев очнулся в полдень с чувством похмелья средней тяжести. С тех пор, как он стал подрабатывать в «Кронштадте», это случалось с ним примерно трижды в неделю. У него начиналось сильное сердцебиение, которое продолжалось подолгу с периодическими передышками; ему было страшно. Это было неосознанное, наплывами находившее на него беспокойство, без которого он уже не мог думать ни о чем вообще: то его отхватывал ужас, что он вызовет неудовольствие у Пьера и потеряет работу; то становилось страшно, что издательство притянет его к суду за то, что он не сдал рукопись в положенный срок и, видимо, не сдаст ее уже никогда; порой ему начинало казаться, что его схватит тайная полиция, чтобы отдать в лапы Грубера и его подручных. Одна половинка его мозга никогда не сомневалась в необоснованности всех этих страхов: он был одной из главных «изюминок» «Кронштадта»; издатель наверняка почувствовал облегчение, что книга благополучно скончалась, не появившись на свет, «Служба» же давным-давно утратила к нему всякий интерес. Однако все эти аргументы не помогали ему совладать с беспокойством, имевшим определенно физические причины и зависевшим от ритма его сердцебиения и давления в сосудах головного мозга. Хуже всего было именно это давление; его можно было сравнить с необходимостью носить туфли на размер меньше своего, только вместо туфель был череп, а вместо раздавленных пальцев — мозг. Мучение было до того нестерпимым, что ему хотелось, чтобы давление поднялось еще и раздавило его серое вещество в студень, прервав раз и навсегда его страдания.

Всякий раз, проснувшись в таком состоянии, он божился, что этого больше не повторится, но потом, выпив определенную дозу, уже не мог остановиться, и все повторялось снова. Он просил баронессу останавливать его, увидев, что начинается перебор, но все кончилось двумя попытками, когда он отвергал ее усилия, просто окидывая ее вежливым, но настойчивым взглядом, требовавшим оставить его в покое. По нему никогда не бывало заметно, что он пьян: он неизменно сохранял боевой и достойный вид; однако внутри у него разливалось чувство восхитительного покоя, при котором переставало существовать и будущее, и прошлое, и единственной реальностью оставался вот этот самый момент, насыщенный жизнью и значением. Именно поэтому, однажды начав, он уже не просто не заботился о кошмаре утреннего пробуждения, а вообще не мог в него поверить, хотя собственный опыт, казалось бы, подсказывал, как все будет. Вовсе не слабоумие вынуждало его не обращать внимания на цену — нет, все дело было в том, что момент уплаты отодвигался в будущее, пока же будущее теряло всякий смысл, буквально прекращало свое существование, словно целый участок его мозга подвергнулся безжалостной ампутации простым ножом. Пару раз, еще не набравшись сверх меры, он пытался припомнить физические симптомы пробуждения с похмелья. Однако у него ничего не вышло: он не мог вспомнить страха, колотящегося от чувства собственной вины сердца, пытки сжиманием черепа — подобно тому, как сейчас, погибая от боли, он не мог уловить даже слабого эха беззаботного счастья, испытанного всего несколько часов назад в зашарканном тоннеле под названием «Кронштадт». Вероятно, этому мешали какие-то физические перегородки, разрывающие на части воображение и целостность переживаний, из-за которых сытый утрачивает способность почувствовать, что значит быть голодным, а голодный не ведает рая сытости. Бесконечность желания и несбыточность пресыщенности!... Сияние пропитанного хмельными миазмами настоящего и мучения в прошлом и будущем существовали как бы в несоединимых вселенных, между которыми не было проторено даже тропинок памяти или предчувствия. В каждой властвовала своя логика, своя система ценностей, столь же отличные друг от друга, как отличаются язык счетовода и язык несбыточной мечты.

Самым странным в этой изощренной пытке было то, что Леонтьев прекрасно знал, как положить ей конец. Следовало всего-навсего подставить голову под струю холодной воды, махнуть крохотную рюмочку бренди, проглотить за завтраком таблетку бензедрина — и через полчаса он снова станет нормальным человеком. Исцеление было под рукой, но для этого нужно было встать, а ему не давал сделать этого животный страх; единственной защитой от него было бы забраться обратно в материнское чрево, а в отсутствие такой возможности — скорчиться в растерзанной постели, замотавшись в серые простыни и нечистое одеяло. По его вискам стекал пот, даже лохматые брови источали влагу; в отличие от шевелюры, где проглядывало всего несколько серебряных нитей, щетина на его щеках и завитки волос на груди были белы, как снег.

Леонтьев заставил себя снова забыться сном. Но вместо облегчения забытье одарило его невыносимым, хотя и хорошо знакомым кошмаром, который будоражил его снова и снова с тех пор, как он забросил книгу. Это был сон о Зининой смерти. Согласно официальному сообщению, она погибла в автомобильной аварии; однако Леонтьев видел один и тот же сон, в котором она кончала с собой, медленно, почти лениво вываливаясь из окна высокого здания. Самого падения он не видел, глазам представало только зрелище того, как она, пятась назад (оставаясь лицом к комнате, откуда за ней, засунув руки в карманы халата, наблюдает он), вылезает из окна. Он не пытается спасти ее, да она и не ожидает этого от него; видимо, переваливаясь на четвереньках через оконную раму, она выполняет какую-то их негласную договоренность. Ее круглое лицо украинской крестьянки украшает загадочная улыбка. Затем улыбающееся лицо и согбенная фигура исчезают — начинается невидимый ему полет к тротуару, тридцать метров высоты... Перед его глазами остается только опустевший оконный проем.

Леонтьев вздрогнул и проснулся с изображением окна, запечатлевшегося на внутренней стороне век, подобно картинке, появляющейся в глазах после долгого созерцания слепящего света. Ему показалось, что он хотел этого сна, что, засыпая, он стремился не к успокоению, а к наказанию. Теперь можно было вставать. Он добрался до раковины и с облегчением почувствовал сбегавшие по волосам и по шее струи ледяной воды.

Спустя час, Леонтьев, уже обретший нормальное состояние, вошел в ресторанчик, где он

привык обедать. Ресторанчик располагался на узкой улочке, карабкающейся к вершине Монмартрского холма, и посещался, в основном, таксистами, рабочими муниципальной службы, занятыми нескончаемой прокладкой труб на соседней улице, и двумя пожилыми клерками, корпевшими в ближайшем налоговом управлении. Столы здесь были застланы разрисованной бумагой, и только для Леонтьева и клерков в знак признания их общественного положения стелили настоящие скатерти.

Избранным клиентам полагалась также продетая в колечко салфетка, менявшаяся раз в неделю. На кольце, предназначенном для Леонтьева, значилось чернилами «Мсье Лео» — под этим именем его знали и почитали в ресторанчике.

К приходу Леонтьева клерки уже завершали трапезу, а укладчики труб допивали свою виноградную водку, тоже собираясь восвояси. Дениз, дочь хозяина, тут же вышла ему навстречу и расстелила на его столике чистую скатерку.

— Вы сегодня запоздали, мсье Лео, — прочиркала она, бойко крутясь у его стола. — Мы уж думали, вы совсем не придете, но я на всякий случай оставила для вас хорошую отбивную.

Она была полненькой, радушной девочкой, собиравшейся замуж за мясника из соседней лавки, вследствие чего в ресторанчике никогда не переводились прекрасные отбивные, свиные ножки и соленые ребрышки.

— Что вы думаете кушать на первое? — спросила Дениз особым певучим голоском парижских официанток, соединяющим внимательность медсестры, присматривающей за младенцем, и четкость телефонистки.

Леонтьев поднял глаза на меню, начертанное мелом на доске над стойкой, и после минутного колебания между филе сельди в масле и анчоусами в уксусном соусе выбрал второе.

— Тарелку анчоусов и пол-литра красненького для мсье Лео, — крикнула Дениз в направлении кухни тоном полного одобрения, словно Леонтьев предложил нечто блестящее и совершенно оригинальное.

— Сейчас будет ваше вино, — добавила она и ускользнула.

— Эй, Дениз, как насчет моей сдачи? — напомнил один из укладчиков труб.

— Не видишь, что я занята? Мсье Лео ждет вина! — возмущенно ответила она.

Два пожилых клерка вышли на улицу, учтиво поприветствовав Леонтьева. Леонтьев ответил на их приветствие умеренным кивком. Он ни разу не разговаривал с ними, но ценил этот короткий церемониал и находил некоторое удовлетворение во внимании, оказываемом ему Дениз и ее родителями. Из кухни вышел отец Дениз в белом поварском колпаке и поздоровался с ним за руку.

— Вы сегодня очень поздно, — сказал он и, подмигнув, добавил: — Все сидите над своими стратегическими картами, а мсье Лео? — Хозяин почему-то вбил себе в голову, что Леонтьев — отставной полковник или что-то в этом роде, и что его хобби — изучение карт прошедшей войны.

Леонтьев неопределенно кивнул, и patron двинулся к столику укладчиков труб, где тоже поздоровался за руку с каждым. Затем он вернулся за стойку, машинально опрокинул полстаканчика красненького и с довольным видом отправился назад на кухню.

Леонтьев медленно ел, читая утреннюю газету. Когда он завершил трапезу, было уже три часа, а он еще не решил, чем заняться. Выбирать приходилось между посещением кинотеатра, прогулкой по Елисейским полям и походом в музей. Он оплатил счет, засунул салфетку обратно в кольцо, подождал, пока Дениз спрячет ее в ящике стола, и вышел на улицу, сопровождаемый экспансивными прощальными напутствиями Дениз, звучащими так, словно они расстанутся навсегда.

Он побрел по крутому спуску, превратившемуся вскоре в лестницу, вдоль улицы, названной по имени шевалье де ля Барра, подданного Людовика XV, не пожелавшего обнажить голову при виде религиозной процессии и понесшего заслуженное наказание в виде усекновения означенной головы. Свободная Коммуна Монмартра воздвигла в знак протеста и вызова монумент в память о непокорном шевалье в центре террасы перед церковью Сакре-Кер и вдобавок присвоила его имя одной из узких улочек, ведущих к месту его казни. Леонтьев всякий раз тихонько цокал языком,

спускаясь по этим ступеням. Несколько недель тому назад, натолкнувшись на историю шевалье в путеводителе, он подумал, что мог бы начать свою книгу этим анекдотом, превратив его в символическую мотивировку своего бегства в Капую. Но, продумывая эту главу, он обнаружил, что символ получается каким-то застывшим и мало что дает; статуя же шевалье вообще стоит перед церковью просто потому, что ее там забыли, и является не более чем напоминанием об идиллическом скандале из прошлого. В который раз Леонтьеву явилась Правда с задранными коленями и иронической усмешкой, высмеивающая все его старания. Шевалье не было в живых уже три века; если бы Леонтьев действительно вздумал создать единственную честную книгу в своей жизни, ему пришлось бы начать ее с признания, что притягательность Капуи осталась в далеком прошлом и что его бегство было не гордым актом вызова, а охотой за давно не существующим миром. Однако люди ждали от него совсем другой книги.

Это прозрение по крайней мере освободило его и сняло с плеч груз всяких обязательств. Наконец-то, по прошествии стольких лет, он мог, не отводя глаз, встретить издевательскую усмешку девки и даже скорчить рожу ей в ответ. Его больше не смущал высунутый язык богини Правды; он был теперь просто усталым человеком, не испытывавшим ни малейшего желания овладеть ею.

Улыбаясь про себя, Леонтьев отменил перспективу посещения музея и остановился на варианте недолгой прогулки и бегства от прохлады в местный кинотеатр, где крутили боевик. После этого он успеет вздремнуть. Дальше его ждала работа в «Кронштадте».

Твердым, неторопливым шагом, с достоинством помахивая палочкой с серебряной ручкой — украшенным монограммой подарком усопшего Отца Народов, Леонтьев стал спускаться по бульвару Рошуар, где кипела уличная ярмарка с вертящимися лотерейными колесами, каруселями и акробатическими номерами. Повинуясь внезапному порыву, он заглянул в тир, где сбил пять шариков для пинг-понга, подскакивавших на струе воды. Пораженный владелец палатки дал ему еще три бесплатных выстрела. Леонтьев вежливо улыбнулся и сбил еще два шарика, вызвав восхищенное «ах!» всех присутствующих.

\* \* \*

Раздевалка «Кронштадта» представляла собой клетушку, где помещался гримерный столик и шкаф, в котором артисты хранили свои костюмы. Одновременно здесь могло находиться не более двух человек, что не создавало неудобств, ибо номера были рассчитаны таким образом, чтобы у посетителей оставалось время потанцевать. Первый выход Леонтьева к публике обычно имел место между десятью и одиннадцатью вечера, второй — после часу ночи. Однако в «Кронштадте» не существовало жесткого расписания, а Пьер свободно менял программу в зависимости от количества гостей и их настроения.

Сегодняшний вечер обещал пройти спокойно. Не считая нескольких завсегдатаев у стойки, посетителей было совсем немного: шумная стайка из пяти американских туристов (трех мужчин и двух девушек) и пара парижских американцев, выбравшая себе столик как можно дальше от соотечественников. Пьеру не понравился вид помещения: оно казалось пустоватым. Обычно артисты ужинали за счет заведения все вместе за длинным столом, но по случаю затишья, как сегодня, Пьер разбивал их на группки, чтобы заполнить зал. В результате Леонтьев оказался нос к носу с прибалтийской баронессой, против чего у него не возникло возражений: ее компания давала ему ощущение уединения и соблюдения этикета, так как никому из гостей не придет в голову, что он здесь служит, пока не начнется представление.

Ужин был как всегда безупречным; пусть Пьер не мог похвастаться безупречным прошлым, пусть он бессовестно торговался, когда речь заходила о гонораре артистов, но в том, что касалось еды и выпивки, он был воплощением щедрости. Часы показывали всего девять с небольшим; Леонтьеву предстояло ждать еще целый час, прежде чем настанет время переодеться к выходу. Они с баронессой никогда не говорили много, однако отлично ладили и отдыхали в обществе друг друга. Пару раз, когда приходилось задерживаться дольше обычного и у нее не оставалось сил, чтобы

ехать на такси домой, на Левый берег, она ночевала у Леонтьева, обитавшего неподалеку от «Кронштадта», но ни он, ни она не придавали этому большого значения. Баронесса была высокой, хорошо сохранившейся блондинкой с величественным бюстом и решительными манерами. Единственным, что Леонтьев находил в ней достойным осуждения, была ее откровенная манера изъясняться.

— Что хорошо в будущей войне, — говорила она сейчас, — так это то, что я уже не стану старой шлюхой. От этого чувствуешь себя моложе.

— Баронесса, вы же в самом расцвете сил! — сказал Леонтьев, с достоинством ставя на стол рюмку. Он всегда произносил ее титул — привычка, которую она находила смехотворной, но приятной.

Она громко рассмеялась своим грудным смехом.

— Взгляните на эту парочку, если вам действительно хочется увидеть людей в расцвете сил, — сказала она, имея в виду молодых американцев, так тесно прижавшихся друг к другу в своем уголке, что, казалось, они могут обойтись одним стулом. — Такие могут проходить в метро по одному билету, — добавила она со вздохом.

Пьер, прервав разговор со стайкой американцев, направился к их столику. Его улыбка казалась рассеченной на две половинки огромным шрамом, перечеркнувшим щеку снизу доверху. Баронесса как-то заметила, что шрамы на лице одних людей вызывают уважение, ибо с первого взгляда видно, что они приобретены на службе Царю и Отечеству, а у других точно такие же шрамы рождают догадку об их, так сказать, неблагородном происхождении. Шрам Пьера определенно относился ко второй категории.

— Американцы за вторым столиком пришли специально, чтобы послушать вас, — сообщил он Леонтьеву.

Леонтьев учтиво кивнул, не подавая виду, что польщен.

— А послушать меня никто не ходит, — опечалилась баронесса.

— У вас есть нечто гораздо большее, чем просто голос, — галантно произнес Пьер, потрепав ее по плечу, обтянутому белым шелком. — У них недостает одной женщины, и они со всем уважением спрашивают, не могли бы они пригласить вас с мсье Леонтьевым за свой столик.

— Ни к чему это, — сказала баронесса.

— Я ответил, что вы с радостью присоединитесь к ним после ваших номеров, — продолжал Пьер. — Они только что заказали третью бутылку.

Продолжая улыбаться, он проскользнул мимо столика молчаливой парочки, украдкой заглянув в их ведерко со льдом, чтобы проверить, много ли в нем осталось шампанского. Там было еще с полбутылки, и Пьер решил, что они еще недостаточно пьяны, чтобы отбирать у них недопитую бутылку и заменять ее новой. Жорж, старший официант, слонялся поблизости, дожидаясь беззвучного сигнала от хозяина. Пьер незаметно крутанул пальцем, и Жорж ринулся к их столику, чтобы наполнить им бокалы, а потом с полным правом заменить бутылку.

— Боже, да ему цены нет! — проговорила баронесса, наблюдая за их манипуляциями. — Ну и притон!

— Со мной он всегда был вполне корректен, — молвил Леонтьев с легким упреком, ибо не одобрял даже малейшей нелояльности.

— Вам тоже нет цены, — заявила баронесса. — Да вы просто феномен! Иногда я задаюсь вопросом, человек ли вы или просто пучок условных рефлексов.

Такого высказывания Леонтьев тем более не мог одобрить. Молча допив кофе с бренди, он сказал:

— Вам скоро пора переодеваться, баронесса.

Номер баронессы всегда шел первым. Она исполняла эстонские баллады в костюме литовской крестьянки под аккомпанемент пианино, за которым восседал бывший товарищ министра

рыболовства. Она обладала свободным, громким контральто, заполнявшим помещение вплоть до последней складки плюшевой занавески. Она пела в драматической манере, сопровождая исполнение бурной жестикуляцией; когда она поднимала к лицу свои красивые пухлые руки, изображая полнейшее отчаяние, гостям оставалось гадать, какое чувство побеждает в их сердцах — сопереживание или досада. Что до баронессы, то ее это не касалось; они платили, она пела им за их деньги, а оставались ли они при этом довольны — их дело. Не переносила она лишь одного: когда компания пьяных или дурно воспитанных людей продолжала болтать во время ее номера. В таких случаях ее охватывал гнев, и ее голос достигал столь угрожающей силы, что весь тоннель замирал в страхе. Добившись желаемого эффекта, она сразу переходила на спокойный, довольно тихий речитатив, не менее эффективный в доведенном до ужаса помещении и неизменно срывающий даже больше аплодисментов, чем при вежливой, внимательной аудитории. Она звала это «дрессировкой» и втайне ждала очередной возможности применить беспроегранный прием.

Сегодня, однако, «дрессировать» было некогда; американские туристы, несмотря на опьянение, видели ее за столиком Леонтьева и прослушали ее выступление в уважительной тишине, а в конце даже поаплодировали.

Пока баронесса снова облачалась в вечернее платье, в «Кронштадт» заявили еще две компании, и дела пошли веселее. Жорж, старший официант, сохранявший бесстрастный вид, но не упускавший ни единой детали, поймал взгляд Леонтьева и принес ему традиционный бренди с содовой. Леонтьев знал, что торопиться не следует, так как теперь Жорж ни разу не посмотрит в его сторону, пока не кончится его номер. С другой стороны, если уж на то пошло, он всегда может заказать бренди и заплатить за него из собственного кармана. Этой приятной уверенности обычно хватало ему на все время вплоть до первого выхода. После этого его либо приглашали за один из столиков, либо он сам покупал себе порцию-другую; затем Жорж снова вспоминал о его присутствии и посылал ему еще одну двойную порцию за счет заведения, не дожидаясь его второго выхода.

Сам не зная почему, Леонтьев чувствовал в этот вечер смутное беспокойство; ужиная с баронессой, он выпил больше вина, чем обычно, и при нормальных обстоятельствах чувствовал бы себя теперь беззаботно, купаясь в настоящем, не имеющем никакого отношения ни к прошлому, ни к будущему. Однако в этот вечер ни вино, ни бренди не оказывали на него никакого действия. Это вызывало раздражение, а перспектива подсесть через короткое время за столик к американцам и подавно навевала смертельную скуку. Одна из американок и так, не стесняясь, строила ему глазки; однако он видел, что она одна из тех, кто полагает, что подобное поведение является частью ритуала посещения ночного клуба. Она была маленькой блондиночкой, вполне привлекательной благодаря косметике, хотя ей некуда было деть приплюснутый нос и бесцветные брови. Когда настанет черед подсесть к ней, она прижмется к нему коленом, а сама начнет болтать с кем-нибудь другим; мужчины за столом устанут от ее болтовни и, несмотря на опьянение, с благодарностью отнесутся к попыткам Леонтьева спасти их от ее скучного общества. Другая девушка была темноволосой и тоненькой; она показалась Леонтьеву куда более симпатичной, но она не обращала на него никакого внимания — так, видно, будет весь вечер, даже когда он присоединится к ним.

За последние несколько недель, когда он стал работать в «Кронштадте», Леонтьев узнал о женщинах больше, чем за предшествовавшие пятьдесят лет жизни. Однако он уже вышел из того возраста, когда можно было с пользой употребить вновь приобретенную мудрость. Он случайно встретился глазами с худенькой брюнеткой, и ему показалось, что он заметил в ее взгляде интерес и понимание; но он тут же вспомнил блестящие от пота седые завитки у себя на груди, свою жаркую мятую кровать и залпом осушил рюмку, которую намеревался цедить до самого выступления. Пришлось заказывать двойную порцию за свой счет.

Наступила очередь сеньориты Лоллиты, высокой костлявой брюнетки, исполнявшей испанский танец с кастаньетами. На самом деле девушку звали Луизой и она была дочерью парижского консьержа. История ее жизни не представляла тайны ни для кого в «Кронштадте». В пятнадцатилетнем возрасте Луизу выгнали из школы по двум причинам: из-за несвоевременной беременности и за распространение анархо-синдикалистских листовок. И в том, и в другом был повинен один и тот же человек — беглый испанец по кличке Рубио <sup>22</sup>, с которым она познакомилась

как-то в воскресенье на синдикалистском собрании, на которое ее занесло по причине дождя, и где Рубио был главным оратором. Его уперли в тюрьму, так как Луиза была несовершеннолетней, а когда она произвела на свет мертвого ребенка, товарищи Рубио по синдикалистскому движению пристроили ее работать на завод. По вечерам она брала уроки танца, ибо именно этим и стремилась всю жизнь заняться. С тех пор, как Рубио отбыл свой срок — необычно короткий, так как Луиза спокойно заявила на суде, что если говорить о соблазнении, то соблазнительницей выступила она, — они жили в комнате Рубио. Теперь он писал листовки и статьи для синдикалистских газет, а также готовил обед, пока Луиза отсыпалась; по вечерам она помогала ему писать листовки и готовила для него ужин, а потом уходила в «Кронштадт». Это был ее первый контракт с ночным клубом; она получила его благодаря другу Рубио — анархисту, знакомому, в свою очередь, с одним поэтом-троцкистом, который водил знакомство с художником-формалистом, а тот работал у Пьера.

С сеньоритой Лоллитой Леонтьев всегда чувствовал себя не совсем в своей тарелке. Сперва она отнеслась к нему с застенчивым уважением, ибо все синдикалисты — противники Содружества, так что она увидела в нем мученика режима. Однако впоследствии она стала избегать его общества, хотя никогда не забывала поприветствовать его быстрым, неуклюжим кивком головы, своим наиболее характерным жестом. Все ее движения были угловатыми и скованными, как у подростка, но стоило ей начать танец, ее длинные, костлявые руки и ноги оттаивали, словно она попадала под лучи горячего андалузского солнца, видимо, пригревавшего ее предков. Закончив номер, она снова застывала, неумело кланялась зрителям и торопилась в раздевалку, никогда не соглашаясь выступать на бис. Именно в этом контрасте, а не в танцевальном искусстве, и заключалась причина ее успеха, весьма громкого для дебютантки.

Леонтьев наблюдал за ней с удовольствием. Вторая двойная порция сделала свое дело: он чувствовал расслабление, внутри у него затеплился свет, подобный зимнему закату в степи. Возможность углубления контакта с плосколицей блондинкой внезапно показалась ему не лишенной интереса. Единственный мужчина за их столом, с которым она не заигрывала — по всей видимости, ее муж — сидел дальше остальных; Леонтьев знал, до чего запросто супруги-американцы умудряются терять друг друга на улице под занавес бурной вечеринки. Почему бы не взять предложенное, если дела пойдут на лад? Кто оплатит ему понапрасну растроченные годы, кто поблагодарит за упущенную возможность? Человеку дарована всего одна жизнь, и единственный способ прожить ее полноценно — это жить в настоящем. Прошлое и будущее, даже если они существуют, — не более чем вода, бегущая под мостом. Можно всю жизнь простоять на мосту, прожить в иллюзии, чтоходишь в будущее, хотя на самом деле внизу просто будет бежать вода, будущее будет переливаться в прошлое. Верно, можно броситься в воду, отдаться ее течению, мелькать среди бурунов, двигаться — но только в настоящем. Те, кто застыл в созерцании, кто видит лишь будущее и прошлое, — это люди на мосту. Другие, отдавшие себя вечному, текущему настоящему, — это люди потока. Не достаточно ли он, Леонтьев, настоялся на мосту, не пора ли превращаться в человека потока? Пусть Зина и впрямь покончила жизнь самоубийством — разве это важно?

Пьер стоял у его столика, улыбаясь вежливой, почтительной улыбкой, которая неизменно появлялась на его лице, когда он разговаривал с Леонтьевым на глазах у гостей, специально пришедших послушать Героя Культуры. Это означало, что пришло время идти переодеваться. Номер сеньориты Лоллиты давным-давно закончился, баронесса подседа за столик к американцам, на что Леонтьев не удосужился обратить внимания; он даже не помнил, как она вернулась из раздевалки. Такие провалы в памяти происходили с ним все чаще с тех самых пор, как он порвал халат и мальчишка из агентства принес ему в отель зловещую телеграмму. Вот и сейчас, как тогда, ему казалось, что он смотрит кинокартину с выключенным звуком. В последние недели звук отключался все чаще, иногда на несколько часов кряду; потом он неожиданно включался снова, и Леонтьев оказывался на незнакомой предраассветной улице или на лестнице какого-нибудь отеля, поднимаясь вслед за заспанной женщиной, полный недоумения, где он ее подобрал, как они тут оказались...

Леонтьев осушил стакан и горделивой походкой двинулся в раздевалку. Там висел запах баронессиних духов, турецких сигарет, с которыми не расставался исполнитель кавказских танцев на цыпочках, и юного пота обворожительной сеньориты Лоллиты. Он снял костюм и туфли, убрал все это в шкаф, действуя не менее аккуратно, чем Дениз, убирающая в ресторанчике его салфетку, и со смесью ностальгического удовольствия и смутного стыда принялся неторопливо облачаться для

выхода. В его форме не было ничего карикатурного; это была прочная, хотя и слегка поношенная одежда — неофициальная форма храбрых гвардейцев, дошедших в ней до триумфального завершения революции: бриджи неопределенной расцветки, высокие сапоги из грубой кожи, такая же бесцветная гимнастерка с высоким воротом — вот и все. Леонтьев одевался так же на протяжении десяти лет, пока не изменился климат революции, а вместе с ним — и мода... Он взъерошил волосы, закурил и приготовился ждать, превратившись в человека иных времен, — именно так на него действовал этот простой костюм.

Раздался стук в дверь, и в щель просунулась физиономия Пьера, на которой красовалась улыбка, разрезанная надвое шрамом.

— Готово? — спросил он.

Леонтьев кивнул; в такие минуты он был готов поверить, что даже этот шрам имеет революционное происхождение. Физиономия пропала; еще мгновение — и в наступившей тишине зазвучал его голос, просивший у дам и мсье разрешения представить им Героя Культуры, Радость Народа, который прочтет стихотворения и исполнит песни Первых Дней Революции. Голос Пьера,, только что звучавший необыкновенно торжественно, перешел в клич циркового зазывалы:

— Дамы и господа — Герой Культуры, кавалер ордена Революции, Лев Николаевич Леонтьев!

Послышались воодушевленные аплодисменты, которые заглушил туш, и Леонтьев вышел в тоннель. Слегка поклонившись публике в знак приветствия, он без лишних предисловий объявил:

— Я прочту вам перевод отрывка из поэмы Александра Блока «Двенадцать».

Свет погас почти целиком, и в оставшемся красном течении Леонтьев, сопровождаемый аккомпанементом на тему марша буденовской кавалерии, воодушевлявшего миллионы бойцов Гражданской войны, принялся декламировать стихи глубоким, но неожиданно мягким голосом. Сочетание музыки, зловещего света, леонтьевского голоса, выпитого шампанского и так производило на присутствующих сильнейшее впечатление; все имеее, со словами поэмы — необузданного, вульгарного, непристойного, мистического кредо революции, названного кем-то «симфонией грязи» — пробирало с головы до пят. Плосколицая блондиночка зарыдала, и слезы, катящиеся по ее щекам, напоминали в красноватом полумраке капли крови. Смирная парочка в углу дружно уронила головы. Занавес, за которым помещался бар, был, как всегда во время выступлений Леонтьева, приоткрыт, чтобы завсегдаи, молча застывшие на своих высоких табуретах, тоже могли слышать слова, выученные наизусть.

После отрывка из «Двенадцати» Леонтьев обычно читал собственные стихи. Иногда же, не будучи в форме, он ограничивался Маяковским. В этот вечер он слышал, как за одним из столиков шепчутся, определенно на посторонние темы, и чувствовал доносящиеся оттуда волны враждебности. То был столик номер 7, за которым, пока он переодевался, появились новые клиенты. В слабом красном мареве ему удалось разглядеть, что это мужчина и девушка; несмотря на то, что их лица оставались в тени, форма головы мужчины показалась ему неприятно знакомой. Гадать, кто это, времени не было, — предстояло декламировать завершающие строки «Двенадцати».

Он произносил заключительные слова отрешенным, тихим голосом, что производило неизгладимое впечатление, ибо оркестр в эти минуты смолкал, и воцарялась мертвая тишина. Затем загорался свет. Можно было принимать овации. Леонтьев с достоинством кланялся. В этот раз, невозмутимо дожидаясь, пока смолкнут аплодисменты, он украдкой бросил взгляд на столик номер 7 и узнал атташе по культуре Федора Григорьевича Никитина. Его сопровождала привлекательная темноволосая особа, которую он тоже уже где-то видел. Глаза мужчин встретились лишь на долю секунды, но и этого было достаточно, чтобы Леонтьев понял по нахальной улыбочке Никитина и его суженым глазкам, что тому известно что-то о нем, Леонтьеве; более того, он умудрился догадаться, что означает это «что-то». Ему даже показалось, будто он давно знает это сам — что же еще мог значить его навязчивый сон? Загадочная улыбка, озарявшая Зинино лицо, когда она на четвереньках выползала из окна, поразительно напоминала гримасу, только что исказившую никитинскую физиономию. Они заодно, они знают тайну. Тайна же заключалась, естественно, в том, что Зина сознательно пожертвовала собой, чтобы Леонтьев смог вырваться на волю и написать бессмертное произведение, единственную в жизни честную книгу. Никитинская ухмылка вопрошала: «Вот для



чего она это сделала?»

Наконец, аплодисменты стихли. Леонтьев откашлялся и, как водится, начал:

— Короткие стихотворения Владимира Маяковского...

Однако ему пришлось прерваться, так как он с удивлением увидел, как, приметив приподнятый никитинский палец, Жорж, старший официант, виновато взглянув на Леонтьева, опрометью бросился к столику номер 7. Публика недовольно заворчала, девушка прикусила губу, но Никитин не испытывал ни малейших угрызений совести; снизив голос, раз уж того требовали приличия, он заказал бутылку шампанского. Наклонившись над столиком, Жорж разъяснил театральным шепотом, донесшимся до слуха всех присутствующих, что во время выступления мсье Леонтьева напитки не подаются. Со все тем же чистосердечным видом, дополненным обезоруживающей честной улыбкой, Никитин спокойно возразил:

— Но мы хотим шампанского прямо сейчас. Я компенсирую вашему артисту ущерб. — И он снова поднял палец, на этот раз указывая на Леонтьева.

Леонтьев снова испытал знакомое чувство, словно у него в голове отключилась звуковая дорожка. По его телу разлилось приятное тепло; он уже не стоял на мосту, а плыл по течению. Он увидел, как во сне, Пьера, стоящего у противоположного выхода тоннеля и делающего знак Жоржу, и Жоржа, ловко откупоривающего чудом появившуюся у него в руках бутылку. Заворожено подчиняясь никитинскому пальцу, согнувшемуся в крючок, Леонтьев двинулся в его сторону, слыша, как скрипят по половицам его неуклюжие сапоги. Никитин вытянул из бумажника тысячефранковую банкноту и с дружеской улыбкой протянул ее ему. Он понял, что честнее всего будет принять банкноту с коротким кивком, означающим благодарность — только этот жест, свидетельствующий о смирении и крайнем самоуничижении, сможет искупить тщетную Зинину жертву. Он был уже готов развернуться и отойти от столика, когда вспомнил, что справедливость и честь требуют еще одного поступка, никак не зависящего от первого; он взял стоявший перед ним бокал с шампанским и резким движением выплеснул содержимое в лицо Никитину. Продолжая действовать так, как подсказывает совесть, он отвернулся и решительно зашагал к месту, откуда ему предстояло декламировать стихи, в трех ярдах от столика номер 7. Он безразлично внимал зашелестевшему в тоннеле шепоту и мелодии, которую торопливо заиграл оркестр. Пьер поспешил к злополучному столику. Темноволосая красotka, пришедшая с Никитиным, хотела уйти, но Никитин мягко усадил ее на место и, беззаботно утеревшись шелковым платком, словно с ним сыграли невинную шутку, довольно громко объяснил, обращаясь и к ней, и к Пьеру, что все это чепуха, так как никто не станет всерьез обижаться на пьяного болвана. Однако все это уже не имело для Леонтьева никакого значения.

Он ожидал, что оркестр прервется, и он сможет объявить стихи. Но так как музыка не прекращалась и пары вышли танцевать, он повернулся и удалился в раздевалку. Там он переоделся и аккуратно разместил свои бриджи, сапоги и гимнастерку рядышком с облачением сеньориты Лоллиты; затем он решительным военным шагом прошел среди танцующих, миновал бар и направился домой.

Когда следующим утром он был разбужен двумя полицейскими, велевшими ему следовать за ними в комиссариат, то почувствовал скорее облегчение, чем удивление. Свобода оказалась слишком тяжелым бременем; единственным еще доступным ему чувством оказалось нервное любопытство, с которым он ожидал высылки и встречи с Грубером и его людьми. Теперь ему казалось, что он всегда знал, что все именно так и кончится, и что Грубер тоже знал об этом.

## VI Собака и колокольчик

Хайди захотела, чтобы они отпраздновали Новый Год на пару в новой фединой холостяцкой квартире. Испытывая мальчишескую гордость за свое новое обиталище, Федя все же предпочел провести мероприятие в людном, шумном ресторане, но она настояла на своем. Она явилась раньше обещанного, в радостном возбуждении, нагруженная пакетами с деликатесами и напитками, и

заперлась на кухне, повязав фартук прямо поверх вечернего платья. Федя уселся в гостиной и включил радио.

Их связь длилась уже около четырех месяцев, и он иногда задумывался, что из этого выйдет, — правда, без всякой тревоги. Он получил от начальства благословение на этот контакт; пусть из него и нельзя выжать ничего конкретного, с окончательными выводами лучше повременить. Во всяком случае, разрешение встречаться с дочерью американского полковника было знаком доверия к нему и уверенности, что он никогда не «уйдет в Капую». Расплывшись в улыбке, он принялся подпевать своим приятным баритоном «Маршу тореадора», раздававшемуся из его переносного радиоприемника — приборчика цвета слоновой кости с хромированными ручками настройки и многочисленными лампочками. Он развернул вечернюю газету и углубился в предсказания астрологов на предстоящий год.

«Критический период, — утверждали астрологи, — наступит в конце августа, когда Марс войдет во Второй дом. Будет необычайное количество падающих метеоритов, ненормальная погода и серьезная эпидемия неизвестной болезни. Разразится война или нет — зависит от соревнования сил зла и сил спасения; последние будут представлены новой религиозной сектой, возникшей в диком горном районе на Востоке...»

Федя громко рассмеялся и уронил газету на пол.

— В чем дело? — крикнула Хайди из кухни.

— Приглашаю тебя выпить, — крикнул Федя в ответ. — Готовкой займешься позже.

— Я сейчас!

Федя снова замурлыкал «Марш тореадора», отбивая ногой ритм. Его подошва оставляла отпечаток на еще не примявшемся голубом ковре; он любовно пригладил ворс рукой. Перспектива провести вечер у себя дома с глазу на глаз с любовницей вызвала у него некоторую скуку. Он решил разделаться с сексом немедленно после ужина, после чего отправиться в какое-нибудь интересное местечко. Он ни разу не видел, как французская буржуазия отмечает Новый Год, а прождать еще год, возможно, уже не удастся. Последняя мысль навела на него печаль.

— Вот и я. Теперь можно выпить, — провозгласила Хайди, снимая в дверях кухни фартук и бросая его на пол. В своем черном вечернем платье она выглядела вполне привлекательной, но лицо ее исхудало, под глазами залегли тени, а в оживлении была заметна некоторая искусственность, напоминающая свечение неоновой трубки.

— Ты наступила на фартук, — сказал Федя.

— Не беда — сдашь в прачечную вместе с остальными вещами. У меня их с собой целых три штуки.

Она увидела, что он относится к этому как к безумному мотовству и сердится не на шутку. Ее брови слегка дрогнули — нервный тик, как у Жюльена, приобретенный совсем недавно, от которого ее лицо становилось жалким и беззащитным. Жестом, вошедшим у нее в привычку, она потрепала федину шевелюру.

— Кажется, меня пригласили выпить.

— Что ты предпочитаешь? — осведомился Федя.

— Сейчас принесу.

Она вернулась с бутылкой шампанского, извлеченной из морозильного ящика, и Федя открыл ее с громким хлопком. Это, как обычно, улучшило его настроение.

— Произнеси новогодний тост! — радостно сказала она.

Он припомнил ритуальные тосты, провозглашаемые на родине в порядке строжайшей иерархии, но ни один из них не подходил к случаю. Ему вспомнилось, как в 1938 году все произносили тосты за человека, которого со следующего же утра было запрещено упоминать, и как его потом целую неделю мучил понос. Это была одна из тех шуточек, которые здесь никто не поймет. Им внезапно овладела тоска по дому.

— Не знаю я никаких новогодних тостов, — буркнул он.

— И я, — призналась Хайди. — Зато вот рождественский. — И она продекламировала своим чистым, тонким голоском:

*Peace on earth, and mercy mild,  
God and sinners reconciled... 23*

Она выпила шампанское и налила себе еще. Федя усмехнулся.

— Снова монастырь?

Хайди села на некотором удалении от Феди в цветастое французское кресло.

— Что ты тут читал?

Он улыбнулся.

— Газета напечатала пророчество предсказателя. Говорят, эту газету читает миллион людей. С каждым днем, читая все это, они становятся все глупее, а владелец газеты — богаче. Потом он выступает на банкете и говорит о необходимости защищать свободу печати. Ваши учителя учат детей, но одновременно вы позволяете таким вот гангстерам морочить голову необразованным массам, которые ничуть не умнее детей. Что ты на это скажешь?

— Что вы правы, как всегда, профессор. — Самыми счастливыми моментами были для нее те, когда она могла с ним согласиться.

Он с улыбкой покачал головой.

— Почему такой насмешливый тон? Разве это обязательно?

— Нет. Просто глупое кривлянье. Но ты должен сохранять терпение, переучивая меня, и принимать во внимание мое деформированное мышление, связанное с происхождением.

Ему было невдомек, смеется она или говорит искренне; не знала этого и она. Немного помолчав, она спросила:

— Что же говорит предсказатель?

— Что будут метеориты, чума и новая религия, спустившаяся с гор... — Он не стал упоминать о войне; по молчаливому согласию они изо всех сил старались не затрагивать этой темы. — Думаю, — добавил он, — что под новой религией он подразумевает секту сумасшедших, появившуюся в Карпатах.

— Я никогда не слышала о «Бесстрашных Страдальцах», — сказала Хайди, собралась что-то добавить, но осеклась. Федя заметил это.

— Может, и ты присоединишься к ним?

— Пока нет, спасибо. Кто же тогда займется ужином?

Она встала и ушла на кухню. Феде было скучно, поэтому он решил помочь и последовал за ней. В крохотной кухоньке они то и дело натыкались друг на друга, одновременно наклоняясь за тарелками, и ее волосы скользили по его лицу. По ее участившемуся дыханию он понял, что она не возражала бы, если бы он взял ее на руки и понес на кушетку, даже если бы в итоге сгорел ужин; он тоже почувствовал нетерпение, но голод пересилил желание, и он решил, что правильнее заставить ее еще потрепыхаться на крючке. Он похлопал ее по спине и удовлетворенно сказал:

— Ну вот все и готово, теперь можно поесть.

У нее оказалось припасено две бутылки бордо, которое после шампанского быстро ударило им обоим в голову. Федино лицо приняло выражение умиротворенной галантности, которому Хайди

присвоила номер 4. Она знала, что скоро оно сменится сексуальным выражением — номером 5.

— Как там говорилось в твоём тосте? — попытался вспомнить он.

— В рождественском? Я рада, что он тебе понравился. — Наклонившись над столом, она нежно произнесла:

*Мир на земле и милость в мире*

*Пусть плоть и дух вовеки мирят.*

— Там не так. «Пусть Бога с грешниками мирят».

— Конечно. Какая я дурочка! — Она закусила губу и примолкла. Феде всегда становилось не по себе, когда у нее на лице появлялось это выражение отрешенности, поэтому он поднялся, шелкнул каблуками и с насмешливой торжественностью произнес:

— Пью за «Бесстрашных Страдальцев»! Видишь, я готов превратиться в контрреволюционера, лишь бы польстить тебе.

— Одному небу известно, кем становлюсь я, чтобы польстить тебе, — задумчиво молвила она.

— Никем ты не становишься, — игриво сказал он. — Тебе не дано меняться. Ты для этого слишком тверда — и слишком мягка...

— Что за лирика? — удивилась она.

— Да, ты загадка. Великая загадка! — с энтузиазмом вскричал Федя. Несмотря на легкое опьянение, он не забывал, что женщинам нравится, когда их называют загадочными.

— Я решу для тебя эту загадку, — сказала Хайди. — У меня тело женщины, мозги мужчины, стремления святоши и инстинкты шлюхи. Достаточно?

— Надо же, — прыснул Федя, — как банально!

— Ты растешь на глазах, — прокомментировала Хайди. — Что ж, скажу больше. Когда мне было девятнадцать лет, меня направили к психоаналитику. Моим родителям хотелось мальчика, а я родилась девочкой; психоаналитик сказал, что это очень важное обстоятельство. Еще он сказал, что я увлечена своим папочкой, поэтому и влюбилась в Иисуса Христа. Тогда я пошла к другому психоаналитику, который обнаружил у меня низкую степень доверия к самой себе, вследствие чего я вечно играю именно ту роль, которую от меня ожидают другие. Потом я вышла замуж за очень вежливого молодого человека, который в любви был похож на птичку; он объяснил мне, что я фригидна, ибо страшно эгоистична и не обладаю щедростью, которая позволяла бы мне отдаваться по-настоящему. Теперь я повстречала тебя и впервые поплыла по течению — а ты объясняешь мне, что я — типичный продукт обреченной цивилизации. К чему все это?

Федя посмеялся, а потом сказал поучающим тоном записного педагога:

— Сначала ты ни за что не хотела говорить о себе, теперь же только этим и занимаешься. Ты говоришь, что в тебе нет никакой загадки, но сама считаешь, что очень загадочна, как и все окружающие люди. К чему это? А вот к чему. Все очень просто: никакой загадки не существует, есть одни рефлексы, как вот в этом радиоприемнике. — Он ласково погладил ящикек цвета слоновой кости. — Крутани ручку — вот тебе и реакция. Ударишь — получишь поломку; после ремонта все опять будет в порядке. Оно говорит, кричит, поет — как все это полезно, как занимательно! Но никакой загадки в этом нет... Хайди нарочно зевнула.

— Ты рассуждаешь точь-в-точь, как мой дедушка.

— Тот, у которого был замок в Ирландии? — Он забавлялся. — Который говорил, что женщинам надо заниматься домом и детьми, а о своих причудах — забыть? Очень разумный и прогрессивный человек.

— Нет, другой дедушка. Президент железнодорожной компании. Он скупал другие

железнодорожные компании, а в перерывах увлекался чтением памфлетов на тему «выживает сильнейший» и «человек-машина». Ты рассуждаешь совсем как он. — Она унесла тарелки и вернулась с мороженым и новой бутылкой шампанского. — Ладно, — сказала она, — мы отмечаем Новый Год, и я собираюсь хорошенько набраться.

Федя откупорил бутылку и, наполнив бокалы, сказал с озорной улыбкой:

— Итак, ты настаиваешь, что загадка существует, и что дело не ограничивается рефлексами?

— О, замолчи, дорогой! Хочешь продолжить свою лекцию?

— Да. Хочу рассказать тебе о собаках профессора Павлова.

Хайди почувствовала головокружение. В последнее время все так перепуталось, что она больше не знала, счастлива она или страдает. Для прояснения ситуации она плеснула в шампанское бордо, выпила эту смесь и прилегла, мечтая, чтобы Федя обнял ее и разрешил все сомнения, придавив ее своим сильным телом. Но он продолжал распространяться о профессоре Павлове и его собаках, поглядывая на нее с любопытной усмешкой в прищуренных глазах — такого выражения его лица в ее каталоге пока не числилось.

— ...Так что, как видишь, — продолжал он, — спустя некоторое время, собака начинает истекать слюной при звуке колокольчика, даже если никакого мяса нет и в помине... — Он не спеша приблизился к кушетке. — Вот и объяснение нашей сущности: сплошь условные рефлексы, все остальное — глупые предрассудки. — Теперь он наклонился над ней, и ее сердце бешено заколотилось.

— Вот вздор! — выдавила она, сгорая от желания, чтобы он приступал к делу.

— Значит, не веришь? — Он наклонился еще ближе, все с той же улыбкой на губах. Потом он протянул руку и просунул ее ей под мышку, надавив большим пальцем на сосок. Это была скорее хватка, нежели ласка, причем хорошо ей знакомая: он всегда поступал именно так в кульминационные моменты их близости.

— Ну... — произнес он.

Она почувствовала, как ее глаза закатываются за веки, тело содрогнулось в знакомой блаженной конвульсии и безжизненно раскинулось на кушетке. Федя убрал руку, вернулся к столу и, сев, опрокинул в рот содержимое бокала.

— Что ты теперь скажешь о профессоре Павлове? — полюбопытствовал он.

Она оставила вопрос без ответа. В голове у нее плыл туман, который ей ни в коем случае нельзя было разгонять; тело стало вялым и неподвижным. Без малейшего напряжения мысли она пришла к заключению, что пережила только что унижение, с которым не сравнится никакая низость, которую способен проделать пьяный забулдыга с последней проституткой, и что всю оставшуюся жизнь она будет ненавидеть его так сильно, как не ненавидела никого и никогда. Однако она не чувствовала ни малейшей злобы — только блаженную негу в оцепеневшем теле. Федя в некотором смущении плеснул себе еще шампанского и осведомился, не налить ли и ей. Она отрицательно покачала головой, не в силах разомкнуть глаз. Он включил радио, покрутил настройку и нашел станцию, передававшую румбу. При первых же сладеньких звуках саксофона она поняла, что сейчас произойдет непоправимое, и ринулась в туалет, где, закрывшись, скорчилась в небывало сильной рвотной судороге. Потом она вымыла лицо, прополоскала рот, протерла шею влажной салфеткой и почувствовала облегчение. Приведя в порядок лицо, она вернулась в комнату.

— Тебе лучше? — спросил заботливый Федя и приобнял ее. Он явно решил, что настало время перестать валять дурака и заняться любовью по-настоящему. Она спокойно сняла его руку с талии и опустила в кресло рядом с мяукающим радио.

— Где ты этому научился? — тихо спросила она, выключая радио.

Федя хохотнул, хотя уже чувствовал нетерпение: проделанный фокус привел его в возбуждение.

— Простой прием из павловского арсенала, — сказал он с улыбочкой.

— Эта хватка играет роль колокольчика, дребезжащего всякий раз, прежде чем собаке дадут есть?

— Да. Но сейчас мы придумаем кое-что получше, чем просто колокольчик, — сказал он, приближаясь.

— Подожди. Я думала, что на людей такие вещи не действуют.

— Почему же? Рефлекс расширения зрачка всегда можно проверить, даже без гипноза. Звон колокольчика — расширение зрачка, удар гонга — сужение. Очень просто.

— Что еще можно сделать с человеком?

— О, многое... Ты идешь? Может быть, потом сходим в кафе?

— Где ты этому научился?

— У коллеги, который интересовался такими штучками. — Внезапно тон его голоса и выражение лица резко изменились. — Почему ты задаешь столько вопросов?

Все тем же ровным голосом она ответила:

— Ты только что проделал со мной интересный эксперимент. Мне стало любопытно.

До него начало доходить, что по какой-то глупой причине, понятной одним женщинам, она чувствует себя оскорбленной.

— Это же была всего лишь шутка, — сказал он. — Просто чтобы доказать тебе, что профессор Павлов прав и что болтовня о загадках — сплошные предрассудки...

Она подняла свое бледное, перекошенное лицо, но не издала ни звука. Он смирно придвинул второе кресло и сел напротив нее.

— Что произошло? — мягко спросил он.

— Думаю, мы не сможем больше встречаться, Федя, — выдавила она.

Последовало молчание.

— Ладно, раз ты не хочешь... — ответил он как ни в чем не бывало. — Но почему?

— Ни к чему начинать все сначала. — Она знала, что наступил момент встать и уйти, но не могла пошевелиться.

— Если ты хочешь прекратить наши отношения, — холодно выговорил Федя, — то я требую объяснений.

Хайди чувствовала себя истерзанной и опустошенной и собиралась с силами, чтобы встать.

— Почему тебе все нужно объяснять? — вымученно спросила она.

— Потому что... — Он сам удивился, зачем так настаивает на объяснении причины разрыва, и не нашел ответа. Это вызвало у него раздражение. — Потому что прекращать отношения глупой ссорой и без всяких объяснений — просто некультурно!

— Хорошо. Мне не нравится, когда надо мной ставят эксперименты. — Наконец у нее нашлись силы, чтобы оторваться от кресла.

— Так дело в этой шутке? — Он приободрился.

— Считаю, что так. Прощай.

Она подхватила сумочку и прошла уже половину пути до двери. Он ожидал грандиозной прощальной сцены со слезами, завершением которой станет примирение или драматическое бегство. Ее бесцеремонность лишила его дара речи. Ему хотелось преградить ей путь, однако обида и возмущение удержали его на месте. На долю секунды, когда она потянулась к дверной ручке, его сердце замерло от ужаса, и в голове пронеслись различные варианты действий. Он мог схватить ее и потащить на кушетку; он знал, что она станет отчаянно бороться, но в тот момент, когда он преодолеет ее сопротивление и овладеет ею, она сдастся и ответит на его любовь еще более пылко, чем когда-либо раньше. Возможно, именно эта уверенность в неминуемой победе заставила его

отказаться от подобной попытки. Он чувствовал, что с него довольно ее безудержной страсти; всю жизнь он отдавал предпочтение женщинам, либо изображавшим холодность и уступавших якобы только силе, либо становившимся в его объятиях по-матерински ласковыми, как та маленькая татарка в Баку... Она открыла дверь и была уже готова исчезнуть за ней, даже не повернув головы. Федя успел сказать ей в спину придушенным голосом:

— Ты забыла свои фартуки и все прочее.

Она пожала плечами и пропала, так и не обернувшись. Пожатие прямых худеньких плеч было последнее, что он видел. Он слышал, как она надевает в коридоре пальто. Потом за ней защелкнулся замок входной двери. Она даже не хлопнула дверью, как поступила бы на ее месте представительница нормальной, жизнеспособной цивилизации... Федя неожиданно расхохотался вслух, представив себе, какую дикую сцену закатила бы ему девушка на родине. Они называют это «хорошими манерами», наряду с умением заказывать вина в ресторане; на самом деле все это — жуткое лицемерие и бесплодный разврат.

Федя зажег сигарету и потянулся, чувствуя облегчение. На часах было всего полдвенадцатого; через несколько минут он окажется в оживленном кафе и, возможно, найдет там девушку, с которой не придется терять время в бесконечных спорах. Он включил радио на полную громкость и отправился в ванную. Затем он повязал перед зеркалом новый галстук и принялся ожесточенно приглаживать свои коротенькие волосы, благодушно улыбаясь самому себе.

Оказавшись на улице, Хайди сделала глубокий вдох. Безлюдная улица была покрыта тонким слоем свежевыпавшего снега; в воздухе медленно плыли огромные снежинки. Она вытянула руку, чтобы поймать хоть одну, а потом неожиданно для себя самой нагнулась, зачерпнула пригоршню снега и стала тереть им лицо. Тоненькая обжигающая струйка талой воды сбегала вниз по шее и устремилась вдоль позвонков; от приятного пощипывания она снова почувствовала себя чистой. Где-то за спиной раздался стук двери; ей взбрело в голову, что Федя выскочил на улицу и станет сейчас уговаривать ее вернуться. Она ускорила шаг, потом вдруг перешла на бег. Оказавшись на углу бульвара, она, задыхаясь, прыгнула в такси, подрулившее на ее счастье к стоянке. Теперь можно было обернуться; однако улочка, которую она только что преодолела бегом, была пуста.

## VII Об Антихристе

По словам Жюльена, Борису стало лучше — во всяком случае, его физическое состояние теперь не вызывало опасений. Врачи пробовали давать ему какие-то новые антибиотики, но безрезультатно; затем, поздней осенью, когда климат долины Сены оказывает на страдающих заболеваниями груди особенно плохое влияние, наступило неожиданное улучшение. Возможно, сказались принятые лекарства, возможно, дело было совсем в другом — как туманно намекнул Жюльен.

— Когда вы видели его в последний раз? — спросил Жюльен. Шел первый день нового года, и они с Хайди брели вдоль набережной по направлению к отелю, где проживал Борис.

— Несколько месяцев назад, — ответила Хайди. С Жюльеном же она не виделась несколько недель. Она случайно столкнулась с ним, рассматривая книжные киоски на набережной Вольтера. Жюльен предложил нанести новогодний визит Борису. Они купили цветов и кое-чего вкусенького и теперь направлялись к острову Сен-Луи, с жадностью вдыхая чистый морозный воздух.

— Я навестила его пару раз в больнице, — объяснила она. — Кажется, в сентябре. Как бежит время... Но он был так неприветлив; я решила, что действую ему на нервы, и не стала больше к нему ходить...

Она удивлялась, что ей так легко с Жюльеном. Возможно, это объяснялось случайностью их встречи; если бы встрече предшествовала договоренность, в ее поведении проступала бы нервозность. Они ускорили шаг, и Хайди подметила, что ей гораздо легче идти в ногу с Жюльеном, несмотря на его хромоту, чем с Федей.

— Борис рассказал мне о вашей ссоре, — сказал Жюльен.

Хайди смешалась.

— Я знаю, что виновата. Но зачем было рассказывать об этом вам?

Во время своего последнего визита она попыталась предложить Борису денег, чтобы он подлечился в Швейцарских Альпах. Борис оскорбился, и чем больше она пыталась его вразумить, тем более несносным он становился; в конце концов ей пришлось уйти, чувствуя себя униженной и зная, что она все испортила, и что он теперь никогда не захочет ее увидеть.

— Вы удивитесь, когда узнаете, зачем, — сказал Жюльен.

— Только не говорите, что он в меня влюбился, — предупредила Хайди.

— Нет. Борис не из тех, кто может влюбиться в кого бы то ни было... Он рассказал мне о той ссоре совсем недавно, когда началось это внезапное улучшение, так удивившее врачей. Он упомянул ваше предложение и добавил: «Если бы кто-нибудь предложил мне деньги теперь, я бы тотчас согласился».

— Почему же вы мне не позвонили?

— Не хотелось. Я попытался раздобыть денег в других местах.

— Успешно?

— Нет. Ежемесячно с Востока бегут тысяч десять людей, и источники благотворительности вот-вот иссякнут.

Они замедлили шаг; Хайди снова сбилась с ноги.

— Я порвала с Федей, — безмятежно объявила она.

Она продолжала смотреть прямо перед собой, но все равно знала, что его лицо исказил знакомый нервный тик. Пройдя еще несколько шагов, он жизнерадостно произнес:

— Хорошая новость. Когда же?

— Вчера вечером.

Он присвистнул и остановился, чтобы закурить.

— Вам обязательно надо испортить дымом такой чудесный воздух? — спросила она, облокотившись на каменную балюстраду набережной и наблюдая, как он возится со спичками одеревенелыми пальцами.

— Это специальный сорт: гаснет после трех затяжек и становится все вкуснее после каждого прикуривания. Но вкуснее всего — когда сосешь сигаретку холодной, как трубку.

— Ужас, — сказала Хайди, смеясь, и ее глаза неожиданно наполнились слезами.

— Что случилось? — осведомился он.

— Ничего. Я вдруг почувствовала себя так, будто вернулась из дальнего путешествия.

Они снова побрели по тротуару.

— Так как же насчет Бориса? — спросила Хайди. — Я так неуклюжа, что, стоит мне заговорить об этом снова, как опять получится ссора.

— А вы не заговаривайте. Подождите, пока я не переговорю с ним наедине, а потом, если вам и впрямь охота поделиться наличностью, я дам вам знать.

Хайди с готовностью кивнула.

— Что, по-вашему, заставило Бориса взяться за ум?

Он заморгал; сигарета потухла.

— Взяться за ум? Вы увидите, как он изменился. Однако я не назвал бы это изменением в сторону благоразумия.



Они достигли моста де ля Турнелль и зашагали по нему к острову, который как будто плыл вниз по течению Сены, подгоняемый ветерком, дующим в покрытые изморозью платаны, как в паруса, колеблясь в морозном воздухе средневековыми фасадами домов.

— Не думаю, чтобы Бориса можно было вылечить, — сказал Жюльен. — И не думаю, чтобы он питал на этот счет иллюзии.

— Но, кажется, ему гораздо лучше?

Жюльен не ответил. Они подошли к маленькому отелю, где жил Борис. Это было старое узенькое строение в три этажа, на каждом из которых едва хватало места для двух тесно посаженных окон. Отель был зажат между двумя массивными домами, готовыми раздавить его, и уже начавшими это делать, ибо лепнина на стене отеля угрожала рухнуть на голову прохожим. Сердобольные власти попытались воспрепятствовать столь печальному исходу, подперев штукатурку двумя шестами, вздымающимися на уровень второго этажа, так что все здание как бы опиралось на костыли, напоминая мсье Анатоля. Однако из окон открывался очаровательный вид на реку, а один из платанов, украшавших набережную, тянулся ветвями к окошку, завешанному выстиранным бельем. Отель назывался «Отель дю Боргар»; комнаты в нем сдавались на ночь и помесечно. Напротив входа красовался общественный писсуар — круглое жестяное убежище под крышей, напоминающей зонтик, скрывающее мужчину, занятого неотложным делом, только до высоты плеч, и выставляющее на всеобщее обозрение его задумчивую физиономию.

Войдя в отель, они попали в крошечную темноту. Невидимая консьержка осведомилась о цели их вторжения. Жюльен назвал Бориса, и им было велено подниматься на третий этаж. На площадках скрипучей лестницы располагались туалеты с дымчатыми стеклами, в которых не прекращалась кипучая деятельность, судя по бурлению воды в бегущих вдоль стен трубах, создававшему впечатление водопада. Жюльен постучался в комнату номер 9, где обитал Борис, однако ему никто не ответил.

— Ничего, — заявил Жюльен, — я уверен, что он там.

Толкнув дверь и сделав первый шаг, он предупредил Хайди:

— Осторожно, здесь ступенька вниз.

Окно комнаты было занавешено, и на первый взгляд помещение казалось безлюдным. Напротив двери громоздилась незастеленная железная кровать, занимавшая почти все пространство. За ней помещался закуток с раковиной и биде; кроме того, в комнате имелся платяной шкаф с безобразным зеркалом. Привыкнув к потемкам, Хайди с изумлением разглядела на фоне занавески босого Бориса во фланелевом халате. Он не шелохнулся и не ответил на приветствие Жюльена.

— Эй, у тебя гости! — прикрикнул Жюльен и включил свет. Борис стоял все так же неподвижно и даже не прищурился от света.

— Выходит, ты меня заметил? — спросил он с обидой и разочарованием в голосе. Сейчас он еще больше, чем в последний раз, напоминал труп; все лицо его провалилось, и лишь нос стал еще длиннее и заостреннее.

— Гляди — я привел гостью, — сказал Жюльен. — А в этом пакете — икра и бутылка водки.

Борис воззрился на Хайди. Его глаза оказались посаженными так близко, что почти косили.

— А вы, мадам, — обратился он к ней, — вы тоже увидели меня, когда вошли?

Хайди выдавила почти естественный смешок.

— Было так темно, что я действительно сначала подумала, что тут никого нет.

— Ага, значит, не увидели! — воскликнул Борис, торжествуя.

— Нет — по крайней мере, сначала.

— Ну и что, разве это имеет значение? — спросил Жюльен нарочито грубо.

— Имеет — только вам этого не понять, — рассеянно отозвался Борис. Все так же не сходя с места, он принялся шевелить пальцами ног, внимательно наблюдая, как это у него получается.

— Ради Бога, давай впустим сюда хоть немного воздуха! — взмолился Жюльен. Он рывком раздвинул занавески, и Борису пришлось посторониться, чтобы они не столкнулись лбами. Яркий дневной свет ворвался в комнату, как пушечный снаряд. Борис тихонько вздохнул и пришел в движение.

— Очень мило с вашей стороны, что вы пришли меня навестить, — затараторил он, обращаясь к Хайди, и отвесил ей учтивый поклон, забыв о своем драном одеянии. — Прощу садиться. — Он сделал гостеприимный жест, указывая на неприбранную кровать и единственное в комнате кресло-качалку с полуистлевшей соломенной спинкой.

— Пойди переоденься, а мы пока займемся водкой, — велел Жюльен, плюхаясь на кровать. Борис еще не решил, как ему поступить, и пока крутился вокруг Хайди, усаживая ее в качалку и определенно желая ее о чем-то спросить, но сомневаясь, стоит ли это делать. Наконец, нерешительность прошла.

— Я сейчас. Располагайтесь, как дома, — сказал он и поспешно исчез за перегородкой. Оттуда раздался плеск воды и бодрые звуки, обычно выпускаемые мужчинами, подставившими голову под кран. Жюльен, похоже, принимал необычное поведение Бориса как должное; не теряя времени даром, он принялся приводить кровать в божеский вид, пытаясь накрыть ее грязным покрывалом с истрепанными углами; покончив с этим занятием, он взялся за свой пакет и разложил его содержимое на кровати, словно им предстоял пикник.

— Будь добр, брось мне сюда рубашку, — подал голос Борис. На этот раз то был ясный, свежий голос, хотя за словами последовало тихое покашливание. Спустя минуту он вышел из-за перегородки в полном облачении, со смоченными водой редкими волосенками. При виде икры, копченой лососины и ветчины, разложенных на кровати, в его глазах загорелся жадный и одновременно печальный огонек.

— Напрасно ты это, — проговорил он через силу. Его взгляд, почтив для вежливости вниманием Жюльена и Хайди, вернулся к яствам, как стрелка компаса, возвращающаяся к магнитному полюсу.

— Начнем с икры, — решил Жюльен.

Хайди придвинула качалку поближе к кровати, и они принялись намазывать бутерброды. Хайди только делала вид, что ест, однако Борис уговаривал ее не стесняться, как гостеприимный хозяин. После первого же глотка водки он оживился.

— Теперь я вас вспомнил, — сообщил он Хайди. — Последнее время мне трудно полагаться на память, но вас я вспомнил. Мы были в гостях — фейерверк, русский из секретной службы... Потом вы навестили меня в больнице — и пропали. — В его глазах появилось новое выражение. — Как вам это удалось? — спросил он заговорщическим тоном.

— Что именно? Пропать? — спросила Хайди с натянутым смешком.

— Не хотите говорить на эту тему — не надо, — сказал Борис. — Надеюсь, я и сам скоро смогу... — Он осекся и подозрительно оглядел гостей. — Я ничего не говорил! — угрожающе произнес он. — Понятно? Ни слова! Предупреждаю!

Жюльен резким движением опустил стакан — у них был на всех один стакан Бориса со следами зубной пасты.

— Что за чепуха? Ты заговариваешься! Пора встряхнуться.

Борис окинул его невидящим взглядом, но через секунду нахмурился.

— Что такое? — нетвердо произнес он. — Не кричи на меня. Что случилось?

— А то... — Жюльен немного помялся и решил пойти напролом. — Что еще за игра в невидимку? Ты напел себе всяких небылиц, и они превратились в паутину, в которой ты все больше запутываешься.

В глазах Бориса появилось сомнение.

— Напрасно ты говоришь все это, когда... — Он чуть заметно кивнул в сторону Хайди.

— С ней все в порядке, я за нее ручаюсь, — отмел все подозрения Жюльен. — Она — та самая девушка, которая предлагала тебе деньги, чтобы ты поехал в Швейцарию, неужели не помнишь?

На лице Бориса расцвело выражение нежданного счастья.

— Значит, вы хотите мне помочь? — Он схватил Хайди за руку. — Теперь понятно. Но когда вы предложили мне деньги в первый раз, то соблюдали конспирацию и утверждали, что они действительно пойдут на лечение, поэтому я обиделся... Теперь-то я понимаю, что вы все время были в курсе дела, а притворялись просто из осторожности. Вообще-то, — продолжал он задумчиво, — вы были правы. Самое трудное — это найти баланс между требованиями безопасности и необходимостью раскрыть в нужный момент все карты... Во всяком случае, главное — что мы все выяснили, теперь можно приступать к делу.

Он вскочил на ноги и заметался между кроватью и окном. Хайди взглянула на Жюльена, но тот жестом велел ей не вмешиваться.

— Понимаете, — начал Борис, останавливаясь перед ней, — в тот момент, когда вы предложили финансировать акцию, план находился в зачаточном состоянии и казался безумием, в лучшем случае — ребячеством. Я начал с того, что лежит на поверхности: прикинуться журналистом, якобы чтобы взять интервью, и тому подобное. Но он за последние два года ни разу не принимал иностранцев, так что даже если бы удалось исхитриться и все-таки пробраться к нему, проблема технических средств все равно оставалась бы нерешенной. Правила гласят, что при пропуске в здание вы оставляете у охраны не только револьвер, но и любой металлический предмет из карманов — сигаретницу, зажигалку и все прочее. Исключения не делаются даже для послов. Затем, проходя по коридорам, вы, сами того не зная, попадаете под ультрафиолетовые лучи — вроде тех, с помощью которых меняется сигнал светофора после прохождения определенного количества автомобилей. Так что любой предмет, который вы попытаетесь утаить в кармане, будет неминуемо обнаружен. В конце концов, этого требует логика: если бы не эти невероятные меры предосторожности, его бы уже не было в живых, и проблемы бы не существовало.

Походив еще немного по комнате, он снова остановился.

— Как видите, всю проблему можно резюмировать двумя словами. Он самый ненавистный для людей человек из живущих на земле, самый ненавистный из всех, кто когда-либо на ней появлялся. Не менее десяти миллионов мирных граждан, не обидевших и мухи, готовы были бы убить его, не взяв никакого греха на душу и пожертвовав собой. Более того, всего его фавориты и ближайшие соратники знают, что в один прекрасный день настанет и их черед, поэтому они тоже заинтересованы в его смерти, ибо это была бы простая мера самозащиты. Перед лицом такой небывалой концентрации ненависти всего на одном кусочке брэнной плоти, он вынужден прибегать к столь же небывалым способам обороны. Подумаешь, цель — всего-то несколько дюймов в ширину и пять-шесть футов в высоту; для облегчения задачи можно считать, что самое уязвимое пространство имеет площадь всего в половину квадратного фута... Его рассеянный взор остановился на еде, разбросанной по кровати; он потянулся за бутербродом, снял с него розовую лососину, хлеб же небрежно швырнул в угол комнаты, как сигаретный окуроч.

— В этой гостинице нет пепельниц, — раздраженно пояснил он. — Живешь тут, как свинья. Так до чего мы дошли? — Он уперся взглядом в Хайди, стараясь сосредоточиться, и, обретя утерянную нить, удовлетворенно прищелкнул пальцами. — Как я уже сказал, весь вопрос сводится к тому, как добраться до этого щедедушного пространства площадью в половину квадратного фута. Вам понятно, разумеется, — пояснил он с сомнением в голосе, — что, говоря о «пространстве», я подразумеваю всего лишь имманентный фасад с именем, усами и всем прочим. Если же мы сосредоточимся на трансцендентном аспекте, то есть на сущности Антихриста, то никуда не придем, а только потратим время на бесплодную болтовню, а он тем временем прикончит и вас, и Жюльена, и всех приличных людей. Не то чтобы это имело какое-то значение; но весь смысл в том и состоит, чтобы его опередить; если вы спросите меня, зачем, то я отвечу, что это дело чести. Вы не согласны?

— Продолжай, — отозвался Жюльен. — Мы слушаем.

— Боюсь, я не совсем ясно выражаюсь. Я не имел в виду, что это дело чести для меня, потому что я был офицером, из-за Марии и так далее. Я хочу сказать, что убить его — дело чести всего

человечества, ибо Антихрист — это вызов и испытание воли к жизни. Теперь все ясно, не так ли?

— Да, — сказал Жюльен. — Но ты сам сказал, что обсуждение трансцендентного аспекта — пустая трата времени. Так что лучше вернемся к практической стороне вопроса.

— Совершенно верно, совершенно верно, — согласился Борис, и его лицо приняло выражение, которое у другого человека означало бы благожелательную улыбку. — Вернемся к имманентной стороне. Так на чем мы остановились?... — Он снова упустил нить, и его глаза обеспокоено забегали по комнате.

— Всего полфута брэнной плоти, — подсказал Жюльен.

Борис отвесил ему благодарный поклон.

— Верно. Ты бесценный помощник. И вы тоже, — повернулся он к Хайди и окинул ее подозрительным взглядом. — Деньги у вас с собой? В сумке, да?

— Все будет в порядке, — успокоил его Жюльен. — Возвращайся же к сути, ради Христа! Ты говорил, что хотел прикинуться журналистом, но это исключается.

Борис кивнул.

— Таков был первоначальный план. Но он исключается, как ты сказал, по причинам, которые мы уже обсуждали... — Он снова зашагал взад-вперед по скрипучим половицам между кроватью и окном. — Исключаются, поскольку: а) журналистов к нему не подпускают, б) невозможно пронести в кармане ни оружие, ни какой-либо металлический предмет.

Он продемонстрировал аудитории два пальца и на какое-то время застыл, словно забыл убрать свою наглядную арифметику.

— Итак, как вы видите, стоит только проанализировать ситуацию — и станет ясно, что эти две причины не зависят одна от другой. Если вас до него допустят, вы все равно не сможете пронести оружие. Если вам удастся утаить оружие, то вас все равно не пропустят. Крайне важно, то есть важнее всего, видеть, что это два не связанные пункта. Мне потребовалось много времени, чтобы понять это, а до тех пор мои мысли вращались по замкнутому кругу, как лопасти мельницы.

Он проиллюстрировал сравнение, покрутив пальцем над головой.

— Скажем, я думал так: раз я не могу захватить револьвер, то можно надеть кольцо с маленьким шприцем; такие были кое у кого в Сопротивлении... — Он улыбнулся Хайди. — А знаете, где мы почерпнули эту идею? В книге о Борджиа. У нас в лесу был один еврей из Кракова, серебряных дел мастер, так вот он штудировал книги о драгоценностях эпохи Возрождения и изготавливал такие кольца. Любое хобби может неожиданно сгодиться...

Воспоминания как будто оживили его, и он потянулся за бутылкой с водкой, но тут же отставил ее.

— Лучше не стоит, — сказал он. — Врачи не велят. Так о чем мы?

— Отсутствие связи между проблемой допуска и проблемой технических средств, — сказал Жюльен. — Иллюстрация к последней — пример с кольцами Борджиа.

— Совершенно верно, — подхватил Борис. — А знаете, в чем помеха применению кольца? Никогда не догадаетесь, — подзадорил он Хайди, готовясь произвести фурор. — Помеха в том, что, даже давая аудиенцию, он никогда не здоровается за руку. Более того, он восседает за огромным столом, на расстоянии нескольких ярдов от гостя. Об этом говорится в воспоминаниях многих иностранных послов. Так что, как видите, штука с кольцами пришла в голову и ему. И вполне естественно, раз он изучал методы Борджиа.

Он нахмурился и снова заметался по комнате.

— Я думал и о других уловках и, боюсь, наизобретал полно совершенно фантастических вещей. Однако у каждой есть недостаток, я уж не стану донимать вас подробными описаниями. Но до чего сладок тот воображаемый момент, когда он сползает под свой огромный стол, и в его задерживающихся дымкой поросячьих глазках мелькает догадка, что его в конце концов провели!... В его ушах начинает звучать шум, превращающийся в гром — и он знает, что это эхо грандиозного

вздоха облегчения всех добрых людей на земле...

В его голосе слышалась мечтательность, а на лице появилось выражение, больше, чем когда-либо раньше, претендующее именоваться улыбкой.

— Но видите ли, — резко оборвал он свои мечты, — грезы наяву — дело опасное. Лучше не отвлекаться от практической стороны проблемы. Знакомо ли вам такое чувство, — обратился он к Хайди с ноткой сомнения в голосе, — когда вы, закрыв глаза, видите, как проворачивается тяжелое колесо — громадный кованый маховик, легко скользящий на смазанных шарнирах? Кто-то привел его в движение, и он вращается теперь сам по себе, под влиянием инерции собственного веса. Ну! — прикрикнул он, закрывая глаза. — Попробуйте! Остановите его с закрытыми глазами...

Хайди взглянула на Жюльена; тот покуривал, сидя на кровати и глядя на Бориса с пристальным безразличием во взоре. Она закрыла глаза, представляя себе стремительно крутящееся тяжелое колесо, и попыталась остановить его.

— Невозможно, — прошептала она.

Борис стоял перед ней с закрытыми глазами и с таким видом, словно его мучает сильнейшая мигрень.

— Ладно, — подал голос Жюльен, — убедил. Довольно — открой же глаза!

Борису потребовалось немалое усилие, чтобы разлепить ресницы.

— Вот видите, не можете. Но условие таково: нельзя сдать и открыть глаза, не остановив колесо. Это — одно из упражнений.

Он снова смежил ресницы, и его лицо исказила судорога напряжения.

— Надо научиться замедлять его вращение — замедлять, вот так, а потом — постепенно — оно остановится... Остановилось! — выдохнул он сквозь стиснутые зубы. — На этот раз, — торжественно провозгласил он, открывая глаза, — на этот раз я его остановил. Но мне не всегда удается сделать это, пока еще не всегда.

— Что это за упражнение? — спросил Жюльен.

— Часть подготовки, — ответил Борис. — Но лучше не задавай таких вопросов. На чем я остановился? — Жюльен уже был готов прийти ему на помощь, но Борис опередил его. — Знаю, знаю, — поспешно проговорил он. — Я вовсе не так рассеян, как ты, наверное, думаешь, хотя упражнения стоят сил... Мы дошли до того места, где я объясняю, что никакие обычные средства не подходят, ни одно из самых хитроумных приспособлений, и кроме того, независимо от этого, меня к нему все равно не подпустят. Так что сами понимаете: как только мне, наконец, пришло в голову сложить вместе две самостоятельные половинки проблемы, я сразу понял, что двигался в замкнутом круге; выражением же этого круга служит наше колесо. Поэтому и надо его остановить. Вы меня понимаете?

Ему, как видно, было совершенно необходимо найти понимание. Жюльен послушно кивнул.

— Это очень важное место, — продолжал Борис, — потому что в противном случае вы не сможете понять, как я пришел к своему открытию. А если знать предпосылки, — тут его лицо озарила взаправдашняя улыбка, — то все становится совсем просто. Все открытия кажутся простыми, когда они сделаны. Сейчас я вам все объясню. Будучи по своей природе одновременно имманентным и трансцендентным явлением, он не может быть уничтожен только в одной плоскости. Иными словами, мне удастся добраться до его имманентного фасада — оспин на роже, усов и всего прочего, — только обходным путем, через иную сферу. Иная же сфера, естественно, нематериальна и невидима. Значит, чтобы завершить дело, мне придется пробраться сквозь невидимую сферу — это ясно, здесь не может быть сомнений... Остальное — дело чистой техники. Придется, разумеется, изучить кое-какую литературу. Ни один человек в здравом уме не станет отрицать, что были люди, по собственной воле становившиеся невидимками. Далее, никуда не деться от факта, что, при избытке сообщений о воспарении на Западе, практикуется оно, главным образом, на Востоке. Однако сама техника во многих отношениях требует совершенствования... Да о чем тут говорить, вы мало что в этом смыслите...

Он умолк, выражение его лица изменилось.

— Зачем я трачу на вас время? И вообще, откуда мне знать, не агенты ли вы?

Неожиданно он впал в ярость, и Хайди охватил испуг.

— Слушай, — сказал Жюльен, не вставая с кровати, — брось вести себя, как псих. Это утомительно. Кроме того, деньги у девушки с собой.

Во взоре Бориса читалась нерешительность. Пока он безмолвно взирал на них, в комнату стали понемногу просачиваться звуки снаружи — гудки баржи, приближающейся к мосту, рев грузовика, от которого задрожали стекла. Наконец Борис снова взялся за свое.

— Так до чего мы добрались? — угрюмо осведомился он.

— До твоих попыток получить транзитную визу для проезда через сферу невидимого, — подсказал Жюльен.

Борис в изумлении воззрился на него.

— Неплохо сказано, — вынужденно одобрил он формулировку Жюльена. — Но я не стану больше распространяться о методе. Детали вас утомят, да и знаний у вас не так много. Тут все дело в тренировке — диете, позе, дыхании и всем остальном. Все это скучно — так что пойдем дальше, — заключил он с небрежным жестом, однако его рука повисла в воздухе, стоило ему снова взглянуть на Хайди. — Необходимо абсолютное целомудрие, — сказал он ей со значением. — И никаких грез наяву. Стоит предаться мечтам всего на час — и прощай весь прогресс, достигнутый за целый месяц.

— И как далеко ты зашел? — спросил Жюльен. Борис одарил его лукавой улыбкой.

— Так вот чего тебе хочется разузнать? Я не могу об этом говорить. Лучше вернемся к практическим деталям. Видите ли, — обратился он к Хайди, — какое-то время я полагал, что обойдусь без денег, ибо проеду на поезде невидимым; однако из этого ничего не выйдет. Коридоры в вагоне узкие, поэтому кто-нибудь неминуемо на меня наткнется, поднимет шум, и на этом все будет кончено. Кроме того, путь неблизкий — больше девяноста шести часов, считая весь этот пограничный контроль, а мне надо будет и посидеть, и поспать, чтобы не потерять формы. Не сочтете ли вы, — застенчиво спросил он Хайди, — что попросить денег на спальный вагон второго класса будет слишком нескромно с моей стороны?

Хайди отрицательно помотала головой.

— Но ведь это большие деньги — почти три сотни долларов.

Хайди кивнула, избегая его взгляда.

— Тогда договорились, — произнес Борис, стараясь скрыть удовлетворение, но поневоле ослабившись от радости. — Понимаете, так мое путешествие станет совершенно легальным, возможно, по туристской визе, и я стану невидимым, только когда поселюсь в гостинице. Там я проведу пару окончательных проверок — например, попрошу принести мне чай и понаблюдаю за официантом, как он войдет в номер, станет озираться в пустом помещении, пожмет плечами, поставит поднос на стол и, возможно, стянет из моего чемодана пару носков — кто станет их винить, раз они живут в таких условиях? Остальное — детские игрушки...

Он остановился в углу подле окна и, казалось, погрузился в свои мысли. Хайди шевельнулась в своем кресле-качалке, и взгляд Бориса на мгновение сфокусировался на ней.

— Теперь уходите, — резко сказал он. — Вы мне мешаете.

— Пойдем пройдемся с нами по свежему воздуху, — предложил Жюльен, поднимаясь с кровати.

Борис ничего не ответил. Он застыл у окна в той же позе, в которой они застали его, войдя; посетители больше для него не существовали. Стоя на пороге номера, Хайди повернулась напоследок в его сторону, и ей на какое-то мгновение почудилось, что его фигура и впрямь растворилась на фоне занавески. Она тихонько вскрикнула. Жюльен, вышедший в коридор первым, остановился.

— Что такое? Неужели работает? — спросил он с усмешкой.

— Наверное, это с похмелья, — молвила Хайди, закрывая за собой скрипучую дверь в комнату с неподвижной фигурой у окна.

— Вот так-то, — сказал Жюльен, когда они очутились на улице. Хайди была так счастлива от возможности снова вдыхать свежий, холодный воздух, что не была расположена к беседе. Пройдя немного, она все-таки спросила:

— Почему вы не предупредили меня заранее?

— Я не знал, что он съехал с катушек. В последний раз он был в норме.

— Что можно предпринять? Жюльен пожал плечами.

— Самое обычное. Придется упечь его в больницу, где к нему применяют лечение шоком или лоботомию, что либо повлияет на него в положительную сторону, либо нет. Если повлияет, то тем хуже для него. Насколько я представляю, для того, чтобы сойти с ума, требуется приложить недюжинные усилия, так что я сомневаюсь, чтобы кто-то имел право лечить его вопреки его воле. Но это так, старая метафизическая головоломка.

Они перешли на Левый берег по мосту Турнелль. Погода стала более теплой, последний нападавший за ночь снег растаял и высох под лучами солнца. Крохотный буксир медленно тащил за собой по Сене связку из двух барж; в воздухе неожиданно разлилось ощущение воскресного дня и преждевременное предчувствие весны.

— Может быть, пообедаем в бистро? Мне бы хотелось с вами поболтать.

— Меня ждут к обеду дома, — с сомнением ответила Хайди.

— Кто способен сказать «нет» в такой день?

— Не я, — сдалась Хайди. — Приходится плыть по течению. Так всегда в этом городе. Плынешь по течению, как оторвавшийся от стебля лотос.

— Только у Левого берега, — уточнил Жюльен. — Если бы грядущие завоеватели согласились довольствоваться Правым берегом, мы смогли бы найти с ними общий язык.

— Звучит примерно так же разумно, как и прожекты Бориса.

— Милая моя, разве вам ни разу не приходило в голову, что сотню лет спустя выяснится, что все мы были безумцами — не в метафорическом смысле, а буквально, клинически безумными? Вам никогда не казалось, что поэты, твердя о безумии Homo Sapiens, делают не поэтическое, а медицинское заключение? У природы уже бывали сходные ошибки — вспомните динозавров. Один невропатолог уверял меня, что вся загвоздка гнездится где-то между лобовой долей и промежуточным мозгом. Короче говоря, наш вид страдает эндемичной шизофренией — тем самым характерным сочетанием изобретательности и идиотизма, которое вы можете наблюдать у Бориса. Однако Борис — всего лишь несколько более ярко выраженный случай, чем большинство из нас. Человек средневековья воображал, что можно купить отпущение грехов за наличные. Наши собственные убеждения столь же разумны. Большой мозг заставляет нас отплясывать на вечном шабаше ведьм. Если вы оптимистка, то вольны питать надежду, что в один прекрасный день произойдет биологическая мутация, которая излечит всю расу. Но бесконечно больше шансов в пользу того, что мы отправимся следом за динозаврами.

— Если это — тема нашей беседы за обедом, — заявила Хайди, — то оправлюсь-ка я домой, к папочке.

— Нет, — спохватился Жюльен, — мне есть что вам сказать, и это не предложение.

Однако он не раскрывал своих планов, пока они не уселись за столик в маленьком ресторане и не сделали заказ. После первого бокала вина он резко выпалил:

— Итак, вы окончательно порвали с Никитиным?

— Да.

— Насколько много вам известно о его делах?

— Совсем немного. Я никогда не задавала ему вопросов, да он все равно не ответил бы. Вам все ясно?

— Все. Я собирался не спрашивать вас, а рассказать кое-что о Никитине, на случай, если вам это неизвестно.

— Лучше не надо, — сказала Хайди, обмирая от любопытства и недоброго предчувствия. — Мне не интересно ни его амурное прошлое, ни особые делишки, которыми он, несомненно, занят, как и все они.

— Но вы не имеете представления, что это за делишки?

— Нет. И не хочу ни знать, ни продолжать этот разговор.

— Ладно, ладно, а то еще, чего доброго, откусите мне нос. Но вы могли бы задать себе простой вопрос: чего ради я собрался порадовать вас фактами из жизни Никитина сейчас, когда вы с ним порвали? Почему помалкивал раньше?

Колебание Хайди длилось недолго.

— Возможно, тогда вы о нем ничего не знали. Как бы то ни было, это не имеет теперь ни малейшего значения. Я же сказала, что не хочу продолжать этот разговор!

Жюльен не спеша зажег свой неизменный окурочек и молвил:

— Я знал эти факты не один месяц. Причина, почему я не сообщал вам о них, пока он оставался вашим любовником, вполне очевидна. Я был в какой-то степени влюблен в вас и ревновал к Никитину, поэтому я не мог позволить себе набирать очки, закладывая его. Вместо этого я избегал вашего общества, а если и вы избегали моего, то отчасти из страха, как бы не узнать о нем чего-нибудь эдакого. А теперь, если желаете, мы можем поговорить о чем-нибудь другом.

— Хорошо, — сдалась Хайди. — Я всегда была нукудышной актрисой. Валяйте.

— В вас есть одна совершенно обезоруживающая черта — уставная искренность. Это часть вашего рациона самобичевания. Я не прав?

— Кажется, вы собирались рассказать мне о тайной жизни Феди Никитина?

— Минуточку, сейчас мы к ней перейдем. Я объяснил вам, почему не раскрывал рта раньше. А почему заговорил сейчас?

— Не знаю. Почему вы считаете, что мотивы, по которым вы решаете, говорить или не говорить, должны представлять для меня интерес?

Лицо Жюльена дернулось, и он произнес:

— Так, вот вам факты...

Однако на этом вступление прервалось, так как Хайди вынула пудреницу и, казалось, полностью переключилась на макияж. Он раздавил окурочек в пепельнице и начал снова:

— Прежде чем захватить страну, они готовят списки для первой чистки. Поскольку количество людей, которое надлежит охватить этим мероприятием, должно соответствовать заранее определенному проценту населения, задача отбора выдвигается на первый план. Не стану утомлять вас подробностями; принцип, которым они пользуются, примерно таков: надежные лица из местных жителей — люди разных профессий, проживающие в различных районах страны, — получают задание предоставить списки активных и потенциальных Врагов Народа, Социально Ненадежных Элементов и так далее. Списки сравниваются и просеиваются в более высоких инстанциях, ибо в природе системы брать в оборот слишком большой процент населения. Окончательный отбор производят сортировочные машины. К примеру, если на чьей-то карточке указано, что данный человек а) играет ведущую роль в местном рыболовном клубе, б) имеет родственников за границей, в) отличился на войне, то его карточка автоматически попадает на специальный поддон, и с человеком покончено. Это — единственный реальный метод, ибо задача состоит в том, чтобы уничтожить все потенциальные очаги сопротивления, всех людей, способных так или иначе поднять на борьбу других, — «активистов», согласно их классификации. Политические убеждения играют второстепенную роль, поскольку первейшая цель заключается в устранении источников независимой



мысли и действия. Если прибегнуть к метафоре, необходимо раздробить спинной хребет нации, лишить ее ребер, размолоть ее кости, чтобы она превратилась в беспозвоночное, слизняка или медузу, которую уже нетрудно переварить. Можно назвать это «Операция „Кобра“». Федя Никитин — один из высокопоставленных бюрократов, занимающихся подготовкой этой акции; его задача — просеивать и проверять смертные списки на интеллигентов — художников, писателей, мыслителей и прочих. Излишне говорить, что если дать волю французским интеллектуалам, выполняющим его задание, то они отправили бы в Заполярье девять из десяти своих коллег и конкурентов, включая и любимейших товарищей по партии. В подобном деле границ не бывает, поэтому есть опасность превращения террора в чистый абсурд; миссия людей вроде Никитина — бюрократизировать террор, усовершенствовать сортировочные устройства, тщательнейшим образом проверять друг друга и втискивать абсурд в рамки разумного... С чем вы будете пить кофе?

Хозяйка ресторана вышла из-за прилавка и зашаркала в шлепанцах к их столику.

— Вам не понравилось мое суфле? — обиженно спросила она Жюльена. — Ваша дама едва притронулась к нему. Или она плохо себя чувствует?

Ее взгляд механически скользнул по животу Хайди: раз у молодой женщины отсутствует аппетит, или она выглядит так, что ее вот-вот вырвет, то легче всего предположить, что она беременна. Жюльен отделался от нее легкой шуткой и заказал два бренди.

После продолжительного молчания Хайди спросила:

— Откуда вы знаете?

— Про Никитина? Мир полнится слухами, — неопределенно ответил он. — В нашем кругу о нем знает практически каждый. В частности, его опознал Борис. Раньше он занимался аналогичными делами в других странах.

— Вы хотите сказать, — голос Хайди звучал вполне спокойно, — что Федя приложил руку к участи жены и ребенка Бориса?

— Бог ты мой, нет — не прямо. Федя не занимался помещиками. Система слишком разветвлена и отрежиссирована, чтобы допускать столь драматические совпадения. Разве вы не замечаете, дорогая моя, в сколь недраматичные времена мы с вами живем? Личные трагедии, над которыми в былые времена ревмя ревели наши дедушки и бабушки, канули в Лету. В трагедии должен присутствовать эстетический элемент. Разве есть хотя бы намек на эстетику в дизентерии, свирепствующей в трудовых лагерях, или на трагедию — в гудении сортировочной машины?

Хайди снова долго помалкивала. Подняв рюмку, она пролила несколько капель на стол и поставила рюмку на место, так и не пригубив бренди. Потом она посмотрела на часы и отчужденно проговорила:

— Кажется, мне пора. — Немного погодя она добавила, как во сне: — Но Борис безумен, так что вся эта история — выдумка. Откуда я знаю, что это правда?

Жюльен сочувственно улыбнулся.

— Дорогая моя, вы прекрасно знаете, что это правда. И всегда знали, что происходит что-то в этом роде. Так что выпейте свой бренди и возьмите себя в руки.

После новой паузы, во время которой она рассеянно теребила рюмку, ее губы стали кривиться, и она выдавила:

— Именно поэтому Борис всегда брезгливо ко мне относился?...

— Он знал, что вы не имеете отношения к никитинским занятиям, но, конечно...

— И Варди? И гости мсье Анатоля? — В ее голосе зазвучали визгливые нотки. — Все знали, да? Они смотрели на меня, знали — и отворачивались. Девушка, от которой пахнет, и которой никто ничего не говорит. — Посетители за другими столами отвлеклись от еды и повернули головы на звук ее голоса. — От меня действительно пахнет? Скажите, пахнет?

— Слушайте, — отшатнулся Жюльен, — хватит с меня одного безумца за утро. Держите себя в руках.

— И папочка знал. Поэтому меня никуда не приглашали. Почему же мне никто ничего не говорил? Почему семейный доктор не просветил меня насчет дурного запаха и личной гигиены?

— Потому, — сказал Жюльен, не обращая внимания на ее истерический тон, — что мы живем хоть и в безумном, но неисправимо учтивом мире. Ваш отец скорее застрелится, чем станет встревать в ваши личные дела... Пойдемте, милая, вам полезно вдохнуть свежего воздуха.

— Подождите. Если Федя занимается такими делами, почему же его не задержит французская полиция?

Жюльен громко расхохотался.

— А на каких законных основаниях? Вы никогда не слыхали о дипломатическом иммунитете?

Хайди резко поднялась с места.

— Чепуха! — бросила она. Хозяйка устремила на нее встревоженный взгляд и жестами объяснила Жюльену, чтобы он поскорее выводил ее на улицу, отложив расчет на другой раз.

— Все это чепуха, — повторила Хайди, шагая так быстро, что прихрамывающий Жюльен едва поспевал за ней. — Либо вы наплели мне одного вранья, либо этим делом должна заняться полиция. — Она остановила такси и стремительно нырнула на сиденье, не предложив Борису присоединиться к ней. Он схватил ее за руку, стоя у распахнутой дверцы.

— Где-то пожар? Вы торопитесь в полицию? Не дурите!

— Вам понадобилось рассказывать мне все это, да? — резко отвечала она. — И вы надеялись, что я это проглочу, не поперхнувшись?

Она рывком захлопнула дверцу и велела шоферу побыстрее уезжать. Шофер успел сочувственно подмигнуть Жюльену и тронулся с места. Было вполне очевидно, что он не одобряет поведения Хайди, закатившей возлюбленному, тем более хромоту, сцену на Новый Год.

Пока такси ехало по Елисейским полям, Хайди во второй раз за последние десять минут припудрила лицо и зажгла сигарету, которую немедленно выбросила в окошко. Ей необходимо было чем-то занять руки, найти какое-то занятие всему телу. Ей требовалось действовать — быстро, немедленно, чтобы не оставалось времени на размышление. Однако помимо воли в ее памяти возникла вчерашняя сцена в фединой квартире, и когда перед ее взором предстала его физиономия, подпертая новым галстуком, к горлу поднялась та же самая тошнота, которая накануне заставила ее скрыться в ванной. Она застонала от беспомощности, крепко зажмурил глаза; снова открыв их, она обнаружила, что шофер критически посматривает на нее в зеркальце. Его неодобрительная гримаса напомнила ей выражение лица хозяйки ресторана. Неужели о ней знают буквально все? Может, это и впрямь сродни телесному запаху? Она поспешно накапала себе за уши духов. Внезапно ей вспомнился Борис, замерший у занавески и пытающийся исчезнуть. Она вонзила ногти себе в ладони и, выпрямившись, заставила себя высидеть в углу с достойным видом, пока машина не остановилась.

Когда она влетела в столовую, отец допивал кофе. Она так боялась, что не застанет его, что едва не бросилась ему на шею; только ощущение своей физической нечистоты заставило ее остановиться. На протяжении последних недель в их отношениях появилась некоторая напряженность. Как-то раз, заявившись домой после вечера, проведенного с Федей у него в квартире, она не смогла заставить себя заглянуть к нему в кабинет, чтобы пожелать доброй ночи; полковник тоже больше не спрашивал ее, где она была. Однако сейчас, стоя с ним рядом, она чувствовала громадное облегчение; она была благодарна ему за то, что, видя ее состояние, он сохранил невозмутимость. Одна только горничная-француженка глядела на нее с дерзким любопытством, совсем как шофер такси и хозяйка быстро. Она вспомнила, что шофер не поблагодарил ее за щедрые чаевые.

— Можно мне поговорить с тобой у тебя в кабинете? — спросила она как можно более твердым голосом. В столовой им пришлось бы считаться с присутствием горничной.

— Разумеется, — сказал полковник, взял кофейную чашечку и последовал за ней в кабинет. Пока она рассказывала ему свою историю, скорчившись в дальнем углу дивана, он отхлебывал кофе

маленькими глоточками, избегая глядеть на нее.

— Вот и все, — закончила Хайди, зажигая трясущимися пальцами сигарету. — Вот и все. Как видишь, я оказалась верной последовательницей своей матери. Но это так, вместо финала. Я рассказываю тебе обо всем этом только для того, чтобы спросить, к кому мне обратиться в полиции. Если я просто забреду в ближайший полицейский участок, они решат, что я спятила.

Полковник несколько секунд молча помешивал свой кофе, потом отставил чашечку, стряхнул пепел с сигары и в первый раз посмотрел дочери прямо в лицо. Обычно в его голубые глаза не бывало заметно определенного выражения; Хайди запомнились все до единого моменты, когда в них загорался огонек. Она потупила взор, уставившись на кончики туфель.

— Зря ты так о матери, — выговорил полковник.

— Прости, — сказала Хайди. — Очень удобное оправдание, правда? — Она продолжала разглядывать туфельку, пристраивая ее то так, то эдак.

— Правда. Твоя личная жизнь меня не касается. Даже мое начальство высказало то же суждение, отказавшись принять мою отставку.

Хайди уставилась на него в таком потрясении и ужасе, что полковнику стоило немалых усилий сохранить твердость в голосе и взгляде.

— Тебе пришлось подать в отставку из-за меня? — выдавила она и тут же почувствовала себя легче, потому что ее глаза наполнились слезами.

— Вероятно, это даже не могло прийти тебе в голову, — сказал полковник. — Просто удивительно, насколько совестливые люди слепы к чужым бедам. ~ Он запнулся, надеясь, что его последнее замечание не ранит ее слишком глубоко. — Теперь скажи-ка: кто внушил тебе эту безумную идею насчет полиции? — Его голос снова звучал сухо.

Она взглянула на него, ничего не понимая.

— Конечно нужно поставить в известность полицию! — В ее глазах промелькнула искорка надежды. — Или слова Делаттра по-твоему — сплошная ложь?

Прежде чем ответить, он снова выждал несколько секунд.

— Нет, не ложь. На самом деле о занятиях господина Никитина известно всем заинтересованным службам, в том числе и французской. Но такие дела никогда не входили в компетенцию полиции.

— Но почему? — Хайди снова охватило отчаяние. — Жюльен сказал мне то же самое. Я просто не понимаю!

— Видимо, — устало молвил полковник, — такие вещи недоказуемы; кроме того, его защищает дипломатический иммунитет, а также необходимость избегать скандалов, от которых может усилиться международная напряженность, и так далее.

Хайди дернулась всем телом, спустила ноги на пол и уселась прямо. Сдержав резкую реплику, которая так и просилась сорваться у нее с языка, она размеренно произнесла:

— Если дело за доказательствами, то я могу помочь. Я видела его записную книжку.

Полковник окинул ее ледяным взглядом.

— И что из того? — Ему требовалось усилие воли, чтобы не переходить на презрительный тон.

— В ней было полно имен — целые списки — со всякими значками. Она выпала у него из кармана на приеме у мсье Анатоля в День взятия Бастилии, когда мы впервые встретились.

— Ты подобрала чужую записную книжку и сунула туда нос? — спросил он с нескрываемым ужасом.

— Я отдала ее ему на следующий же день. Но суть не в этом. Я хочу сказать, что видела в ней списки имен.

— Слушай внимательно, — спокойно сказал полковник. — Всякий раз, когда у нас возникает

разговор, наступает момент, когда ты заявляешь, что самые важные для меня вещи, оказывается, не имеют отношения к сути дела. Боюсь, нам никогда не удастся прийти к согласию насчет «суть». Но на этот раз мне хотелось бы донести до тебя свое мнение. Когда тебя стали замечать в разных местах с этим Никитиным, мне посоветовали по-хорошему, чтобы я отговорил тебя от этого занятия. Я отказался, поскольку не считал себя вправе вмешиваться в твою жизнь. Вместо этого я сказал, что могу уйти в отставку, как уже сообщил тебе. Я сделал это, чтобы защитить твое право видеться с человеком, которого ты выбрала, независимо от того, откуда он, и от всякой политики. Пока я верил, что твои отношения с ним искренни, у меня не было права в чем-либо тебя упрекать. Однако твое теперешнее поведение совершенно сбивает меня с толку. Вчера ты поссорилась со своим... любовником. Уже сегодня тебе не терпится бежать в полицию и доносить на него, потому что кто-то сказал тебе то, о чем ты, наверное, и сама все это время догадывалась...

— Ни о чем я не догадывалась, ничего не знала! — вскричала Хайди. — Я была слепой, глухой, жалкой дурой, но не сообщницей! А если ничего не предприиму теперь, то стану ею. Господи, неужели никто из вас не понимает этого?

— Нет, — холодно отрезал полковник. — Не понимаю. Не понимаю, почему ты считаешь своим долгом диктовать французам, которые и так в курсе дела, как им следует поступать.

— Но они не знают! И не могут знать. Они не знают, как безумен этот человек, сидящий в своей зловонной комнатенке, не знают, что им всем уготовано.

Полковник раздавил в пепельнице сигару и поднялся со стула.

— Не стоит продолжать, — утомленно произнес он. — Вот успокоишься, тогда и поговорим. А пока... — Он шагнул к ней и положил руку ей на плечо, но она вывернулась и испуганно съежилась. Он беспомощно уставился на нее. — А пока, — повторил он неуверенно, — пока ты, может быть, постарайся понять, что порой под личиной благородных помыслов скрывается побуждение отомстить.

Хайди тоже встала.

— Ты никогда не говорил мне таких неприятных вещей, — сказала она ему неожиданно спокойно.

— Ну, ты же ненавидишь его, верно? — пробормотал полковник, чувствуя, что теряет над ней власть.

— Ненавижу всем сердцем, телом и душой, — медленно выговорила она. — Ненавижу за все то, что он делает, во что верит, что защищает. Именно из-за этого меня к нему и влекло — из-за того, что он уверен в себе, что у него есть, во что верить, убеждения, которых лишены все вы. Потому что он настоящий, в отличие от вас. Теперь же я знаю, что с ним надо сражаться не на жизнь, а на смерть именно потому, что он настоящий. Боюсь, что ты этого никогда не поймешь. Боюсь, — повторила она, еле сдерживаясь, чтобы не закричать, — боюсь, ты считаешь меня истеричкой.

Он бросил на нее беспомощный взгляд, борясь с желанием обнять ее и одновременно опасаясь, что его прикосновение спровоцирует у нее какую-нибудь непредсказуемую реакцию, и наружу вылезет нечто такое, что заставит его ужаснуться.

— Лучше иди-ка в свою комнату и приляг, — тихо посоветовал он. Но когда она уже стояла на пороге, он окликнул ее. — И вот еще что... — Он старался говорить ровно; она обернулась с надеждой в глазах.

— Да?

— Я просто подумал... Может, сходим попозже в кино?

Выражение ее лица изменилось; он прочел в ее глазах осуждение, даже жалость и медленно отвернулся, прислушиваясь, как удаляются по коридору ее шаги. Спустя несколько минут он услышал, как хлопнула входная дверь — она ушла.

Он налил себе бренди и вынул из дальнего ящика дневник в кожаной обложке. Последняя запись появилась в нем три месяца назад. Он зажег сигару и записал:

«1 января 19... Упустил очередной шанс помочь Х. Чтобы помочь тонущему, надо уметь плавать самому. Я не могу протянуть ей руку, но одновременно не могу побороть чувство, что с девушкой все в порядке, просто она живет в такое суетное время, как наше, в век вожделений. Микроб вожделения действует на разных людей по-разному, однако он водится в кровеносной системе любого из нас. Х. подхватила его, когда сбежала из монастыря; возможно, при изгнании из кровеносной системы Бога, с обменом веществ происходит что-то такое, отчего активизируется микроб... Если это и в самом деле так, значит, зараза появилась еще в XVIII веке, а может, и раньше, теперь же она готовится разбушеваться в полную силу. Если позволить эпидемии разгуляться, то потери от нее будут похуже, чем от Черной Смерти...»

Полковник зажег успевшую потухнуть сигару, перечитал написанное, перечеркнул, убрал дневник, плеснул себе еще бренди и сел изучать меморандум, в котором говорилось о протесте британцев против стандартизации калибра зенитных орудий, якобы наносящей ущерб экономическим интересам зоны обращения фунта стерлингов.

### **VIII Вспышка вдохновения**

Хайди подняла рюмку к губам нарочито размеренным движением руки. На нее не были обращены ничьи глаза, если не считать рыбок в залитом неоновым светом аквариуме, и она сказала себе, что чувствует себя безупречно спокойной; однако она не смогла побороть соблазна и продолжала демонстрировать хладнокровие, небрежно потягивая мартини. Бар был почти пуст; Альберт и Альфонс воспользовались передышкой, чтобы шепотом подвести итоги работы за месяц. Завтра, узнав ее на фотографиях в газетах, они станут со сдержанной улыбкой рассказывать приятелям-клиентам, что он и она часто посещали этот бар, и что она провела последний час перед своей акцией в одиночестве за угловым столиком у аквариума, выпила два мартини и выглядела вполне спокойной.

Хайди извлекла из сумки зеркальце и, делая вид, что пудрит нос, критически осмотрела свое лицо. Оно было не бледнее обычного; тени под глазами не делали ее облик мрачным, а наоборот, придавали ему пикантность; испуг, проскальзывающий в карих глазах, был замечен только ей; всем же остальным ее вид действительно должен был казаться «вполне спокойным». Новая мания думать о себе фразами, заключенными в кавычки, действовала ей на нервы, но она ничего не могла с этим поделать. С тех пор, как она приняла решение прикончить Федю, она жила словно в окружении зеркал. Хотя она действительно не ощущала никакого беспокойства, ей приходилось разыгрывать невозмутимость; хотя ее рассмешила комедия, на которую отец потащил ее накануне вечером, ей приходилось разыгрывать веселье; хотя она наслаждалась ужином в «Ларю», куда он повел ее после сеанса, ей приходилось разыгрывать наслаждение. Все это время в ее сознании перемещались бегущей строкой фразы в кавычках: «последний ужин», «полное спокойствие», «никто бы не подумал». Когда отправленное на место зеркальце тихонько брякнуло о крохотный пистолет, она автоматически подумала о «холодной стали» и с трудом подавила смешок — однако Альберту (или Альфонсу?) хватило и этого сдавленного звука, чтобы оглянуться на нее с учтивой вопросительной улыбкой.

Она невозмутимо выдержала взгляд официанта, но недавний подъем сняло как рукой, и она содрогнулась от страха. Еще один глоток мартини — и страха как не бывало. Она знала, что причиной страха было совершенно необоснованное опасение, что люди смогут прочесть ее мысли и помешать осуществлению задуманного. Лишь это могло повергнуть ее в дрожь с тех пор, как она приняла свое решение.

Выход явился ей, как мгновенная вспышка, и с этой секунды мир претерпел волшебное превращение. До этого она жила в стеклянной клетке, прозрачность которой только усугубляла чувство одиночества. Теперь же прозрачные стены превратились в зеркала, и она осталась наедине с собой. Люди, окружавшие ее, даже отец, утратили реальность и значили теперь немногим больше, чем анонимный хор на подмостках греческой трагедии. Временами присутствие других людей действовало ей на нервы, ибо она замечала в их внимательных зеркальцах-глазах собственное отражение и поневоле начинала взирать на себя их глазами, отчего и появлялись противные кавычки.

Однако длилось это недолго. Всякий раз, стряхнув с себя страх перед преждевременным разоблачением и провалом, она снова погружалась в блаженный покой, какой знала лишь в первые дни пребывания в монастыре — пока какая-нибудь мелочь, подобная только что скользнувшему по ней вопросительному взгляду бармена, вновь не повергала ее в беспокойство и неуверенность. Уже на протяжении трех дней жизнь Хайди протекала как бы в двух плоскостях.

Она бросила взгляд на часы; еще полчаса до семи, когда Федя вернется с работы, и она наверняка застанет его дома. Она не спеша допила остатки мартини и заказала вторую порцию, которой предстояло стать последней. Она заранее решила, что выпьет два бокала, не больше, дожидаясь «нулевого часа»; однако ей ни разу не приходило раньше в голову, что, по всей вероятности, ей никогда в жизни не придется больше попробовать мартини. Она почувствовала подступающую жалость к самой себе, и когда Альберт (или Альфонс?) принес на подносе стройный запотевший бокал, у нее перед глазами уже стоял аршинный заголовок: «Последний мартини».

Она одарила облаченного в белое симпатичного бармена радушной улыбкой. Тот улыбнулся ей в ответ и беззвучно ретировался к стойке со счетами, оставив ее в одиночестве в углу, рядышком с аквариумом с мерцающими рыбками, потешно открывающими рты и выпускающими гирлянды пузырей. Теперь она никогда не узнает, кто подал ей ее последний мартини — Альберт или Альфонс, и еще одна незначительная загадка жизни так и останется неразгаданной — подобно тайне мужчины (или мальчика?) по имени Марсель, постоянно забывавшего под окном у Жюльена свой велосипед. Ее глаза встретились через стеклянную стенку аквариума с круглыми, немигающими глазами рыбки, рассматривающей ее наподобие Будды; у рыбки было чудесное радужное тельце с длинными просвечивающими плавниками, напоминающими опущенные под воду паруса. Жалость к себе мгновенно покинула Хайди: она снова находилась в мире мерцающей неподвижности. Неизвестно, будут ли продолжаться эти погружения в зеркальный мир суеты и после того, как она покончит с Федей и невозвратно перейдет в иную реальность. Без всякой видимой причины ей вспомнилась сестрица Бутийо — полненькая низкорослая француженка из монастыря, и она поняла, что ответ на вопрос получен уже давным-давно. Как-то раз, осенью, они стояли рядом с прудом в конце аллеи, и сестра Бутийо с улыбкой сказала: «Ты пребываешь в мире, ты чувствуешь благодать, но это состояние текуче: оно то переполняет тебя, то вытекает прочь сквозь крохотное отверстие, оставленное мимолетным раздражением, пустой суетностью, острой, как игла. *Voilà*, мира как не бывало, с благодатью покончено, то самое чувство капля за каплей вытекает из твоей души, и ты снова оказываешься там, где страдала прежде — в сухости и бесплодности банального существования...»

Они часто возвращались в своих беседах к загадочной двойственности земного опыта — не раздвоенности духа и плоти, а именно двойственности — раздражающей, но неизлечимой, к трагической и банальной плоскостям существования...

«Страсти, даже мимолетные, и великие соблазны — ба! — есть проверенные, надежные *methodes* для их лечения, — объясняла ей сестра Бутийо. — Мелкие же раздражения, пустые терзания, рутина, однообразие, кретинизм прочного здравого смысла — *voilà l'ennemi* <sup>24</sup>! Дьявол может быть повержен, но что ты поделаешь с демоном, заgrimировавшимся в провинциального нотариуса, пробравшегося в твое сердце и играющего его частицами, как костяшками счетов, которые еще недавно были четками? Ах, малышка, ты еще узнаешь, что великая дуэль в твоей душе — это схватка трагедии и банальности жизни. Отдавшись потоку банальности, ты становишься слепой и глухой к Загадке; трагическую же жизнь можно пить только с ложечки, иное доступно одним лишь святым. Но и святые продолжают дуэль и то и дело восклицают: «Туше!»»

Она встретила растерянный взгляд Хайди озорной улыбкой.

«Да, даже под пальцами святых четки порой превращаются в костяшки счетов. Тереза из Лизье была тихой, крохотной святой, ни разу не пожаловавшейся на холод и лишения, которые и отняли у нее жизнь в возрасте всего двадцати четырех лет; однако ее могли отвлечь от сосредоточения шорохи, издаваемые накрахмаленной рясой старенькой щуплой монахини, всегда молившейся с ней рядом в часовне. Дьявол умнее, чем тебе кажется, малышка: он усеял мир шуршащими рукавами, капающими кранами и бородавками с тремя волосками на носгах прелатов. В плоскости банального,

жизнь неизменно мечется среди этих мелочей; брак, политика и все остальное — всего лишь увеличенные бородавки на носу...»

Хайди улыбнулась, припомнив, что у самой сестры Бутийо тоже имелась маленькая бородавочка, число волосинок на которой равнялось именно трем, — (правда, не на носу, а на ее очаровательном подбородке, украшенном ямочками. Да, еще тогда, столько лет назад, маленькая монахиня дала ответ на вопрос, наполнявший ее такой глубокой тревогой: для нее не представляли бы трудностей провалы в банальный мир барменов, зеркал и «последнего мартини», во время которых собственное решение начинало казаться Хайди сомнительным, а то и просто граничащим с фантастикой. Теперь, восстановив в памяти беседу у пруда, она понимала, что должна мириться с трусливыми мгновениями, которых будет немало и до, и после акции, ибо они неизбежны и необходимы. Без них все вышло бы слишком просто. С точки зрения лягушки, замершей на краю банальной плоскости, все решения, рожденные в другом мире, должны казаться безумными и попросту абсурдными фантазиями, вызванными нервным перенапряжением. Вспышки трагического провидения, которыми вдохновлялись святые и революционеры от Брута до Шарлотты Корде, всегда были вызовами рутине и здравому смыслу; в промежутках между этими редкими всплесками даже святым приходилось влачить брэнное существование в потемках. Никто не может постоянно дышать разреженным воздухом правды, противоречащей здравому смыслу. Моменты истины подобны экстазу — это нечто вроде коротких замыканий, от которых перегорают все пробки. Затем опускается еще более крошечная тьма — вот как сейчас. На какое-то мгновение Хайди совершенно забыла, чего ради, собственно, она собралась прикончить Федю.

Тем временем, как подсказывал циферблат, в ее распоряжении оставалась всего четверть часа. К счастью, причины ее поступка были коротко, но ясно перечислены в письме, адресованном полиции, лежавшем сейчас у нее в сумочке. В нем сжато описывалась федина деятельность — отбор французских граждан из мира искусства и литературы, подлежащих уничтожению после переворота. Далее следовал лаконичный отчет о попытках Хайди привлечь внимание властей к Никитину и постигшей ее неудаче. Завершалось письмо изложением причин, побудивших ее, ввиду пассивности официальных инстанций, пробудить общественность от апатии с помощью символического акта протеста. Французская история изобилует примерами подобных символических актов и здорового, вдохновляющего воздействия, оказанного некоторыми из них на воображение народа...

Восстановив мысленно содержание своего письма, Хайди обрела утраченное было спокойствие. Ей предстояло выпить еще полбокала мартини. Пока она, не торопясь, допивала остатки, ей вспомнилась беседа с важным чиновником в министерстве внутренних дел, убедившая ее в том, что при сложившихся обстоятельствах единственным разумным решением будет поступить наперекор здравому смыслу, самому рассудку, и попросту убить Никитина, чтобы избежать неминуемого превращения в его пассивную сообщницу.

Жюль Комманш был героем Сопротивления и занимал ключевой пост во французском управлении безопасности. Хайди мельком встретила с ним вскоре после прибытия в Париж на приеме в посольстве и осталась под глубоким впечатлением от этой незаурядной личности. Это был очень рослый, подвижный, небрежно одетый человек, еще не достигший сорока лет, склонный к нервному красноречию молодого вельможи, не затянутого пока академической рутинной. Он преподавал в провинциальном университете археологию и опубликовал вызвавшую ожесточенные споры статью «Искусственное удлинение черепа при правлении фараона Ахнатона», когда разразилась Вторая мировая война. Он отличился в боях, потом, при немецкой оккупации, тайно работал на радиопередатчике, передавая союзникам разведывательные данные; был схвачен, подвергнут пыткам, приговорен к длительному тюремному заключению, а после освобождения Франции назначен комиссаром Республики в крупном городе. В последовавшие затем годы социальных раздоров и напряженности, он проявил способность с честью и тактом выходить из непростых ситуаций, не поступаясь твердостью; ему было предложено возглавить префектуру, затем — должность заместителя государственного секретаря, после чего, примерно год назад, он уселся в свое теперешнее кресло в Управлении безопасности. Одним словом, Комманш принадлежал к новой когорте французских чиновников, вышедших из движения Сопротивления и побуждаемых чувством ответственности перед государством или раззадоренным тщеславием не возвращаться к прежним занятиям. Если бы их собралось побольше, они смогли бы наполнить склеротические вены французской бюрократии свежей кровью; однако их были считанные единицы, и их воздействие

скорее напоминало эффект, оказываемый инъекцией стимулирующего средства на обреченное на смерть тело.

Звоня в министерство внутренних дел, Хайди почти не питала надежды, что Комманш вспомнит ее. К ее удивлению, он ее не забыл и согласился на встречу у себя в кабинете на следующий же день. Презрев вековые традиции французских министерств, он не заставил ее ждать. Кабинет оказался просторной комнатой с двойными дверями с толстой зеленой обивкой; стены украшали ужасающие гобелены времен Второй империи, ниже которых помещались бронзовые бюсты и колченогие столики с мраморными крышками. Комманш стремительно поднялся из-за своего необъятного стола и приветствовал ее сердечным и в то же время деловым рукопожатием. Рядом со столом громоздились два кресла с кожаными ручками, но он пододвинул ей простой стул без ручек.

— У вас такой вид, что вам больше подойдет стул с прямой спинкой, — сказал он с легкой улыбкой. — Не смотрите на мебель, я здесь не при чем. Так чем я могу вам помочь?

Его прямота вселила в нее уверенность, и разговор пошел легко. Она простыми словами поведала ему о своей связи с Федей, о записной книжке и его занятиях. Она упомянула беседу с отцом, американским полковником; поскольку последний счел это не своим делом, она решила, что долг требует от нее обращения непосредственно к французским властям.

Пока она говорила, светло-серые глаза Комманша успели исследовать ее лицо, руки, ноги, меховую шубку и прочее облачение; закончив осмотр, он снова сосредоточил взгляд на ее лице, сперва с вниманием, потом с наполовину озадаченной, наполовину раздраженной улыбкой.

— Это все? — спросил он, дав ей закончить.

Хайди кивнула. Она не ждала драматической реакции на свое сообщение, однако тон его голоса не сулил ничего хорошего.

— И что же, по-вашему, нам следует по этому поводу предпринять?

Вопрос прозвучал почти грубо. Хайди уставилась на него.

— Это ваше дело, — вымолвила она. — Но вы наверняка не станете и дальше позволять ему совершать свои... свои гнусные преступления...

— Преступления? Насколько я знаю, господин Никитин не совершил никакого преступления против французских или международных законов.

— Но я же сказала вам... Боюсь, вы не поняли... — Хайди почувствовала растущую беспомощность, напоминающую паралич, охватывающий человека во сне.

— А по-моему, я вас отлично понял. Вы углядели в чьей-то книжке какие-то каракули, которые приняли за списки имен. Кто-то еще надоумил вас, что списки эти составляются с определенной целью. У вас нет доказательств, что ваши предположения соответствуют истине. Но если бы они и были справедливы, внесение списка имен в записную книжку не образует состава преступления.

В душе Хайди зародилось фантастическое подозрение. Хотя так ли оно фантастично? Разве события последних лет не свидетельствуют о том, что Никитины насадили своих агентов повсюду? Она никогда не могла до конца поверить этим потрясающим разоблачениям, однако теперь была готова верить во что угодно. Поддавшись бессмысленной панике, она затравленно устремила взгляд на зеленую обивку двери. Комманш неотрывно наблюдал за ней, и улыбка на его лице становилась все шире. Выцветшие гобелены, на которых высоко подскакивающие псы, озверевшие от запаха крови, вырывали из боков затравленных оленей и кабанов здоровенные куски мяса, делали повисшую в кабинете тишину еще более зловещей. Наконец, Комманш сжалился над ней.

— Нет, мадемуазель, — сказал он, — хотя ход ваших мыслей и нетрудно себе представить, должен вас уверить, что не являюсь сообщником господина Никитина, — пусть в этом здании таких, несомненно, найдется немало. Если бы вы попали к кому-нибудь из них, это было бы чревато для вас неприятными осложнениями. В связи с этим предлагаю: чем быстрее вы забудете о вашем... романтическом приключении и чем меньше станете о нем распространяться, тем будет лучше буквально для всех.



Его грубость помогла Хайди справиться с замешательством; чувствуя унижение и гнев, она ощетижилась, совсем как затравленный олень у нее над головой.

— На что вы, собственно, намекаете? — спросила она, готовая испепелить его взглядом.

На лице Комманша появилась гримаса нетерпения.

— Мадемуазель, вы же не ребенок! Разве вам не понятно, что может произойти, если друзья господина Никитина прослышат, что вы распространяетесь насчет его записной книжки и так далее?... О, я знаю, вам не страшно, — он поднял руку, призывая не прерывать его, — да я и не намекаю на что-либо драматическое. Но что бы вы сказали, если бы какая-нибудь из наших вечерних газетенок вышла с огромной вашей фотографией и подписью: «Пикантный скандал в дипломатическом мире — атташе Содружества бросил дочь американского офицера» и так далее?

Комманш проговорил это скороговоркой, стараясь не кричать, однако, заметив бледность, разлившуюся по лицу Хайди, перевел взгляд куда-то вверх ее головы.

— Мне все равно, — упрямо откликнулась Хайди.

— Дело не в том, все ли вам равно или нет — хотя вам, разумеется, далеко не все равно, — а в том, будет ли какой-то выигрыш от этой истории. Неужели вы считаете, что после такого скандала хоть кто-то сможет поверить вашим обвинениям? Люди, безусловно, сочтут, что вы пытаетесь отомстить своему бывшему любовнику; пойдут разговоры об истерическом воображении ревнивой женщины, а друзья господина Никитина станут хохотать до упаду.

Хайди машинально достала из сумочки носовой платок и теперь рвала его на кусочки. Комманш наблюдал за ней, ожидая реакции. Наконец, Хайди произнесла:

— Дело совсем не в этом. Вы предостерегаете меня, чтобы я не рассказывала об этом каждому встречному. Я и не кинулась к первому встречному — я пришла прямо к вам.

Комманш коротко кивнул, словно ждал именно такого ответа и был с ним заранее согласен.

— Я ценю это, мадемуазель. — Выражение его лица как будто сделалось более покладистым. — Вы ни с кем больше не говорили?

— Только с отцом и Жюльеном Делаттром, который и объяснил мне все про эти списки.

— Делаттр — большой чудак, но в целом славный малый. Мы учились с ним в одной школе. — Впервые за весь разговор он позволил себе замечание личного свойства. Хайди быстро ухватила за эту соломинку:

— Тогда вы знаете, что все, что он говорил о Никитине, правда. Почему же вы говорите о «предположениях» и делаете вид, что ничему не верите?

Комманшу снова стало смешно.

— Вы — очень упорная юная леди. Верю я вам или не верю — неинтересно. Я уже сказал: все это — не доказательства, хотя, даже если бы это были доказательства, по закону во всем этом не содержится преступления. Не говоря уже о таких пустяковых соображениях, как дипломатический иммунитет, международная обстановка и так далее... Поверьте, мадемуазель, я по достоинству оцениваю ваш поступок, понимаю ваши чувства, но могу только повторить: чем быстрее вы обо всем забудете, тем будет лучше для всех.

Вежливость не позволила ему добавить, что беседа окончена, однако тон его голоса и едва заметное движение тела, словно предшествовавшее вставанию, достаточно ясно передали его намерения. Хайди пришлось приложить немалые усилия, чтобы остаться сидеть. Выпрямившись на жестком стуле, она сухо произнесла:

— Как вы, француз, можете не считать преступлением действия человека, расхаживающего среди ваших сограждан и помечающего их карандашом, словно ставя метки на скотине, отправляемой на убой? Неужели вы не видите — неужели не видите, что вас ожидает?

Комманш, уже успевший привстать, снова плюхнулся на место. Он не пытался больше скрывать нетерпение.

— Неужели вы и вправду так наивны, мадемуазель, что воображаете, что нам известно меньше, нежели вам? Вы думаете, нам неведомы делишки господина Никитина, да и ваша с ним связь, если уж на то пошло? Что же до вашего несколько снисходительного замечания насчет того, что ожидает нас — меня, мою семью, друзей, короче, весь французский народ, то позвольте мне уклониться от обсуждения этой темы, дабы вам не было неудобно.

— Мне? Не понимаю...

— Не понимаете? Что ж, мы оба знаем, что ожидает вас. Комфортабельный авиалайнер, когда запахнет жареным, и смутные ностальгические воспоминания о залитых солнцем кафе на Елисейских полях...

Он умолк, с удовлетворением заметив, что Хайди задвигалась на стуле, а потом добавил с вкрадчивостью дикаря:

— А потом, раз вам удастся столь захватывающее бегство в самую последнюю минуту, какой-нибудь из ваших модных журналов закажет вам прочувственную статейку о последних днях Франции...

Именно в это мгновение в мозгу у Хайди вспыхнуло озарение. Только что она смущенно ерзала на стуле, слушая презрительные речи Комманша и недоумевая, отчего все так жестоки с ней. Но тут блеснула вспышка, и ей внезапно стало ясно, что Комманш прав, и что сделать все необходимое придется именно ей. Как всегда бывает с проблемами, кажущимися неразрешимыми, найденное решение оказалось столь простым, что оставалось только пожимать плечами, отчего она не набрела на него раньше. Боль и унижение исчезли, как перестает саднить рана от инъекции морфия. Позже она вспомнила, что уже читала где-то, как нечто подобное происходит с людьми, подвергнутыми пыткам: они неожиданно расплываются в улыбке, перестав чувствовать, что с ними вытворяют, и хоть сколько-то заботиться об этом. Она знала, что Комманш прав, но его слова уже не причиняли ей обиды. Она встала и увидела собственное отражение в окне кабинета. Однако фигура женщины в шубке из гладкого меха показалась ей незнакомой; самым же странным в незнакомке была улыбка, неожиданно появившаяся на ее узком, бледном лице. Отчуждение от самой себя длилось всего несколько секунд, но Комманш успел вопросительно посмотреть на нее.

— Вы совершенно правы, — спокойно сказала она. — Сначала я не понимала, но теперь поняла.

Ее тон настолько переменялся, что в глазах Комманша загорелось сразу несколько вопросительных знаков. Она захлопнула сумочку и заметила у себя на коленях обрывки носового платка. Она аккуратно собрала их, не чувствуя ни малейшего смущения.

— Как глупо, — пробормотала она, пряча обрывки в сумочку. — Вот дурацкая привычка!

Комманш, обогнувший стол, чтобы пожать ей руку и выпроводить вон, принял иное решение.

— Я был с вами очень груб, мадемуазель, но, говоря откровенно... — начал он.

— Вы были совершенно правы, — прервала она его. — Я поступила очень глупо, побеспокоив вас. Я просто подумала...

Она запнулась; мысли, занимавшие ее пять минут назад, теперь остались в далеком прошлом и представляли разве что академический интерес. Однако что-то заставляло ее представить Комманшу вразумительное объяснение.

— Я и не думала, что главное — это арест или высылка Никитина. Я просто считала, что если обнародовать факты, это откроет людям глаза. Мне казалось, что все спят... Ведь все это — какая-то фантастика, в которую верится с не меньшим трудом, нежели в приближение кометы с ядовитым хвостом... Я подумала, что если люди увидят это написанным черным по белому, то как-то встрепенутся. Но теперь я понимаю, что вы ничего не можете...

Теперь они разговаривали стоя; Комманш, возвышаясь над ней на два-три дюйма, смотрел на нее сверху вниз с наполовину утомленной, наполовину насмешливой улыбкой. Раздражение покинуло его столь же быстро, как и охватило несколько минут назад; со свойственной ему стремительностью он отодвинул в сторону несколько оказавшихся под рукой бумаг и уселся прямо

на стол.

— Вы сказали, что люди спят. Вы действительно так считаете?

Теперь настала очередь Хайди желать разговору скорейшего завершения. Ей хотелось побыть одной и обдумать свои практические действия. Абстрактные рассуждения утратили для нее всякий интерес; она достаточно наслушалась речей от Жюльена, Варди, прочих умников, каждый из которых имел свои теории и философские построения, но ничего не предпринимал. Однако прошедший тюрьмы и пытки Комманш внушал ей уважение, усиливавшееся благодаря тому, что, несмотря на свой пост, он сохранил откровенность и отвергал условности.

— Не знаю... Иногда мне кажется, что все люди либо спят, либо парализованы, и лишь одна я бодрствую и вижу, как приближается комета. Но мне никто не верит...

Комманш нетерпеливо отмахнулся.

— Наверное, вас воспитывали в строгости. Помнится, кто-то говорил мне, что вы росли в монастыре. Это правда?

Не зная, к чему он клонит, Хайди кивнула в знак согласия, сгорая от желания уйти. Однако Комманша, только что понервничавшего, теперь тянуло поболтать.

— У себя в монастыре вы, по-вашему, тоже спали? — резко спросил он. — Вы, с вашей обостренной чувствительностью, уж точно бодрствовали. Однако вы закрывали глаза на наиболее мощный фактор в жизни подростка, не желая его учитывать, — я говорю о сексуальности. Вам удалось подавить ее в себе и притвориться спящей невинным сном. Это именно то, что делают сейчас люди на Западе. Они подавляют в себе осведомленность о приближении кометы. Нам пока недостает понимания глубины политического инстинкта, которым наделены люди и который подчиняется тем же психологическим законам, что и половое влечение. Подобно всем жизненным инстинктам, он иррационален и неподвержен разумному внушению. Политическая психика человека содержит примитивный, дикий стержень и обширное суперэго; механизмы, с помощью которых она подавляет очевидные факты, ее внутренний цензор, куда более эффективны, нежели государственная цензура, и отмечает всякую неудобоваримую информацию, не давая ей добраться до нервных окончаний...

Несмотря на стремление остаться наедине с собой, Хайди обнаружила, что снова сидит — на этот раз на ручке кресла.

— Каков же практический вывод? — спросила она, пытаясь навести порядок в собственных мыслях.

— Он совершенно отрицателен, — ответил Комманш, определенно обращавшийся скорее к себе самому, чем к Хайди. Ей пришло в голову, что так с ней случалось всегда: несмотря на все ее грехи и ошибки, она была отличной слушательницей. Улыбаясь в душе, она представила себя сидящей на скамье подсудимых и с умным, внимательным выражением на лице слушающей речь государственного обвинителя, требующего для нее смертной казни. Именно в этот момент она впервые увидела противные кавычки.

— Отрицательный вывод состоит в том, — продолжал Комманш, — что невозможно вылечить aberrации политического либидо с помощью аргументов. Именно по этой причине, мадемуазель, вполне рациональный политический призыв так называемых умеренных левых потерпел провал. Прежде чем помышлять о настоящем лечении, нам необходимо выяснить, что же стряслось с политическим либидо Европы. Но, увы, теперь уже поздно заниматься столь праздными академическими изысканиями...

— Тогда к чему разговоры?

— Как вам известно, мы, французы, страдаем неутолимой страстью к анализу, — ответил Комманш и бросил на нее взгляд, заставивший ее заподозрить, что вся его речь — способ еще раз над ней посмеяться. Только теперь ей было совершенно все равно. — Мы говорим и говорим, а тем временем, по меньшей мере раз за жизнь каждого поколения, становимся жертвами нашествия, из-за которого каждая семья теряет лучшего своего оратора — но мы продолжаем говорить... Ведь у нас, в отличие от вашей страны, где один говорит, а другой сражается, именно лучшие ораторы

отправляются на бойню и там гибнут. У нас нет ваших сильных, немых, молчаливых героев. Мы — неисправимые приверженцы четких формул. Образец героя для нас — Сирано де Бержерак, делающий выпад шпагой с очередной поэтической строфой на устах... Однако вернемся к нашему политическому либидо. Когда инстинкт начинает следовать ложным путем? Когда он отклоняется от русла у самого источника или разочаровывается в предмете вожделения. Источником всякого политического либидо выступает вера, жаждет же оно Нового Иерусалима, Райского Царства, Утерянного Рая, Утопии — называйте как хотите. Поэтому всякий раз смерть очередного божества вызывает в Истории возмущение. Люди чувствуют, что оно многого им пообещало, а потом обмануло, оставив с липовыми чеками в карманах; они готовы бежать за любым шарлатаном, пообещавшим оплатить их бумажки. Последний раз смерть божества состоялась 14 июля 1789 года, в день взятия Бастилии. В тот день Святая Троица была заменена лозунгом из трех слов, который теперь начертан на наших городских управах и почтовых отделениях. Европа все еще не оправилась после той операции, и все наши сегодняшние беды — просто осложнения, что-то вроде сепсиса, подхваченного раненым. Народ — когда я использую это слово, мадемуазель, я всегда подразумеваю народ, не имеющий банковских накоплений — народ лишили его единственного достояния: знания, или иллюзии, как вам будет угодно, будто каждый наделен бессмертной душой. Рухнула их вера, рухнуло их царство, осталось одно вожделение. Вожделение же это, мадемуазель, может проявляться и в прекрасных, и в кровожадных формах, точно так же, как не находящий применения половой инстинкт. Ибо — можете мне поверить, мадемуазель — отказ от совокупления в сезон размножения — очень болезненное дело. Из-за этой болезненности подавляется весь комплекс ощущений. Остается только вожделение — тупое, неосознанное, инстинктивное вожделение, лишённое представления и о собственных источниках, и об объекте. Вот народ, массы и топчутся без дела с нудным чувством, что их карманы набиты неоплаченными чеками, и всякий, бросающий в толпу: «Слушайте, слушайте, Царство рядом, за углом, вторая улица налево!» может делать с ними, что захочет. Чем болезненнее их состояние, тем проще с ними совладать. Если вы напомните им, что их Царство смердит трупами, они ответят, что этот запах всегда был им больше всего по душе. Нет ни единого аргумента, ни единого лекарства, которое смогло бы их излечить, пока старое божество не будет заменено новым, более современным. У вас в рукаве, случайно, не спрятан такой божок?

— Вы назвали Делаттра чудачком, но он говорит примерно то же самое, что и вы, — заметила Хайди.

— Естественно, — подхватил Комманш. — Мы — люди одного поколения, мы оба принадлежим к одному типу людей — активных болтунов. Нашего брата пруд пруди — и все блестящие, циничные, говорливые латиняне; но не позволяйте видимости обманывать вас, мадемуазель. При появлении кометы все наши сирано будут знать, как им принять смерть — с шиком, а не как ваши бессловесные герои. Мир не видел еще такого несметного числа элегантных смертей, каким позабавит его Франция, прежде чем навечно сойти со сцены...

Он умолк. Хайди почувствовала замешательство. Сколько бы он ни повторял, что климат латинских стран способствует единению болтливости и геройства, ей все равно стало не по себе от его словесного эксгибиционизма. Вспышка красноречия Комманша была тем более странной, что они были едва знакомы. Но потом ей пришло в голову, что он, по-видимому, тоже переживает какой-то кризис. Возможно, снова начали поступать плохие новости — она уже несколько дней не заглядывала в газеты. Тогда ей тем более придется поторопиться, чтобы ее поступок возымел хоть какое-то действие.

— Да, мадемуазель, — не унимался Комманш, — когда вы и ваши соотечественники, которые теперь только и делают, что указывают нам, как надо поступать, полезут в свои самолеты, Делаттр, Сент-Иллер, я и все остальные будем знать, как уйти — с шиком, с утонченностью, так соответствующей нашему национальному характеру. Но если вы спросите меня, почему я так настаиваю именно на «шике», то я откровенно отвечу, что он послужит прикрытием нашему замешательству. Умереть просто и спокойно может лишь тот, кто знает, за что умирает. Но именно этого никто из нас и не знает! О, если бы вместо консервированных персиков и противотанковых орудий вы смогли подбросить нам какое-нибудь новое откровение!... Конечно, вы скажете, что мы могли бы произвести самостоятельно хотя бы этот продукт. Но в том-то и загвоздка, что мы на это не способны. Мы обескровлены — и физически, и духовно. Наша последняя весть миру — те самые три слова, которые красуются на наших марках и монетах. С тех пор мы ничего не смогли дать

человеческому духу; другое дело — чувства: наши романисты, поэты, художники — все они принадлежат к миру чувствования, миру Флобера, Бодлера и Мане, но никак не к миру Декарта, Руссо и Сен-Жюста. На протяжении нескольких веков нами вдохновлялась вся Европа; теперь же мы оказались в положении донора, гибнущего от анемии. Мы не можем надеяться ни на новую Жанну д'Арк, ни на Шарлотту Корде...

Он снова оглядел ее с ног до головы, с любопытством отмечая каждую деталь.

— ...Так вот, если бы вы, мадемуазель, были француженкой, жили два века тому назад и воспитывались в провинциальном городишке на трудах Плутарха и Вольтера, то из вас получилась бы вполне сносная Шарлотта Корде...

Эта реплика Комманша заставила Корделию впервые почувствовать, что всякий может прочесть ее планы по ее глазам и что она окружена зеркалами. Она сказала с натянутой улыбкой:

— Я сочла бы проявлением весьма дурного вкуса убийство человека в ванной кухонным ножом.

Телефон, какое-то время назад настойчиво, но безуспешно пытавшийся обратить на себя внимание Комманша, возобновил прерванные было попытки. Комманш нажал кнопку, бросил коротко: «Да, через две минуты», снова нажал кнопку и сказал совсем другим тоном:

— Нет, мадемуазель, пусть вас не обманывает видимость. Франция и все остальное, что там еще остается в Европе, возможно, и представляются вам гигантской опочивальней, но на самом деле, смею вас уверить, здесь никто не спит. Вам никогда не приходилось провести хотя бы ночь в палате для умалишенных? Во время оккупации один врач, состоявший в нашем отряде, привел меня в такую палату, чтобы спрятать от полиции. Там содержались тяжелые больные, большинство из которых ожидали очереди на сложную операцию на мозге. В первую ночь, когда дежурил мужчина-санитар, мне казалось что все спят. Потом я понял, что они просто притворяются, а на самом деле, закрыв глаза, готовятся, каждый по-своему, к ожидающей их участи. Одни лежали с блаженной улыбкой, поддавшись иллюзиям, как наш знаменитый Понтье. Другие разрабатывали несбыточные планы бегства, наивно полагая, что, изменив внешность, подкупив кого надо или унизившись, они смогут обвести вокруг пальца суровых санитаров, преодолеть запертые двери и избежать операционного стола. Третьи объясняли сами себе, что будет совсем не больно и что сверление дырок в черепе и отщипывание кусочков мозга — приятнейшее дело. Четвертые же, спокойные шизики, каких там было большинство, почти преуспели в начинании убедить самих себя, что вообще ничего не произойдет, что все это — слухи и что завтра все останется так же, как было вчера. Эти больше остальных смахивали на спящих. Лишь время от времени нервное подергивание уголка глаза или рта выдавало то напряжение, которого им стоило уговорить самих себя не верить в неизбежный исход... Нет, мадемуазель, на самом деле там никто не спал. Вспомните об этом, когда окажетесь дома после романтического бегства и сядете за прочувственный некролог тем из нас, кто сгинул навсегда... Кстати, не хотите поужинать со мной завтра?

Неожиданное завершение тирады было столь резким и неуместным, что Хайди лишилась дара речи. Телефон заверещал снова, и Комманш произнес: «Да, сейчас».

— Ну, так как же? — спросил он с легкой улыбкой.

— Зачем вам это? Комманш засмеялся.

— Причины проанализируем завтра — скажем, в восемь часов в «Ларю».

Неужели он только к этому и клонил? Неужели все его мелодраматические речи о трагедии его страны были всего лишь насмешкой и вступлением к предложению поужинать? Такая мысль заставила ее содрогнуться. Она медленно покачала головой.

— Нет, — сказала она. — До свидания. Комманш пожал плечами без малейшего сожаления.

Он галантно проводил ее до двери и распахнул перед ней тяжелые створки; двое привратников придержали их, давая ей выйти.

— Спасибо за визит, — молвил Комманш напоследок; его рукопожатие было формальным, но на лице оставалось все та же оживленная ухмылка. — Au revoir, Mademoiselle.

Вспоминая эту встречу, она понимала, что обошлась с Комманшем несправедливо. Его славное прошлое представляло собой неоспоримый факт, и она ни за что не поверила бы в неискренность его слов. Если ему одновременно захотелось с ней переспать, то это никак не обесценивало его искренность. Одновременно ей казалась отталкивающей сама мысль о мужчине, способном говорить о «шикарной смерти» всего лишь с целью произвести впечатление на девушку — даже если он готовил себе именно такую смерть. Конечно, у него имелся ответ и на это — презрение латинянина к «безмолвному героизму». Но Хайди не была латинянкой и, сознавая, что поступила с ним несправедливо, все-таки не усматривала связи между отчаянными откровениями Ком-манша и приглашением в «Ларю». Все это оставалось совершенно непонятным — но, к счастью, не представляло более для нее подлинного интереса. Единственным результатом разговора с Комманшем стало принятое ею решение, ибо разговор продемонстрировал с математической точностью, что ей следует действовать самостоятельно, и что это будет для нее единственный возможный и честный выход.

Она знала, что не похожа на Шарлотту Корде; в отличие от своей экзальтированной предшественницы из французской провинции, она не рассчитывала на счастливый исход и на «прогулку с Брутом по Елисейским полям». Если бы ей понадобилась аналогия, она скорее сравнила бы себя с нервным студентом-евреем, прикончившим перед Второй мировой войной германского дипломата исключительно ради символа, чтобы привлечь внимание мира к судьбе своих соплеменников. Их было даже двое — двое щуплых студентешек, тихих книжников, каждый из которых в один прекрасный день, повинувшись вдохновению, совсем как Хайди, решил, что с него хватит, купил револьвер и, держа его трясушимися руками, выпалил в человека, которого никогда прежде не видел. Или взять эту русскую — не взбалмошную патриотку из французской провинции, а так, незаметную мышку, члена партии социалистов-революционеров, стрелявшую в Ленина; всех остальных просвещенных русских, распивавших чай, кротких евреев, не высовывавшихся из-за книг, правоверных мусульман и загадочных индуистов, многоречивых французов из Сопrotивления — все они рано или поздно признавали значение символического акта, ритуального самопожертвования, отчаянного ответа террором на террор, раз все прочие средства оказались безнадежными и бессмысленными. Конечно, и ее поступок может оказаться бессмысленным, результаты его непредсказуемы; но кто, в конце концов, мог когда-либо предсказать, чем отольется жертва? Когда она принималась размышлять об этом, предстоящий подвиг вставал перед ней в окружении стольких примеров и, казалось, диктовался настолько неопровержимым здравым смыслом, что она не видела никаких причин для волнения.

Часы над стойкой показывали ровно семь. Хайди подозвала бармена для расчета, попробовав, по Фединому примеру, обойтись ненавязчиво приподнятым пальчиком. К ее удивлению, это незамедлительно сработало. Впервые в жизни она чувствовала себя совершенно уверенной в собственных силах.

Единственное, о чем позволительно было пожалеть — это пустой бокал. Замечтавшись, она сама не заметила, как выпила так тщательно берегавшийся martini до последней капли. Она почувствовала последний укол жалости к самой себе — ведь ей так хотелось сознательно выпить все до самого доньшка и еще долго потом ощущать на языке непередаваемый вкус.

## IX Юдифь и Олоферн

Не желая попадать в зависимость от сюрпризов и непредвиденных обстоятельств, способных вывести ее из равновесия, Хайди несколько раз проводила мысленную репетицию своего путешествия до Фединой квартиры, слов, которые она там произнесет, и необходимых действий. Она уже представляла себе, каково будет катить в такси по знакомым улицам и в сухую, холодную погоду, и в слякоть; что она предпримет, если у такси спустит колесо или они стукнутся о бампер другого автомобиля, что в Париже случалось постоянно. Она знала, насколько часто самые изощренные планы рушатся именно из-за таких мелких недоразумений. Например, если они стукнутся о другой автомобиль, полицейский может попросить у нее документы и увидеть в ее сумочке пистолет. Консьержка в Федином доме может получить от него инструкции не впускать ее.

В этом случае ей предстоит рассмеяться, притвориться, будто она знает об этой Фединой шуточке, и одарить женщину чаевыми, чтобы она поверила в ее версию или сделала вид, что не заметила Хайди. Однако чаевые не должны быть ни слишком щедрыми, ни слишком скудными, и ей нельзя будет застенчиво комкать деньги в ладони; на этот случай в кармане у Хайди лежала наготове новенькая тысячефранковая купюра.

Не исключался также вариант, при котором Федя задерживается на работе; тогда она дожидается его в маленьком кафе напротив. Он мог также появиться с кем-нибудь на пару; придется задержать его на лестнице и разделаться с ним прямо там. Все выглядело настолько просто, что она недоумевала, почему люди не стреляют друг в друга каждый день. Если разобраться, то каждый зависит от чьей-то милости. Она некоторое время размышляла на эту необычную тему, пока ее такси, описав круг по площади Конкорд в потоке других машин, выкатывалось на Елисейские поля. Потом ей пришло в голову, что ее положение все-таки можно считать исключительным, ибо ей не приходится заботиться о том, чтобы не быть найденной; совершить преступление втайне было бы гораздо труднее. Сразу после этого она почувствовала себя виноватой за такую привилегию по сравнению с остальными беднягами, вынужденными убивать втихую. Сообразив, что ей в голову лезет уже самая откровенная чушь, она нервно хохотнула и тут же испуганно подняла глаза на зеркальце заднего вида; водитель, к счастью, ничего не заметил.

И все же, когда такси затормозило перед указанным ею домом, она снова почувствовала себя виноватой: на это раз причина заключалась в том, что у нее все выходило слишком легко. Если бы она замышляла нормальное убийство, как обычно и поступают все прочие люди, ей пришлось бы вылезти из машины несколькими кварталами дальше и завесить лицо чем-то вроде вуали. На узкой улочке не было ни души; погода выдалась ни холодной, ни сухой, ни дождливой, ни слякотной; дул теплый ветерок, с неба падали редкие капли дождя, не способные рассеять поднимаемую ветром пыль. Такого варианта метеоусловий ее планы не предусматривали. Почему-то человек всегда ограничивается всего двумя предположениями, считая, что события могут разворачиваться либо одним, либо другим образом: война либо будет, либо нет, Европа либо погибнет, либо спасется; события же неизменно выбирают третий, непредусмотренный путь. Новая задачка на некоторое время отвлекла ее внимание, ибо Хайди смутно чувствовала, что она имеет прямое отношение к намеченному ею подвигу; забывшись, она принялась перебирать в сумочке деньги, хотя знала, что именно этого делать и не следует. Наконец, она нашла несколько скомканных стофранковых банкнот и, не пересчитывая, сунула их в протянутую руку шофера. Тот бросил на нее все тот же любопытный взгляд, который она замечала сегодня в глазах всех шоферов и всех барменов, хотя она знала, что чувствует себя вполне собранной и действует аналогичным образом. Как бы то ни было, скоро все будет кончено — чем скорее, тем лучше. Какую-то долю секунды она колебалась, не стоит ли пройтись взад-вперед по улице, чтобы успокоить дыхание, но быстро вспомнила, что приехала на такси и запыхаться никак не могла. Она надавила на звонок рядом с забранными стеклом чугунными дверями, вид которых всегда вызывал у нее отвращение. Раздался щелчок, дверь открылась. Теперь надо было поторапливаться.

Конура консьержки располагалась справа по проходу. Хайди знала, что в этом месте ей следует что-то сделать, но не помнила, что именно. В следующий момент она заметила, что, расплатившись с шофером такси, забыла захлопнуть сумочку. Исправляя оплошность, она вспомнила про тысячефранковую банкноту. Она вопросительно заглянула в окошечко и увидела мадам Бушон, консьержку, качающую на коленке своего мерзкого кота и чистящую картошку. Она тоже окинула Хайди любопытным взглядом и как будто собралась что-то ей сказать, но тут же передумала и, передернув плечами, вернулась к картошке.

Шагая к лифту с сумочкой наперевес, Хайди задавала себе вопрос, чем же собиралась ее огоршить консьержка. Кабина лифта стояла на четвертом этаже, где как раз и обитал Федя. Хайди нажала кнопку, но как только лифт пришел в движение, она переменяла решение и шагнула к лестнице. Как-то раз, когда она явилась с большим опозданием, Федя признался, что уже полчаса прислушивался к шуму лифта, всякий раз надеясь, что едет она. Это была одна из самых очаровательных реплик, которые она когда-либо от него слышала. Подниматься к нему на лифте сейчас и слышать знакомое гудение — нет, она не смогла бы этого вынести; это выглядело бы так, словно она заявила под каким-то фальшивым предлогом, под предательским гримом.

Как она ни торопилась, она заставила себя двигаться степенным шагом. Это потребовало титанических усилий, поскольку ей казалось, что в ее туфли залит свинец и что кто-то тянет ее назад. На втором этаже она услышала, как где-то над головой хлопнула дверь, и то ли инстинкт, то ли что-то знакомое, слышавшееся в этом звуке, подсказало ей, что хлопнула именно Фебина дверь. Сперва она подумала, что это сам Федя, и тут же обмякла, потому что не репетировала встречу с глазу на глаз прямо не лестнице и не знала, как действовать в этом случае. Однако паника улеглась почти мгновенно, ибо, замерев у перил, она с облегчением констатировала по звуку шагов, что это не Федя, а просто какая-то женщина; на притихшей лестнице неспешный стук высоких каблучков трудно было с чем-нибудь спутать. К ней вернулись силы; она знала теперь, что все пройдет гладко. Продолжив восхождение, она пожурела себя за паникерство. На третьем этаже стук каблучков стал еще слышнее; скоро ее взору предстала худенькая девушка в меховой шубке, неторопливо спускающаяся навстречу. На лице девушки застыло мечтательное выражение, рука рассеянно скользила по поручню. Хайди знала, что уже встречалась с ней на каком-то приеме, но не могла вспомнить ее имени. Скорее всего, они виделись у мсье Анатоля. Их глаза встретились, и девушка слегка опешила; казалось, она очнулась ото сна.

— О, — пробормотала она, — bonjour. Он у себя.

Она указала подбородком на Федину дверь одним маршем выше, но осталась стоять на ступеньке, потерянно чертя указательным пальцем по пыльному поручню. Хайди остановилась на несколько ступенек ниже нее. Она яростно уговаривала себя, что эта встреча ничего не значит и что ей нет никакого дела до того, что ее заметили; однако ее репетиции не предусматривали подобной случайности, поэтому было вполне естественно, что она не сразу сообразила, как следует действовать. Она все так же нерешительно переминалась на своей ступеньке, теребя сумочку, зная, как сейчас важно хоть что-нибудь сказать, дабы доказать, насколько она собрана и спокойна.

— Мы, кажется, где-то встречались? — беззаботно пропела она, силясь изобразить неопределенную светскую улыбку.

— У мсье Анатоля, — ответила девушка, рассматривая след, оставляемый ее пальцем в пыли. — Я — племянница отца Милле.

— Ах, да, конечно, — сообразила Хайди. Она собралась было назвать себя, но тут же решила, что в этом нет нужды. Потом она поняла, что раз племянница отца Милле только что покинула Федину квартиру, то она, скорее всего, состоит теперь у него в любовницах, а раз так, то должна испытывать к ней ревность и обиду, бедняжка. Важно было рассеять это недоразумение и вселить в нее уверенность. С другой стороны, ей нужно было поторапливаться. Кстати, раз консьержка знает, кто к кому пришел, то это служит объяснением сомнительного взгляда, которым она проводила Хайди. Что ж, от непредвиденных осложнений никуда не денешься; жалко только, что она не отрепетировала встречу на лестнице с очередной Фебиной любовницей.

— Ну... Приятно было вас повидать, — протянула она наконец. — Надеюсь, мы еще встретимся.

Она постаралась, чтобы ее голос прозвучал как можно теплее, дабы, услышав столь верно выбранный тон, девушка окончательно успокоилась. Растянув рот в подобии лучезарной улыбки, она сделала шаг, все так же вцепившись в сумочку. Однако девушка не двигалась с места, не на шутку увлекшись узорами в пыли.

— Я хотела бы кое о чем вас спросить, — молвила она с обычным надутым выражением на лице.

Хайди уже почти поравнялась с ней, однако была только рада возможности постоять еще: ее ноги снова налились свинцом.

— О, пожалуйста, — утомленно откликнулась она.

— Кто-то говорил, что вы раньше жили в монастыре, — продолжала девушка, не поднимая глаз.

— Да, только очень давно.

Девушка все так же разглядывала свою руку, лежащую на поручне.



— Это очень трудно? — спросила она. Хайди задумалась над ответом.

— Трудно? Нет... Не трудно, если верить. Девушка рассеянно кивнула, словно слова Хайди

подтвердили ее давнее убеждение. Еще немного помедлив, она сказала: «До свидания» и стала спускаться. Ее каблук возобновили цоканье, рука все так же волочилась по поручню. Обернувшись, Хайди наблюдала, как она удаляется от нее, вспомнив с легкой завистью слова мсье Анатоля об ее «восхитительной задней части». Но немного погодя, когда девушка повернулась к ней как будто заспанным лицом, чтобы начать спускаться по следующему маршу, она поняла, что микроб вожделения не пощадил даже племянницу отца Милле.

Теперь от Фединой двери Хайди отделял всего один лестничный пролет. Она остановилась, извлекла на свет пудреницу и привела в порядок лицо. Из крохотного зеркальца на нее смотрело бледное, но спокойное личико. Впору было удивиться; но разве она ожидала хоть что-нибудь на нем прочесть? Она бросила пудреницу обратно в сумочку, где она снова брякнула о пистолет; на этот раз сухой металлический звук заставил ее поежиться от пробежавших по ее спине мурашек, словно она вновь превратилась в ребенка, готового залезть под парту, когда кто-то проводил ногтем по классной доске. Захлопнув застежку сумки, она бегом преодолела оставшиеся ступеньки и, не давая себе времени на новые колебания, нажала звонок у Фединой двери. Еще не отняв пальца от кнопки, она автоматически приказала лицу принять радостное выражение, как делала всегда, ожидая, когда распахнется дверь. В квартире зазвучал знакомый звонок; казалось, прошло целое столетие с тех пор, когда она слышала его в последний раз, хотя это было всего-то неделю тому назад.

Федя сидел в кресле в новом халате и слушал радио. Он обрадовался, что его новая любовница так быстро собралась восвояси, потому что ему предстояло кое-что обдумать. Он обратил внимание на некоторую холодность в отношении к нему Громина — Громин был его новым начальником, недавно присланным с родины, и это беспокоило его. Громин был угрюмым, неразговорчивым, некультурным мужланом, никогда прежде не бывавшим за границей, что само по себе кое-что да значило. Раз они прислали сюда такого типа, не знающего ни языка, ни элементарных обычаев страны, то это свидетельствовало о поднимающейся в недрах Службы новой волне недоверия к тем, кто слишком надолго задержался в Капуе. Громин и выглядел, и вел себя так, словно возглавлял дезинфекционный взвод. Не то чтобы он особенно придирился именно к Феде, — нет, Громин старался не давать спуску буквально никому, и старые работники чувствовали себя так, словно все они стали прокаженными. Но нечто новенькое, промелькнувшее в их отношениях в последние дни, — то ли взгляд, то ли замечания, отпускаемые Громиным в его адрес, — заставило Федю взволноваться. Раньше этого нюанса не было, или же Федя просто не обращал на него внимания. Он понял, что что-то не так, только после ссоры с Хайди, когда его на пару дней покинула обычная самоуверенность, и он стал относиться к окружающим еще подозрительнее, чем обычно.

Однако не исключено, что все это было просто игрой воображения, взбудораженного угрызениями совести. Лежащий у него на душе камень тоже был открытием последних дней. Он, разумеется, не мог упрекнуть себя в чем-то конкретном, что Громин или кто-нибудь еще мог бы поставить ему в вину. Однако Федя прошел достаточно качественную подготовку, чтобы понимать: первая стадия заражения протекает без видимых симптомов. Он знал, что для гражданина Содружества жизнь за границей равна по опасности пребыванию в лепрозории. Любой контакт с другим человеком, самый воздух, которым ему приходится здесь дышать, означает постоянную подверженность инфекции. Первые сигналы легко проморгать, потом же, когда яд просочится в кровь, становится слишком поздно. Когда это происходит, жертва, естественно, отсылается за Полярный круг, где есть возможность подышать чистым, морозным воздухом и нет опасности заразить других.

Федя знал, что всему виной — то испорченное, гнилое создание, оплакивавшее свой монастырь и поступающее наподобие шлюхи. Короче говоря, типичный продукт своей цивилизации и класса, переносчица инфекции. Это она приучила его сентиментально, по-буржуазному любить быстро; поглядывать свысока на Громина, прошедшего Гражданскую войну, только потому, что он запивает устрицы красным вином; отдавать предпочтение упадническим импрессионистам, а не реалистичной, здоровой батальной живописи художников Содружества. Хуже того, временами Федя даже стыдился, что он — сын самой развитой и культурной цивилизации в истории человечества, и испытывал унижительное, предательское восхищение перед разлагающимся миром, который

представляла она. Конечно, так бывало нечасто и длилось недолго, и ему не могли предъявить никаких конкретных, веских обвинений — и все-таки Федя знал, что это все равно предательство, и если его призовут к ответу, он со всей искренностью признает себя виновным и примет положенную кару. К счастью, теперь эта связь осталась в прошлом, хотя она и была по-своему ценным жизненным опытом. Теперь он, по крайней мере, знал, что они собой представляют, — болезненные, изнеженные воспитанницы разлагающегося класса.

Пока племянница отца Милле находилась в ванной, приводя себя в порядок перед уходом, Федя включил радио погромче и налил себе виски. Его мысли вернулись к Баку, к Черному городу. Если у братьев Нобеле, владевших в свое время нефтеперегонным заводом, были жены и дочери, то, наверное, как раз такие, как Хайди. Да, полезный опыт, хорошо только, что все так вовремя закончилось. Удачно и то, что он подцепил новую девушку, заполнившую собой образовавшуюся пустоту. От нее, по крайней мере, не приходилось ожидать осложнений. Казалось, она спит на ходу; даже когда он овладевал ею, она сохраняла пассивность и вела себя так, словно это занятие вызывало у нее одно отвращение, — гораздо более естественная и пристойная реакция, чем бесстыдные выходки Хайди. Федя сам недоумевал, как он умудрился пробыть с ней почти четыре месяца.

Он допил рюмку и неуверенно улыбнулся, поймав себя на не очень-то приятной мысли. Получалось так, будто он якшался с Хайди скорее из доброты и жалости, чем повинуюсь желанию. Именно так и происходит проникновение инфекции. Позабавиться с распутной девкой из лагеря противника — вполне понятный образ действий, сродни разорению прилавков в отбитом у врага городе. Поддаться мелкобуржуазным сантиментам — вот что самое опасное... Что ж, теперь с этим покончено; скоро все будет вообще кончено — раз и навсегда. Капуя перезрела и готова свалиться с ветки. Тогда уж все соблазны и источники заразы будут навечно уничтожены. В зоне заражения начнет подниматься новая, чистая, конструктивная жизнь. И все же Федя помимо собственной воли ощущал нечто вроде сожаления; реакция была несильной, но не поддающейся контролю, и это его беспокоило. Ведь, вне всякого сомнения, холодность, демонстрируемая Громиным, имеет под собой почву. Говорят, животное чует человеческий страх; вот и Хайди однажды заявила, что святые чуяли запах греха. Все это, разумеется, дурацкие суеверия, если только не существует химической подоплеки, секреты желез и тому подобного. Но, с другой стороны, громины — современный вариант святых, о которых твердила Хайди; так разве нельзя предположить, что им удастся учуять испускаемый тобой запах заразы — даже при отсутствии осязаемых признаков?

Да, пора кончать с вероломной Капуей, пора превращать мир в безопасное для жизни место. Единственное, о чем он сейчас сожалел, — это разноцветные рыбки в подсвеченном аквариуме. Аквариум неминуемо разлетится вдребезги, а бар превратится в рабочую столовую. Так тому и быть; непонятно только, почему мысль об этом рождала в нем то самое странное чувство сожаления...

Федя слышал, как племянница отца Милле вышла из квартиры — не попрощавшись, как было у нее заведено. Звуки ее шагов быстро стихли. Стремясь вывести свои мысли из порочного круга, он снова наполнил стакан и взял с полки над койкой один из пяти-шести стоявших на ней томиков. Это была «Классовая борьба во Франции» Маркса, которую он не читал с университетских времен. Он пролистал предисловие Энгельса, и его внимание привлек заключительный абзац:

*«Почти ровно 1600 лет назад в Римской империи тоже действовала опасная партия переворота. Она подрывала религию и все основы государства, она прямо-таки отрицала, что воля императора — высший закон, она не имела отечества, была интернациональной; она распространилась по всем провинциям империи, от Галлии до Азии, и проникла за ее пределы. Долгое время она действовала скрыто, вела тайную работу, но в течение довольно уже продолжительного времени она чувствовала себя достаточно сильной, чтобы выступить открыто. Эта партия переворота, известная под именем христиан, имела много сторонников и в войсках; целые легионы были христианскими. Когда их посылали присутствовать на торжествах языческой господствующей церкви для оказания там воинских почестей, солдаты, принадлежавшие к партии переворота, имели дерзость прикреплять в виде протеста к своим шлемам особые знаки — кресты. Даже обычные в казармах притеснения со стороны начальников оставались безрезультатными. Император*

*Диоклетиан не мог более спокойно смотреть, как подрывались в его войсках порядок, послушание и дисциплина. Он принял энергичные меры, пока время еще не ушло. Он издал закон против социалистов, — то бишь против христиан. Собрания ниспровергателей были запрещены, места их собраний были закрыты или даже разрушены, христианские знаки — кресты и т.п. — были запрещены, как в Саксонии запрещены красные носовые платки. Христиане были лишены права занимать государственные должности, они не могли быть даже ефрейторами. Так как в то время еще не было судей, как следует выдрессированных по части „лицеприятия“, судей, наличие которых предполагает внесенный г-ном Келлером законопроект о предотвращении государственного переворота, то христианам было просто-напросто запрещено искать защиты в суде. Но и этот исключительный закон остался безрезультатным. Христиане в насмешку срывали текст закона со стен и даже, говорят, подожгли в Никомедии дворец, в котором находился в это время император. Тогда он отомстил массовым гонением на христиан в 303 г. нашего летоисчисления. Это было последнее из гонений последнего рода. И оно оказало настолько сильное действие, что через семнадцать лет подавляющее большинство армии состояло из христиан, а следующий самодержец всей Римской империи, Константин, прозванный церковниками Великим, провозгласил христианство государственной религией.*

*Ф. Энгельс Лондон, 6 марта 1895 г.»*

Федя удовлетворенно вздохнул. Вот это то, что надо, — ни тебе баров, ни экзотических рыбешек, ни сентиментальных бистро, ни взбалмошных американских наследниц. Твердость, перспектива, правда. Он перевернул страничку и приступил к тексту самого Маркса:

*«После июльской революции 1848 года либеральный банкир мсье Лаффитт, триумфально водворивший своего крестного отца, герцога Орлеанского, в городской ратуше, небрежно бросил: „Теперь будут править банкиры“. Лаффитт выдал секрет буржуазной революции...»*

До его слуха долетел длинный звонок в дверь, и Федя внезапно понял, что слышит его уже давно. Он выругался, недоумевая, кто бы это мог быть, и пошел открывать. Когда он обнаружил за дверью Хайди, лучезарно улыбающуюся ему и одновременно прикусившую губу, первым его побуждением было захлопнуть дверь перед самым ее носом и снова засесть за книгу. Однако это было бы некультурно, поэтому он, посторонившись, чтобы впустить ее, сказал как можно вежливее:

— Ага, вернулась...

— Я уж думала, что ты никогда не откроешь, но, зная, что ты дома, решила дождаться, — сказала Хайди, следуя за ним по пятам в гостиную.

— Откуда тебе было знать? Я мог пойти поужинать.

— Я встретила на лестнице племянницу отца Милле, — беззаботно объяснила Хайди.

Федя бросил на нее подозрительный взгляд, опасаясь сцены ревности. В свое время ему закатила подобную сцену одна темпераментная комсомолка, и все закончилось тем, что она разбила о стену самое его драгоценное достояние — стеклянное пресс-папье с картинкой, изображавшей расстрел коммунаров на кладбище Пер-Лашез. Это воспоминание заставило его занять позицию перед радиоприемником с хромированными ручками, дабы защитить излюбленную вещь от возможных вспышек гнева вновь прибывшей. Но по виду Хайди нельзя было сказать, что вспышка неизбежна; ее лицо было бледным, почти белым, и она все время кусала губу и смотрела на него странным, задумчивым взглядом, словно видела впервые в жизни и пыталась понять, что он за человек. Оба остались стоять, и это действовало Феде на нервы, потому что она была чуть выше его ростом; когда они шли рядом по улице, это не имело значения, но от стояния с ней лицом к лицу ему

сделалось не по себе. Ему не осталось ничего другого, кроме как предложить ей сесть, рискуя спровоцировать тем самым бесполезный и тоскливый разговор, чреватый упреками, а то и слезами. Но он в любом случае был готов дать ей ясно понять, что с их связью покончено и возврата к прошлому быть не может.

Однако Хайди отказалась от предложенного стула, медленно, как во сне, покачав головой, и все так же сонно спросила:

— Не помню этого халата — он новый?

Сама того не желая, она задела его за живое, потому что в своем теперешнем состоянии, переполненный угрызениями совести, Федя рассматривал приобретение шелкового халата как очередное свидетельство губительного влияния Капуи. Неужели она явилась, чтобы еще больше растравить ему душу и порадоваться его слабости? Если так, то она просчиталась, потому что при первой же неподобающей реплике он без всяких церемоний выставит ее вон.

— Старый порвался, — сухо ответил он. — Ты пришла посмотреть, какой на мне халат — или кто меня навещает?

Хайди уставилась на него непонимающим, бессмысленным взглядом, — как слепая, подумалось Феде, чувствующавшему себя под этим взглядом не слишком уютно; потом, когда смысл его слов проник через окутывающий ее туман, она внезапно зарделась.

— Нет, нет, — забормотала она, — мне это как-то все равно.

— Тогда зачем ты вернулась? — спросил он, с трудом сдерживая нетерпение.

Хайди снова посмотрела на него отсутствующим взглядом.

— Затем, чтобы... — начала она и неловким движением трясущихся пальцев расстегнула сумочку. Несмотря на отчаянные попытки взять себя в руки, ей не удавалось вымолвить ни слова из заготовленной фразы и извлечь наружу пистолет. Вместо этого, решив выиграть время, она вынула пудру, чего Федя, собственно, и ожидал. Она знала об этом, как и о том, что ее мания каждые пять минут заниматься своим лицом выводила его из себя. Она снова увидела себя как бы его глазами, в которых отражались, как в зеркале, не только все ее движения, но и мысли. Однако у нее не было сил вести себя иначе, чем он ожидал от нее; кроме того, у нее тряслись колени, а пол под подошвами туфелек казался таким зыбким, словно Федина квартира вознеслась на семидесятый этаж небоскреба. Ей пришлось опуститься в кресло; сделав это, она с облегчением почувствовала под собой твердую опору и принялась пудрить носик, улыбаясь ему поверх крохотного зеркала.

— Затем, что... — услышала она собственный голос, — мне захотелось выпить...

Не говоря ни слова, Федя развернулся на каблуках, взял бутылку со стаканом и налил ей на самое донышко.

— Еще, — сказала Хайди. — Раньше ты не был таким скупым.

— Если ты выпьешь, то снова закатаешь сцену, — сказал Федя. — Через десять минут мне надо идти.

— Еще капельку, — заупрямилась Хайди.

Он бросил на нее холодный взгляд, в котором сквозило вежливое осуждение, и добавил еще несколько капель. Хайди жадно осушила рюмку. Она совершила ошибку, ограничившись в баре всего двумя мартини. В итоге она безнадежно увязла в сумятице зеркал, халатов, пудрениц и трясущихся коленок. Ей никак не удавалось продекламировать заготовленную фразу, тем более вытащить пистолет — увязнув не только руками и ногами, но и мыслями в болоте банальности, она безумно боялась абсурдности отрепетированных слов и жестов. Где взять сил, чтобы вновь воспарить в царство вдохновения, где абсурд кажется разумным и логичным? В ее сознании неожиданно пронеслась строка из стихов: «Онемел соловушка, ангела не жди».

— Если тебе нехорошо, я отвезу тебя домой на такси, — предложил Федя.

В его голове зародилось ужасное подозрение: а вдруг она беременна и явилась сообщить ему об этом? Догадка отразилась на его лице настолько отчетливо, что, не подумав, стоит ли это делать,

Хайди выпалила:

— Что, если я действительно беременна?

Она увидела, как сузились его глаза, и не только тон его голоса, но и все его крепкое, жилистое тело обрело твердость и подтянутость, как у полицейского на дороге, который, остановив водителя за безобидное превышение скорости, обнаруживает, что тот катит на угнанной машине.

— Если так, то мне нет до этого дела, — четко выговорил он.

— Нет дела? Неужели?

Она больше и не пыталась думать: разговор развивался по собственной логике.

— Нет. Откуда мне знать, сколько у тебя мужчин?

— О, — сказала Хайди, — действительно, откуда?

Он заметил, что она улыбается и что оскорбление ничуть ее не задело. Она распахнула сумочку, положила туда пудреницу и прикоснулась пальцами к пистолету. Прикосновение было твердым и дружеским, но что-то у нее внутри приказало: «Сейчас». Она положила руку на пистолет и увидела, что Федя впился в ее сумочку глазами, цвет которых начал меняться. «Сейчас» было подобно физической силе, подействовавшей на мускулы ее пальцев, и в то же мгновение ее посетило забавное ощущение, словно центр ее сознания покинул телесную оболочку и наблюдает теперь за ней с почтительного расстояния. Это он, сторонний наблюдатель, почувствовал под пальцами твердый металл, это ему в запястье врезалась застежка сумочки. Однако в его власти было овладеть ситуацией и передать ей немой приказ: «Нет, не сейчас. Не в гневе». Приказ был странным, потому что она чувствовала себя несокрушимо спокойной. Оставалось предположить, что какие-то черты ее внешности все-таки указывают на нервозность. В ее ушах раздался Федин голос, прозвучавший как бесплотное эхо, преодолевшее огромное пространство:

— Пожалуйста, только без глупостей.

Он медленно шагнул к ней, как водолаз, передвигающийся по морскому дну, но вынужден был остановиться, увидев направленный на него пистолет. Если не считать изменившегося цвета его глаз, на его лице насупленного мальчишки не отразилось ни беспокойства, ни каких-нибудь других чувств. Он снова возобновил движение, и та, отрешенная часть сознания Хайди с любопытством отметила, что его приближение наполняет ее тело физическим отвращением. Она медленно и едва заметно покачала головой, однако хватило и этого, чтобы он замер на месте. Тот же эффект, как от приподнятого пальца в баре. Это почему-то показалось ей забавным, но она не успела понять, почему именно, так как Федин голос оборвал ее мысли:

— Почему ты хочешь это сделать?

Голос был вполне обыкновенным, только каким-то далеким и приглушенным, словно ее уши были заткнуты ватой. Столь же нереально прозвучал и ее собственный голос:

— Ты сам знаешь.

Ее рассудок не принимал никакого участия в этой беседе водолазов, еле отдирающих ноги от морского дна, несмотря на то, что вода делала их во много раз легче. Рассудок оставался на поверхности моря и с трудом различал водолазов сквозь толщу воды, вслушиваясь в искаженные голоса.

— Потому что ты беременна?

— Нет. Ты сам знаешь. Из-за твоих списков.

Федя внезапно все понял. На его лице не осталось и следа прежнего мальчишеского выражения — теперь это было серое, усталое лицо измученного жизнью фабричного рабочего средних лет. Его мышцы обмякли. Он облизнул губы и выдавил блеклым голосом:

— Вот оно что. Тогда нам надо поговорить. Но сперва выпьем.

Она снова чуть заметно покачала головой, и он опять застыл на месте. Потом он пожал плечами, отвернулся, вернулся к койке и сел.

— Ты хотел поговорить, — услышала Хайди собственный голос. Она увидела, как он тянется к стакану, стоящему на столе рядом с радиоприемником, медленно выпивает его содержимое, ставит его обратно и выключает радио. Внезапно навалившаяся на уши тишина подсказала ей, что все это время из включенного приемника доносилась танцевальная музыка.

— Почему тебе не страшно? — прозвучал в тишине ее вопрос.

...До чего же глупо, думал Федя, выключая радио. Бывает еще, что человек губит свою карьеру или идет на предательство из-за любви к женщине. Он никогда не был влюблен в эту девушку, и все же она разрушила все его будущее. Она никогда не выстрелит из этого своего смехотворного пистолетика, но она все знает, все разболтает, устроит скандал. Пусть даже ничего этого и не случится, но одного факта, что она знает, было достаточно, чтобы он стал непригоден для Службы. У него был всего один достойный, правильный выход: признаться во всем Громину. За этим последует разжалование и ссылка в лагеря — либо заключенным, либо охранником. В обоих случаях на его карьере будет поставлен крест. Мысль об этом вызвала у него одновременно горечь и облегчение. В его ноздри ударил колючий, морозный, чистый воздух, пропитанный запахом меха, снега, древесины. Ему предстоит либо самому валить лес, либо охранять заключенных лесорубов. В обоих случаях лес станут сплавлять вниз по реке, потом из него сделают древесную стружку, идущую на настил для корабельной палубы, или стропила, поддерживающие крышу над головами рабочей семьи. Неплохое лечение для человека, надыхавшегося гнилостным воздухом Капуи, неплохая участь для сына Григория Никитина.

— Почему тебе не страшно? — спросила его Хайди этим своим сонным голосом, от которого впору спятить. Никто и никогда не вызывал в нем такой ненависти, как она сейчас. И как его угораздило хотеть эту девушку с неуклюжими ногами, как он мог польститься на ее внешность? Разве не глупость, что она или любая женщина на ее месте в состоянии обречь его на гибель? В этот момент ему в голову пришла новая мысль, от которой его глаза зажглись огнем, как бывало всегда, когда находилось решение загадки. Вдруг это — не просто глупое совпадение, вдруг эта девушка — орудие в руках судьбы? Она доказала, что ему трудно устоять перед соблазнами — но разве не оказались все эти соблазны до предела избитыми? Он усмехнулся и сказал в ответ на ее вопрос:

— Что толку объяснять... Ты этого никогда не поймешь...

Она не подала виду, что услышала его слова, и он подумал: вдруг она находится в гипнотическом трансе? Он вспомнил, что как только она вошла к нему в комнату, он испугался, что она расколотит его бесценное радио. Он улыбнулся, потянулся за приборчиком цвета слоновой кости, ласково провел рукой по его гладкой поверхности, поиграл с кнопками настройки, сказал: «Гляди, вот почему...» и швырнул его об стену. Раздался треск, крепления выскочили из пазов, и корпус раскололся; в наступившей тишине Федя с горькой улыбкой обозревал дело своих рук.

— Зачем ты это сделал? — спросила Хайди, спокойно, без малейшего удивления следя за его движениями.

— Чтобы ответить на твой вопрос. Я любил это радио — но это неважно. Я люблю этот халат, но и это неважно, и, уезжая, я сожгу его или, может быть, подарю консьержке. Мы любим эти вещи, как любите их вы, но для вас они — все, а для нас — ничто. Как игрушки — сначала с ними играешь, потом выбрасываешь. Все неважно — кроме будущего. Поэтому мне и не страшно.

Он встал.

— Мы достаточно поговорили, теперь тебе лучше уйти, — сказал он, направляясь к ней в надежде, что она тоже встанет, и он отберет у нее этот дурацкий пистолет, лежащий на ручке кресла. Но она в который раз покачала головой, и инстинкт подсказал ему, что не стоит и пытаться, иначе результат будет тем же, как если бы он попытался отнять у собаки облюбованную кость. Он не очень-то беспокоился, что она застрелит его, тем более что она, скорее всего, все равно промахнется. Но в интересах Службы было избежать скандала, поэтому ему не оставалось ничего другого, кроме как потакать ей, дожидаться, чтобы она пришла в нормальное состояние, и выпроводить за дверь. Он наполнил свой стакан и присел на край койки, размышляя, с чего начать. Но она опередила его:

— Что случилось с Леонтьевым?

Ему захотелось помечтать о Заполярье, о безмолвии необъятных заснеженных просторов, о ритмичных ударах топоров по стволам, словно в девственный лес слетелась стая огромных дятлов... Совсем неплохой вариант.

— Его вышлют, — безразлично ответил он.

— За что?

— Выяснилось, что он наделал гадостей перед отъездом — присвоил чужие деньги, донес полиции на невинных людей. Его жена покончила с собой от стыда.

Снова наступила тишина. Потом Хайди тихонько вздохнула и спросила странным, отчужденным голосом, холодным и жалостливым одновременно:

— Ты сам-то знаешь, когда лжешь, Федя, или уже нет?

Федя ни разу в жизни не бил женщин по лицу, но в эту минуту был ближе к этому, чем когда-либо раньше. Его удержал не ее идиотский пистолет, а необходимость избежать скандала. Избежать во что бы то ни стало! Он собрал в кулак все свое терпение и самодисциплину для последней попытки привести ее в чувство. Он постарался, чтобы его голос звучал как можно мягче, — и уже после первых слов успокоился сам и даже почувствовал нечто вроде жалости к этой несчастной девушке с толстыми ногами.

— Послушай, пожалуйста, — говорил он. — Мы обсуждали это и раньше. Тебе не нравятся наши научные опыты на людях, подобные павловским. Тебе не нравится революционная бдительность, списки социально благонадежных, дисциплина, исправительные лагеря. Ты считаешь меня смехотворным, некультурным грубияном. Тогда почему тебе так нравилось заниматься со мной любовью?...

...Та часть сознания Хайди, которая вела себя, подобно стороннему наблюдателю, отметила неподдельную искренность Фединоного тона. Помимо этого, она зафиксировала в нем тихое отступление, словно он расстался с долго лелеянной надеждой, словно в нем лопнула важная пружина; кроме того, в результате столь долгого сидения на одном месте с неестественно выпрямленной спиной у нее чудовищно затекли ноги.

Федя тем временем продолжал:

— ...Конечно, в моей стране происходит немало отвратительного. Неужели ты считаешь, что я этого не знаю? Знаю, знаю лучше, чем ты. Но что проку от сентиментальности? Она не помогает, а только совращает. И разве через сотню лет хоть кто-нибудь вспомнит о том, что сегодня выглядит отвратительно? Такие вещи происходили во все времена. Зато через сто лет ничего этого не будет — одно всемирное бесклассовое государство свободных людей. Не будет больше ни войн, ни детей, рождающихся в черном городе с огромными животами и залепленными мухами глазами. Не будет и детей буржуазии с изуродованным разлагающимся обществом характером... Вот ты несчастна. Почему ты несчастна? Почему ты все время тоскуешь по монастырю? Потому что ни родители, ни учителя не смогли предложить тебе ничего взамен всех этих суеверий. В вашем мире все несчастны. Все здесь поражено несчастьем. Поэтому этот мир должен быть спален дотла, подобно пропитанной заразой трущобе, на месте которой будет возведен новый дом. Через сто лет у человечества будет новый дом — чистый, здоровый. Но для этого нам надо бороться и побеждать, борьба же всегда отвратительна... Вот я некрасив, но тебя влекло ко мне, потому что ты знаешь, что мы выиграем, что для нас это только начало, — вы же проиграете, потому что достигли края. Ты чувствуешь это, потому что знаешь, что у нас есть план, у вас же нет ни своего плана, ни чего-то такого, что можно было бы противопоставить нашему... Поэтому я и не боюсь твоего пистолетика: тебе не хватит отваги, чтобы выстрелить в меня. Чтобы убивать, надо верить. Будь ты беременна, ты, может быть, смогла бы меня убить. Но ты не сможешь сделать этого из-за какой-то политики, из-за идеологии, потому что у тебя всего этого нет. Поэтому я могу убивать, а ты не можешь...

Он осекся, сообразив, что несет совсем не то, что собирался сказать. Он услышал голос Хайди:

— Почему тебе так хочется, чтобы я тебя убила?

Он уставился на нее ничего не понимающим взглядом. Ее рука легла на пистолет, выражение лица изменилось: она выглядела так, словно только что очнулась от сна. Она протиснулась со сторонним наблюдателем. Сцена переместилась с глубокого дна на поверхность, в комнате уже не царила тишина, она слышала свое и его дыхание, голоса сделались скрипучими; ее сердце снова тяжело ухало в грудной клетке, ноги снова пронзали бесчисленные иголки. Прикосновение к пистолету придало ей храбрости, спрятанная в нем сила перетекла в ее руку, и снова что-то внутри подсказало ей: «Сейчас».

— О, Федя... — прошептала она и нажала на курок, думая: «Сейчас, не в гневе». Но ничего не произошло: она забыла снять предохранитель. Пока она судорожно исправляла оплошность, Федя прыгнул, и пуля настигла его в полете. Оглушенный выстрелом и предсмертной болью, он свалился, подобно огромной набитой соломой кукле, у самого ее кресла. Высвободив из-под тела ноги, она захромала к двери, морщась от тысяч уколов.

Оказавшись на лестничной площадке, она вызвала лифт. Сначала стояла тишина, но потом кабина лифта отозвалась на ее зов и поползла вверх, издавая знакомый пронзительный писк. Она дожидалась ее, ни о чем не думая.

Проходя мимо конуры консьержки, она заметила табличку: «Вышла. Буду через 10 минут». Жуткий котище мадам Бушон потерял спиной об ее ноги, бесстыдно задирая лохматый хвост. Она окликнула такси и назвала шоферу свой адрес. В машине у нее разболелась голова, и она вспомнила об отце и поняла, что с радостью вытерпела бы любую пытку, лишь бы исправить уже совершенную ошибку. Однако еще через мгновение она почувствовала себя необыкновенно счастливой от сознания, что совершила единственный осмысленный поступок в жизни. Эта уверенность моментально улетучилась, словно ее и не было, и она снова погрузилась в бездонное отчаяние, какое, казалось, не в силах вместить человеческая душа.

## **Х Похороны мсье Анатоля**

Мсье Анатолий изъявил желание, чтобы его похоронный кортеж состоял только из конных экипажей. «Мне уже не нужно будет спешить, — начертал он в примечании к завещанию, — так зачем спешить остальным? Я хочу, чтобы гости на моем последнем приеме, где им наконец-то представится возможность поболтать, не вынуждая меня со скукой внимать их болтовне, были избавлены от бессердечного таракания двигателей внутреннего сгорания, работающих на низкой передаче, и наслаждались вместо этого видом и запахом лошадок с украшенными черными перьями и лентами гривами». Однако он не преминул присовокупить, что «...данное пожелание не следует интерпретировать как реакционный жест, ибо, веря в идею преемственности, я принимаю автомобиль как необходимую, хотя и дурно пахнущую колесницу Прогресса. Однако похоронная процессия — не очень подходящее место для торжества скорости и целесообразности, а извержение конского кишечника станет более достойным салютом в честь моего гроба, нежели хлопки захлебывающегося глушителя».

Ввиду этого, солнечным февральским утром 19... года от Рождества Христова, отмеченным первыми признаками близкой весны и неподтвержденными слухами о десанте парашютистов в долине Роны и нескольких портах на Ла-Манше, длинная процессия экипажей, влеконых лошадьми, двинулась от набережной Вольтера к кладбищу Пер-Лашез. В голове колонны помещался роскошный катафалк с гробом, огражденным толстым стеклом, заваленный горами венков и цветов и напоминающий теплицу на колесах. В глубине всей этой тропической растительности ехало в последний путь крохотное иссушенное тельце мсье Анатоля с черной ермолкой на макушке, белыми бровями и желтой козлиной бородкой, все так же делающего своего усопшего обладателя похожим на хитрющего лемура; губы покойника навечно застыли в удивленной улыбке, с которой он произнес свои знаменитые последние слова: «Quelle surprise...» 25.

Слова эти последовали после того, как он, судя по всем признакам, перестал дышать;



мадемуазель Агнес уже держала у его губ традиционное зеркальце, когда его глаза на секунду открылись и тут же снова захлопнулись. Вопрос о том, какую неожиданность имел в виду мсье Анатоль, вызывал горячие споры: одни утверждали, что он очень удивился, увидев в столь критический момент собственное отражение в зеркале; другие, в том числе близкие друзья, доказывали, что он все подготовил заранее и выбрал именно такие последние слова, потому что они просты, годятся для цитаты и бесконечно загадочны; третьи настаивали на более мистическом и оптимистичном объяснении.

Последнее суждение доминировало среди гостей на похоронах, которые, обезумев от тревожных слухов, отчаянно нуждались в мистическом утешении. Большинство из них захватили свои противорадиационные зонтики, на какое-то время вышедшие из моды, и скромно составили их рядом с козлами; время от времени кто-нибудь из литераторов, увенчанный цилиндром, бросал взгляд на счетчик Гейгера, болтающийся на запястье, делая вид, что засек время, требующееся для поездки через весь Париж на конской тяге. Дамы, как водится, беспокоились меньше, будучи не в состоянии осознать опасности, никак не фиксируемой органами чувств, и были в гораздо большей степени заняты присутствием фотографов и газетчиков, высыпающих на набережные. Несомненно, похороны мсье Анатоля превратились в красочное событие, отчеты о котором займут подобающее место в газетах — если им суждено выйти.

Процессия проследовала по набережным Левого берега — мимо Академии, так и не избравшей мсье Анатоля своим членом; мимо Дворца правосудия, где его приговорили к шестимесячному заключению за распространение пацифистских листовок во время Первой мировой; мимо ресторана «Золотая капля», где он, тратя совсем немного денег и получая массу удовольствия, заработал цирроз печени; мимо длинных рядов букинистов, где он покупал свои первые книги, старые атласы и гравюры, изображающие молоденьких дамочек с мягкими ягодицами и розовыми грудями; мимо Латинского квартала с его людными бистро, пресыщенными студентами, ленивыми котами и скромными гостиницами, где он полвека назад положил начало заболеванию простаты, которому предстояло свести его в могилу; мимо Малого моста, по которому, перешагнув через Сену, пролегла дорога из Рима во Фландрию, обручившая Север со Средиземноморьем и давшая жизнь уникальной цивилизации картезианских гедонистов, последним ярко выраженным отпрыском коей и был, по всей видимости, мсье Анатоль. Четыре черные лошадки, влекущие за собой катафалк, брели себе вперед, потряхивая головами; их гнедые сородичи, радостно откликаясь на поднимаемый ими переполох, регулярно освобождали прямую кишку от шариков правильной формы, окрашенных в нежный медовый цвет. Воробьи, мерзнувшие на голых ветках, торопились на изысканное пиршество, пока навоз еще дымился в лучах морозного солнца; литераторы с безупречно выпрямленными спинами, в цилиндрах, восседали в экипажах, непрерывно снимая и снова натягивая черные перчатки. Однако истинное испытание началось тогда, когда сразу после Нотр-Дам гладкий асфальт уступил место бульжнику; колеса закрипели, конские копыта стали выбивать искры, и экипажи затряслись мелкой дрожью, окутавшись облачками пыли, пахнущей застарелыми духами и потрескавшейся кожей сидений и сбруи.

Проделав немалый путь вдоль Сены, кортеж свернул на бульвар Генриха IV и торжественно двинулся к площади Бастилии. Проезжая мимо Июльской колонны, воздвигнутой на месте древней темницы, полковник и Хайди, не сговариваясь, вспомнили фейерверк, который они наблюдали с балкона мсье Анатоля в День Бастилии чуть больше полугода назад. Именно тогда было положено начало трагикомическому приключению, первым звонком которого стало случайное соприкосновение голого локтя Хайди и Фединоного носа. Она увидела, словно наяву, струйку крови, кажущуюся пурпурно-алой в отблеске вращающихся огненных колес.

— Теперь все кончено, — произнес полковник, не глядя на нее и стесняясь присутствия в их экипаже молодого американца, Альберта П. Дженкинса-младшего, откомандированного для занятия воинскими кладбищами и превратившегося в частого гостя мсье Анатоля.

Однако и Хайди, и ее отцу было прекрасно известно что ничего не кончено, да и не может быть кончено. Завтра они отправятся домой в стремительном «Клиппере», как и предсказывал Комманш, но совсем по иной причине: от ставка полковника была принята, и им не оставалось ничего другого кроме как быстро и незаметно исчезнуть со сцены. Начальство обошлось с ним по-божески и предложило ему новую работу в Вашингтоне; все вели себя настолько благопристойно и деликатно,

что это казалось даже унижительным. Если бы ей удалось на самом деле прикончить Федю, а не просто загубить все дело, ранив его в пах, им бы не пришлось так торопиться, и во всем этом был бы хоть какой-то смысл. Вышел же всего-навсего неприятный инцидент, к которому и ведомство Комманша, и посольство Содружества — правда, по разным причинам — предпочли отнестись просто как выходке истеричной ревнивицы, недостойной внимания полиции и общественности. Не было ни следствия, ни отклика в прессе, ни расспросов; Федю мгновенно переправили домой, а теперь предстояло отправляться восвояси и Хайди с отцом, после чего всем останется облегченно вздохнуть, словно ничего не произошло. Гибель Феде сулила бы конец карьере отца, она же переместилась бы в тюремную камеру, где дожидалась бы сейчас суда; однако в этом был бы хоть какой-то смысл, хотя и по другой шкале ценностей. Теперь же, после жалчайшего провала, ей был навечно закрыт путь в высшие сферы, где обитает вдохновение; вместо этого она была навсегда обречена влечь тусклое существование в стеклянной клетке.

— Теперь все кончено, — повторил полковник. — Послезавтра мы снова будем дома... Я подумал, что ты, возможно, захочешь поработать.

— Я тоже об этом подумала. Я рада, что ты так считаешь.

Процессия углубилась в Сент-Антуанское предместье, и перед ее глазами в ностальгической агонии расставания поплыли уличные сцены: старые домики, каждый из которых хранит свой запах и свою тайну, деревья в серебристой наготе, консьержки в шлепанцах, выглядывающие из дверей под длинными балконами с закопченными стальными перилами — уникальная смесь средиземноморской праздности и северного прилежания и бережливости. Если бы мсье Анато ль, возглавлявший кортеж в своем тепличном катафалке, был способен еще что-нибудь чувствовать, то и у него сдавило бы сердце от горечи расставания. Деревья, лавки, лишайные кошки, бедные забегаловки — все вокруг уже было отмечено печатью нереальности, словно настоящее было всего-навсего воспоминанием, вызванным тоской, которая закрадется в душу уже послезавтра, как только самолет коснется посадочной полосы в аэропорту города Вашингтона, федеральный округ Колумбия.

На подступах к площади Нации процессия была вынуждена остановиться, так как от рабочих пригородов Белльвилль и Менилмонтан двигалась мощная манифестация. Люди шагали рядами по шесть-восемь человек, крайними в которых неизменно были молодые люди и девушки с короткими волосами и горящими глазами, в гуще же народа попадались и суровые личности в топорщащейся одежде, под которой вполне могли находиться обрезки труб, а то и ружья. Над их головами развевались ярко-красные транспаранты с лозунгами типа: «СМЕРТЬ ПОДЖИГАТЕЛЯМ ВОЙНЫ!», «ДА ЗДРАВСТВУЕТ АРМИЯ СОДРУЖЕСТВА — АРМИЯ МИРА!», «РАБОЧИЕ ПАРИЖА ПРИВЕТСТВУЮТ СВОИХ ОСВОБОДИТЕЛЕЙ!» и тому подобное. На некоторых плакатах красовались изображения лидеров правительства, вздернутых на виселицу; с других глядела улыбающаяся физиономия почившего Отца Народов, обнимающего за плечи своего наследника; были также красные голубки мира, держащие в клювах серпы и молоты.

Из третьего по счету экипажа, считая от катафалка, за демонстрацией наблюдали издатель господин Турэн и литератор господин Плиссон. Турэн поставил свой зонтик рядом с кучером, зонтик же Плиссона стоял рядом с его ногой, и его черная перчатка возлежала на рукоятке. Лицо Плиссона было серым и сморщенным, он нервно постукивал каблуком о каблук и уже в который раз спрашивал мнение соседа о парашютистах.

— Сообщения противоречивые, — пожимал плечами Турэн. — В последнем сообщалось о подозрительном перемещении тумана вдоль Ла-Манша, но ведь так и должно быть в сезон туманов...

Лицо литератора сморщилось пуще прежнего.

— Как вы думаете, удостоверение личности на чужое имя — достаточная защита?

Турэн снова пожал плечами.

— Зачем оно вам? Они с вами ничего не сделают.

— Откуда я знаю? Я позволял пользоваться моим именем стольким комитетам и культурным организациям...

— Мой дорогой друг, если бы я был холостяком, как вы, не имеющим ни семьи, ни ответственности, то нисколько не тревожился бы. Только вот у меня жена, двое детей, младший только пошел в школу — не говоря уже об ответственности за крупнейшую вечернюю газету страны.

Он умолк, и они устались на демонстрантов, приближающихся по авеню Филиппа Августа. Основные ответвления толпы, намеревавшиеся направиться с площади к центру города по бульвару Дидро, бульвару Вольтера и улице Сент-Антуанского предместья, на которой застряла процессия, были отсечены конной полицией. Когда основная колонна выплеснулась на площадь, молодые люди, шедшие по краям, стали приветствовать полицейских смехом, свистом и криками. Офицер полиции поскакал к центру площади с явным намерением вступить с руководителями демонстрантов в переговоры, однако в его сторону полетели камни и осколки кирпичей, и он поспешно ретировался. При виде этого, демонстранты нарушили стройность рядов и запрудили площадь, которая тотчас превратилась в кипящий котел с людьми, потрясающими над головами транспарантами и перемещающимися по кругу, словно их увлекает водоворот. Время от времени из пульсирующей в центре массы отделялось щупальце из десятка-другого отчаянных голов, пытающихся задирать полицейских то одного, то другого кордона, но быстро спохватывающихся при виде оголенных шашек. Тем временем камни продолжали летать во всех направлениях; один из них разбил стекло катафалка, остановившегося как раз за спинами полицейских лошадей, перегородивших дорогу на Сент-Антуанское предместье, и мирно лег среди цветов на гроб мсье Анатоля. Сочтя, что это уже слишком, полицейские направили лошадей к центру площади, с видимым удовольствием обрушивая шашки плашмя на головы и плечи бегущих, не обращая внимания ни на возраст, ни на пол. Ядро демонстрации устремилось к горловине бульвара Дидро, так как тамошний кордон остался на месте; при приближении толпы лошади расступились, подобно створкам ворот, пропуская людей. Видимо, маневр был направлен на то, чтобы направить демонстрантов к центру города по самому длинному пути. Совсем скоро площадь опустела, если не считать нескольких раненых демонстрантов, которых полицейские, слегка поколотив, пошвыряли в «черные воронки» с решетчатыми окошками; кроме того, посреди площади лежала на спине лошадь, окруженная сострадающими ей полицейскими. Столкновение продолжалось не более пяти минут.

Мсье Плиссон вздохнул и поудобнее устроился на кожаном сиденье. Ни он, ни Турэн не снабдили сцену комментариями; литератор возобновил разговор на прерванном месте.

— Так что же вы собираетесь делать?

Турэн привычно пожал плечами.

— Мой любезный друг, при любых революциях и переворотах находятся идиоты, которые приносятся в жертву, как вон та лошадь. Главное — не оказаться в их числе.

— Но как это сделать?

Турэн подумал о своем домике в Марокко и двухмоторном самолетике, стоящем наготове в Виллакубле. Мадам Турэн настаивала на незамедлительном отъезде, но если и этот кризис окажется ложной тревогой, ему не избежать славы труса и всеобщего осмеяния. С другой стороны, если бы он ограничился отправкой в безопасное место жены и детей, то где гарантия, что самолет сможет вернуться за ним, и он не застрянет здесь? Что касается водного пути, то рискованным казался и этот вариант ввиду слухов о портах на Ла-Манше. Инстинкт подсказывал ему, что следует держаться всем вместе, однако весь кошмар заключался в том, что никто не мог сказать, когда именно принять роковое решение и бросить все — квартиру, мебель, работу, положение в обществе, — нажитое за долгие годы путем интриг, изворотливости и честного труда. Мальчику пять лет, девочке — семь; достаточно одной ошибки в расчетах — и они сгинут. А ведь есть еще Жозефина, французская пуделиха, которой на следующей неделе предстоит дать первый приплод. Ну как объяснишь эту дилемму такому болвану, как Плиссон? Его голос прозвучал жизнерадостно:

— На деле все всегда выходит не так плохо, как воображаешь. Не следует верить всем этим тенденциозным слухам о режиме Содружества. В конце концов, ведь были же они нашими союзниками в последней войне. Лично я никогда не потворствовал распространению жутких слухов, и, насколько хватало моего ограниченного влияния на политику газеты, мы всегда придерживались строгой объективности. Вам придется с этим согласиться...

Мсье Плиссон важно кивнул.

— Я тоже никогда напрямую не участвовал в политике и был готов принять новые веяния нашего времени в общественном развитии...

Оба немного помолчали, слегка смущаясь и робея, думая одну и ту же горькую думу о том, что в наши дни совершенно нельзя доверять ближнему. Турэн вздохнул.

— Полагаю, всегда остается возможность прийти к согласию, при условии, что удастся доказать свое стремление к искреннему сотрудничеству. Самое главное — любыми средствами избегать безответственных провокаций. Каковы бы ни были мотивы этих романтических порывов, расплачиваться за них придется всем.

Мсье Плиссон снова кивнул.

— Так было и в тот раз. Откровенно говоря, я даже тогда возражал против конспирации и насилия. Если оставить в стороне легенды, то результаты были до смешного незначительными, а страдания, причиненные ответными действиями, — огромными. Страна не вынесет еще одного кровопускания такого масштаба. На мой взгляд, единственное, о чем надо позаботиться, — это сохранение сущности нации.

Полиция дала кортежу сигнал отправляться, и процессия медленно тронулась с места. Беседа прервалась, и в голове Турэна вновь закипел спор — стоит ли бежать немедленно или лучше выждать, рискуя угодить в мышеловку. Доводы «за» и «против» распределились поровну, и в этом тупике неожиданно весомым началом казаться ожидаемое потомство Жозефины, грозя превратиться в ту последнюю соломинку, которая переломит спину верблюду. Слова Плиссона о сохранении сущности нации все еще звучали у него в ушах. Двое его детишек определенно были частью этой сущности; но почему бы не дождаться рождения щенят — события, которого они ждали с таким воодушевлением? Вполне приемлемый срок и не менее рациональный довод, чем любой другой. В конце концов, даже римляне составляли планы военных кампаний, наблюдая за полетом птиц и бросая через плечо овечью требуху...

Сразу за катафалком гроыхал экипаж Жюльена и отца Милле. Святой отец облачился по такому случаю в грубую сутану своего Ордена, которая, подчеркивая мощь его фигуры живописными складками, оказалась ему весьма к лицу, особенно во влекомом лошаадьми экипаже. Обширное сиденье святого отца и его просторное одеяние занимали три четверти скамеечки; на оставшейся четвертушке примостился Жюльен, забившийся в угол и тесно сжавший ноги. Проезжая через площадь, они могли понаблюдать за погрузкой раненого демонстранта в машину «скорой помощи» двумя мужчинами в форме. Пострадавший был юношей лет семнадцати; из его уха, рассеченного на две ровные половинки, сочилась густая кровь; он был без сознания — то ли от сотрясения мозга, то ли от пролома черепа. Отец Милле гневно фыркнул.

— Всякий раз, когда я вижу нашу полицию в действии, меня так и подмывает стать коммунистом, — посетовал он.

— А кем вас будет подмывать стать, когда вы увидите в действии полицию Содружества? — любопытствовал Жюльен.

— Либо жертвой, либо беглецом в крохотном оазисе. Мне понравилась ваша статья.

— Ваше представление об оазисе, видимо, отличается от моего.

— Поглядим, — сказал отец Милле. Прокатившись под ленивый перестук колес по авеню

Трон, процессия свернула влево, на бульвар Шаррон. В стеклянной стенке заворачивающего за угол катафалка стала ясно видна аккуратная дыра, от которой во все стороны разбежались извилистые трещины, напоминающие солнечные лучики на детском рисунке. Катафалк подпрыгнул на каком-то особенно выпирающем булыжнике, и стеклянная стенка лишилась еще одного куска, с мелодичным звоном расколовшегося на мелкие кусочки.

— На катафалках следовало бы применять небьющееся стекло, — заметил Жюльен.

— Исключительно своевременное соображение, — подхватил отец Милле. — Вам известно, что полиция совсем потеряла голову, да и правительство заодно с ней? Они арестовали мою

племянницу!

— Это еще за что?

— По всей видимости, у нее была интрижка с каким-то агентом Содружества. Если они арестуют всех остальных ослов, с которыми у нее были интрижки, я возрадуюсь, забыв, что я христианин. Не были ли и вы случайно в их числе?

— Нет. И несчастный Понтье не был. Его тоже арестовали.

— Это другое дело, — отвечивал отец Милле, неожиданно обретая серьезность и претензию на непогрешимость. — Он действительно оказывал пагубное воздействие на молодое поколение. В моих глазах он — символ того, как интеллект предает душу.

— Он просто умствующий идиот, — сказал Жюльен. — Разве его вина, что его принимали всерьез? Его это удивляло больше других. — Он улыбнулся. — Самое забавное во всей этой истории — то, что его жена всегда была честной, правоверной агенткой Содружества, о чем бедняга Понтье никогда не догадывался, и что она, разумеется, разгуливает на свободе.

— Скажите пожалуйста! — протянул потрясенный отец Милле. — Во времена кризиса они с неизменной последовательностью хватают не тех, кого следует.

— Вы все так же невинны, святой отец, — пожурил его Жюльен. — Разве они могли бы надеяться усидеть в своих креслах при новом режиме, если бы похватили восходящих звезд завтрашнего дня? Оглянитесь-ка на экипаж, следующий за нами...

В следующем за ними экипаже покачивались поэт Наварэн и физик — лорд Эдвардс. Когда полиция, обнажив шашки, налетела на демонстрантов, Эдвардс, ни разу в жизни не наблюдавший ничего похожего, побагровел от негодования.

— Пойдемте, зададим этим кровожадным свиньям! — воскликнул он и потянул поэта за рукав, уже заноса ногу над ступенькой.

Наварэну пришлось приложить все силы, чтобы усадить Геркулеса на место, ухватив его обеими руками за полы пиджака, поскольку чудовищных размеров башмак физика, высунувшись из-под пузырящейся полосатой брючины, уже навис над булыжниками. К счастью, шаткая подножка треснула, не выдержав его веса, и это решило дело, так как Эдвардс, потеряв равновесие, позволил втянуть себя обратно и, попыхтев немного, уgomонился. Потом, когда процессия возобновила движение, цоканье копыт и скрип колес окончательно успокоили его, и на авеню Трон он спросил изменившимся голосом:

— Что вы собираетесь делать?

Видя, что Наварэн пялится на него с бессмысленной улыбкой, он ворчливо пояснил:

— Если на вас нападут.

Поэт поднял брови, удивившись столь неуклюжей формулировке, которую позволяет себе англичанин, и ответил тоном взрослого, объясняющего ребенку, что Земля круглая:

— В случае конфликта, который может произойти только в результате провокации империалистов, долг каждого демократически мыслящего человека будет заключаться в том, чтобы оказать безоговорочную, решительную, безусловную поддержку Содружеству Свободолюбивых Народов.

— Гм, — буркнул Геркулес и некоторое время помалкивал, издавая неясные булькающие звуки; потом он неожиданно покрутил у лица Наварэна пальцем и пророкотал:

— Я называю это изменой!

Наварэн решил было, что неверно понял Эдвардса с его невообразимым французским.

— Прошу прощения?... — промямлил он с улыбочкой порочного херувима.

— Я называю это изменой! — прогремел голос Геркулеса-Расщепителя атомов, перекрыв скрип

колес; после этого он с глубоким удовлетворенным вздохом, освободившим его грудь от давно надоевшей тяжести, отодвинулся в угол и решил вновь поразмыслить на проклятую тему о расширении Вселенной, на этот раз в свете чисто математических доказательств.

Наварэн, пережив сперва некоторый шок, пришел к заключению, что единственной достойной реакцией на столь подлое и непредвиденное предательство будет гробовое молчание, коль скоро выбраться из катящегося экипажа все равно невозможно. Он отодвинулся от Эдвардса настолько, насколько позволило ограниченное пространство, сохраняя на лице застывшую улыбку. Внезапно ему вспомнилась давно забытая история. В первые годы революции тогдашнему Отцу Народов продемонстрировали газетную вырезку с сообщением о том, что во время всеобщей стачки в Великобритании полицейские и забастовщики провели футбольный матч, победа в котором досталась забастовщикам. Старый мудрый вождь немедленно заявил, что британцы — безнадежный народ с точки зрения мировой революции, и прекратил финансирование их партии...

Они и впрямь, размышлял поэт, безнадежный народ, вместе с остальными англосаксами и всеми протестантами в придачу. Новое вероисповедание может пустить прочные корни только там, где старые никогда не загнивали под влиянием пуританизма и Реформации, только в народах, привыкших к абсолютному, безусловному подчинению иерархии святой Церкви, римской или византийской, цель которой оправдывает все средства, выводящие на путь спасения. Вот чего никак не возьмут в толк ни чудачки вроде Эдвардса, ни глупые забастовщики, вышедшие на футбольный матч с полицейскими, ни тем более глупая полиция, позволившая забастовщикам нанести ей поражение. Не нация, а сборище чудачков, нонконформистов и еретиков, потомков архиеретика Генриха VIII. Если приглядеться, то Эдвардс со своей косматой гривой и выпирающим брюхом похож на него даже внешне.

Внезапно, в тот самый момент, когда трусящая впереди лошадка задрала хвост, на Наварэна снизошло озарение. Он напишет пьесу о Генрихе VIII с очевидными всем современными параллелями, показывающую, что именно еретическое отступничество этой похабной Синей Бороды, вызванное исключительно его мерзким многоженством, заложило основу всех трагических войн, выпадавших с тех самых пор на долю Европы. Чем больше Наварэн развивал свою мысль, тем больше она приходилась ему по душе. Это будет первая пьеса, которую поставят при новом режиме. Тема будет близка здоровым национальным чувствам, ибо возродит в памяти вторжения англичан во Францию, а это позволит не замечать многих деликатных проблем, порождаемых некоторыми аспектами новой ситуации...

Улыбаясь своей херувимской улыбкой, Наварэн ощутил нечто вроде благодарности к Эдвардсу, чья вспышка послужила причиной его вдохновения. Оставалось только сожалеть, что в будущем таких стимулов больше не будет.

Еще через два экипажа Комманш заканчивал втолковывать Жоржу де Сент-Иллеру причины своего ухода в отставку.

— Наконец-то я свободен, — говорил он. — Можно начинать все сначала, как в прошлый раз. Надеюсь, в вашей системе найдется для меня местечко.

Сент-Иллер кивнул, и они на некоторое время погрузились в обсуждение тайников, связи и других технических материй. У начала бульвара Менилмонтан процессии снова пришлось остановиться, ибо несколько мужчин в баскских беретах, вооруженных автоматическим оружием, принялись разбирать мостовую и возводить баррикаду. Завидя катафалк, они, однако, посторонились и даже вернули на место несколько булыжников, чтобы у участников процессии напрочь не вытрясло душу. Скрип и скрежет возобновились, а из стеклянной теплицы мсье Анатоля вывалилось еще несколько кусков.

— Наши ребята, — сказал Сент-Иллер. — Их немного, но палец им в рот не клади.

Он зевнул во весь рот.

— Самое забавное, — молвил Комманш, — что я тоже ощущаю смертельную скуку.

— Нечего и говорить, что наша скука порождена чувством вторичности, — сказал Сент-Иллер, чья манера говорить по мере приближения конкретных дел все больше утрачивала туманность. — Мы скучаем, заранее предвкушая похмелье после победы. Одна мысль о мемуарах, которые я тогда

напишу, бросает меня в дрожь.

— Победу можно изнасиловать всего один раз, — возразил Комманш. — Потом она уже не будет девственницей.

— Что до мемуаров, — продолжал Сент-Иллер, — они, разумеется, будут именоваться «Достоинство поступка» или «Вызов судьбе». Хорошо, детали обсудим позднее.

— Чего я никак не возьму в толк, — говорил отец Милле Жюльену, трясясь мимо нарождающейся баррикады, — это причины, заставляющие крепиться такого человека, как вы. Если вы не верите в трансцендентную справедливость, неминуемость кары и награды, то что же помогает вам не превратиться в оппортуниста, в отличие, например, от Турэна? В конце концов, если изъять из человеческого уравнения божественный фактор, то его позиция становится вполне разумной и логичной. Мне-то легко: я поставил все на Абсолют, так что мне не грозит ни скука, ни пресыщенность. Но продолжать сражаться и сотрясать воздух во имя каких-то иллюзорных относительных ценностей или просто меньшего зла кажется мне сколь замечательным, столь и тщетным занятием.

— Дорогой мой святой отец, — отвечал Жюльен, улыбаясь, — вы всегда будете в глубине души неисправимым поклонником тоталитарности. Ваша хитроумная диалектика наскучила мне не меньше, чем бредни Понтье, так что давайте называть вещи своими именами: вы хотите, чтобы я без сопротивления отказался от способности критиковать, «купил себе защиту», как выражаются громилы. Простите меня за резкость, но если бы мне пришлось выбирать между одним террористическим режимом, сулящим мне вечные проклятия за малейшее отклонение от догмы, и другим, грозящим всего лишь тридцатилетним заточением в исправительном лагере, я бы, не задумываясь, избрал второе. Находясь в Заполярье, ты всегда можешь надеяться на амнистию или смягчение режима, в вашей же системе то и другое исключено.

Отец Милле в нешуточной печали теребил шнурок рясы.

— Мне жаль вас, — сказал он со вздохом.

— Не беспокойтесь, достаточно той жалости, которую я испытываю сам к себе. Поверьте, не всегда легко побороть искушение заползти обратно в спасительное чрево, где тепло и уютно, погрузиться, как вы красиво называете это, в «чистейшую юдоль божественной купели». Уж поверьте мне, я всем сердцем завидую собратям по поколению и перу, обретающим к середине жизни истинную веру, как другие — язву желудка.

Отец Милле протестующе воздел руки, но Жюльен как ни в чем не бывало гнул свое:

— Не надо пугаться, ибо если все пережитое оставляет в нашем мозгу физические следы, вы можете рассматривать и свою веру, и любую другую просто как химический осадок. Порой ферменты веры оказывают отравляющее, порой — целительное воздействие, но все они не зависят от нашего разума; поэтому-то гомо сапиенс — шизофреник по складу ума. Увы, мой бедный Милле, ваше лечение в лучшем случае приводит к появлению безобидной категории психов, отправляющих свой занятный культ в специально отведенных углах палаты.

— Вы находитесь в более плачевном состоянии, чем я предполагал, Жюльен, — заключил отец Милле. — Если вы позволите и мне призвать на помощь грубость и химическую терминологию, то вся ваша система отравлена отсутствием Благодати.

— Вполне вероятно, — согласился Жюльен, только

*«Твое отсутствие — дыра, и появлению твоему ее не суждено закрыть»;*

*Твое отсутствие — что рана, и появление твоее не в силах исцелить».*

Я посвятил эти стихи одной девушке в ту пору, когда еще писал стихи, однако сейчас они

весьма кстати. Один английский мистик выразился по этому поводу еще лучше: «Видение Христа, явившегося тебе — величайший враг моему видению. У твоего — крючковатый нос, подобный твоему, у моего — курносый, подобный моему...».

Потухшая сигарета, прилипшая к губе Жюльена, указывавшая то вверх, то вниз, пока он разглагольствовал, указала на отца Милле, что означало конец тирады. Жюльен выкинул ее и сказал:

— Нет, дорогой Милле, ваше крючковатое решение мне и мне подобным кажется устаревшим. Те, над кем висит проклятие честности по отношению к самим себе, обречены на участь одиноких запаршивевших волков, которым негде согреться. Но давайте не будем столь сентиментальны. Полагаю, на земле всегда полным-полно одиноких волков во времена, подобные теперешним, когда цивилизация зависает между умирающим и только нарождающимся миром. Лучшее, на что можно надеяться в такой ситуации, — это создание нескольких оазисов.

— Боюсь, в этом слишком много аллегории и слишком мало от конструктивной программы. Если, говоря об оазисах, вы имеете в виду нечто вроде катакомб ранних христиан или средневековых монастырей, то учтите — у всех у них была и программа, и вероисповедание.

— Не думаю, чтобы кому-нибудь удалось предложить конструктивное решение в момент, когда история оказывается в подошве волны. Величайший гений — и тот не смог бы найти выхода из затруднительного положения, в котором оказалась Римская империя в пятом веке нашей эры. Программы не выпекаются в лаборатории; они бродят, подобно вину в бочках. Сдается мне, что ждать осталось недолго: скоро объявится новый фермент духа, столь же спонтанный и непобедимый, как раннее христианство или Ренессанс. Пока я не могу предложить никакой программы; что же касается ваших патентованных лекарств — нет, я их не беру.

Процессия все еще ползла по бульвару Менилмонтан, а вдали уже показалась мощная каменная ограда кладбища. Жюльен пошевелил негнущейся ногой.

— Ваш оазис будет уютным убежищем, — сказал отец Милле. — Он чем-то напоминает эскимосскую хижину из кусков льда, торчащую посреди ледяной пустыни.

— Как-то раз, — откликнулся Жюльен, — я нашел в букинистической лавке на набережной старое издание «Четок алхимика». Там сказано, что философский камень может быть найден только тогда, «когда ищущий не может не искать». Но там же говорится: «Тот, кто усиленно ищет, да не найдет. Возможно, отыщет тот, кто не ищет». Я бы выбил оба изречения на стене своего иглу.

— Пока что не вижу во всем этом большего смысла, — сказал отец Милле. — Вы так и не объяснили, чего ради становиться на чью-то сторону и постоянно во что-то вляпываться, вместо того, чтобы вести себя разумно, как Турэн. Если у вас нет опоры, то во имя чего вы бросаете ему обвинение?

— Тогда получайте третий афоризм для одиноких волков. Дорогой Милле, нам предстоит освоить утраченное искусство не винить никого, кроме себя. *Tout comprendre, c'est tout pardonner* <sup>26</sup> — расплывчатое соображение, ни к чему не приводящее, ибо автоматически включает все ваши поступки в категорию прощаемого. Правильнее было бы сказать: «*Tout comprendre — ne rien se pardonner*» <sup>27</sup>...

— Уже лучше, — сказал отец Милле. — Но все равно тягостно и самонадеянно.

— *Tout comprendre — ne rien se pardonner*, — повторил Жюльен. — Мне представляется, что этот афоризм устраняет сразу несколько извечных дилемм человеческого бытия. О деталях договоримся позднее, как обычно выражается наш друг Сент-Иллер.

Сразу за катафалком тащился экипаж мадемуазель Агнес и порнографа Дюпремона. На месте Дюпремона должен был восседать сын покойного, Гастон. Но распутный Гастон провел ночь с новой любовницей и так и не объявился поутру; поэтому в последний момент, когда процессии уже предстояло трогаться в скорбный путь, мадемуазель Агнес пригласила на его место Дюпремона, чья колесница никак не появлялась. Они абсолютно не подходили друг другу — пожилая старая дева,



напоминающая мотылька, и элегантный романист с тоненькими черными усиками и слегка косящими глазами; оба чувствовали себя не в своей тарелке и не знали, о чем говорить.

Наконец, когда процессия уже закладывала круг по площади Бастилии, Дюпремон сжалился и промямлил:

— Могу представить себе ваше состояние.

Ответ мадемуазель Агнес последовал без промедления:

— Нет, не можете. Я очень рада.

Дюпремон был ошарашен и, будучи человеком застенчивым, еще долго не знал, что сказать. Он вдруг сообразил, что за все долгие вечера, что он провел под гостеприимным кровом мсье Анатоля, ему почти никогда не доводилось слышать голоса мадемуазель Агнес. Во всяком случае, его свежее, чистое звучание оказалось для него приятной новостью.

Немного помолчав, мадемуазель Агнес сказала:

— Помните вечер, когда к нам заглянул господин Леонтьев?

— Помню, и даже очень хорошо.

— Помните его слова о новой секте?

— Помню, — сказал Дюпремон с замиранием сердца.

— Он говорил, что члены секты верят, что, стоит людям избавиться от страха, как рухнут любые формы тирании. Страх же не ведают лишь те, кто лишился всего. Еще он говорил, что их вера гласит, что человек, привязанный к жене или к родителям, вечно трясется, как бы с ними чего-нибудь не стряслось; значит, их надобно оставить, подобно Иисусу, бросившему в Кане свою мать... Я нашла эти слова весьма разумными.

Дюпремон потрогал тонкую полоску над губой, ставшую влажной от его учащенного дыхания.

— Я тоже так подумал, — признался он.

— ...Но мне не хватило сил оставить отца. Теперь же я свободна, — заключила мадемуазель Агнес, зардевшаяся так, как может зардеться мотылек.

Переполнившись необузданным внутренним волнением, знакомым застенчивым натурам, Дюпремон подумал о том, сколько сюрпризов таит этот мир даже для немолодого порнографа, ищущего свой путь в Дамаск. Он уже давно догадывался, хотя и не торопился сознаться в этом самому себе, что отец Милле сыграл с ним недобрую шутку; попытаться указать людям дорогу к спасению, пролегающую через биде, было, возможно, хитроумной затеей, но он чувствовал растущее разочарование. С того самого вечера, когда Леонтьев весьма фрагментарно и по-солдафонски изложил основы верования секты «Бесстрашные Страдальцы», он чувствовал, что в этом есть, по крайней мере, какое-то мистическое вдохновение и целесообразность — не говоря уже об остром любопытстве, которое вызывали у него любые способы самобичевания и насильственного смирения плоти. Но Леонтьев исчез; Дюпремону не хватило решительности и самоуверенности, чтобы отыскать его следы, а потом было уже слишком поздно. Лишь сегодня утром, когда поползли первые слухи о парашютистах и тумане над Ла-Маншем, Дюпремону пришло в голову, что в столь безнадежной борьбе методы таинственной секты оказались бы не менее эффективными, чем любые другие. Теперь же, благодаря постыдному отсутствию распутного Гастона на похоронах собственного родителя, он, наконец, нащупал связь, которой ему так не доставало. Вне всякого сомнения, мадемуазель Агнес состояла в контакте с местным ответвлением секты: — если, конечно, таковое существовало в природе.

— Я знала, что вы тоже заинтересовались этим, — сказала мадемуазель Агнес.

— Откуда же? — любопытствовал Дюпремон, обтирая взмокший лоб шелковым платочком.

— Знала.

У нее был непререкаемый тон больничной медсестры. Очевидно, подумал Дюпремон, у секты есть свои источники информации; возможно, она весьма многочисленна, ее невидимые наблюдатели

кишат повсюду. А вдруг мадемуазель Агнес, бесцветная фигура, напоминающая бесплотную тень, — одна из праведниц Израилевых, ради которых Господь был готов пощадить Содом? Она несла свой крест самоотверженно, не задавая вопросов, хотя многие стали бы утверждать, что ее самопожертвование объясняется чрезмерной привязанностью; однако это было несущественно, ибо мотивы не имеют отношения к проблеме подлинных ценностей.

Каков же должен быть его следующий шаг? Он не посмел задать ей прямого вопроса, ибо это нарушило бы этикет конспирации; правильнее всего было бы терпеливо дожидаться, пока к нему придут. Его взгляд случайно скользнул по рукам мадемуазель Агнес, которые она держала сложенными на коленях. Руки были обтянуты черными перчатками без пальцев, какие Дюпремон видел у незамужних тетушек во времена своей молодости; безымянный палец левой руки был заклеен пластырем. Ему показалось, что в последнее время ему попадается много людей с пластырем на пальце; вдруг это тайный знак?

А может, все это фантазия, игра воображения?... Когда же ему откроется истина?

Мадемуазель Агнес, заметившая, видимо, его напряженный взгляд, убрала левую руку с колена.

— Как бы то ни было, — сказала она с едва заметной улыбкой мотылька, — остается надеяться, что путешествие господина Леонтьева, несмотря на столь трагический конец, оказалось не напрасным.

Завидя с пустынного бульвара Менилмонтан стены кладбища, лошади, впряженные в катафалк, ускорили шаг. То ли кладбищенский запах был для них столь же заманчивым, как запах родного стойла для их соплеменников, несущих иную службу, то ли их просто напугала необычная безлюдность улицы; во всяком случае, они неожиданно перешли на резвую рысь, вовсе не подобающую похоронной процессии. Стремясь привести их в чувство, ливрейный кучер изо всех сил натянул поводья, приняв позу гребца, заканчивающего гонку, в то время как катафалк ежесекундно терял все новые кусочки стекла, мелодично звякавшие о мостовую, внося высокую ноту в низкий грохот колес.

Хозяева окрестных лавок закрывали ставни; из окон квартир доносилось шуршанье опускаемых жалюзи; консьержки затворяли тяжелые двери, успев подозрительно взглянуть на небеса, где плыли два-три облачка; на тротуарах остались одни домохозяйки, торопящиеся домой с провизией, рискуя потерять торчащие из сумок длинные батоны. Переполнены были только быстро в угловых домах, где все посетители жались к прилавкам, словно в ожидании смерча. Небо, однако, оставалось ясным и прозрачным, и бледное февральское солнце освещало всего несколько напоминающих очертаниями перья авторучки низко летящих облачков, привлекавших пристальное внимание посетителей быстро и даже участников похоронной процессии, высовывающихся из экипажей, рискуя вывихнуть шею.

Хайди была слишком погружена в собственные мысли, чтобы заметить перемену атмосферы на улице, полковник же нарочито не обращал на происходящее ни малейшего внимания. Он снова думал о том, насколько забота о чистоте собственной совести может делать человека слепым и глухим к заботам остальных — ведь Хайди даже не удосужилась спросить его о списке французов, подлежащих эвакуации в рамках операции «Воздушный Ноев конвой». Список не давал ему ни минуты покоя на протяжении последних шести месяцев: выбрать кого-то одного значило обречь на смерть кого-то другого, и он ощущал себя в шкуре Иосифа Флавия, получившего от Тита дозволение снять с крестов семьдесят счастливчиков из семи тысяч защитников Иерусалима, распятых под городскими стенами. Полковник ощущал трусливую радость при мысли, что теперь с него снята эта ответственность; кроме того, весь проект был обращен теперь в ничто, ибо эвакуировать семьи отобранных мужчин все равно не было возможности, мужчины же отказывались улетать без семей. Но за все эти месяцы Хайди ни разу не спросила его о списках — настолько была занята выкарабкиванием из одной ямы и проваливанием в следующие, как того требовала абсурдная мелодрама, в которой она отвела себе главную роль. Как могла не прийти в ее умную головку мысль, что американской девушке не суждено сыграть роль мученицы? Среди женщин Америки не нашлось

своих Орлеанских дев, Крупских, Роз Люксембург, Флоренс Найтингейл <sup>28</sup>. Наверное, они отдают слишком много времени писанию статей в профсоюзные газеты и игре в бридж; возможно, все дело в том, что они получили равные права без ожесточенной борьбы, и им не хватает соревновательного инстинкта. Надо будет хорошенько обдумать это; теперь же его бедная девочка грызет себя за то, что не может пройтись с Брутом по Елисейским полям.

В экипаже воцарилось до того гнетущая тишина, что полковник обернулся к Альберту П. Дженкинсу-младшему, который, примостившись на откидном сиденье напротив Хайди, впитывал мельчайшие детали проплывающих мимо уличных сцен, как и подобает полевому антропологу.

— Какова судьба проекта воинских кладбищ? — спросил его полковник.

— Его больше нет, — ответил Дженкинс. — Некоторое время назад мне поручен другой проект.

— Какой же теперь?

— Исследование способов ухода среди городского и сельского населения Франции, в зависимости от социальной принадлежности и географического региона.

Полковник криво усмехнулся.

— Наиболее срочная задача на сегодняшний день? Дженкинс снял очки и принялся задумчиво протирать их.

— Она довольно важна, сэр. В прошлый раз одной из наиболее серьезных причин трений между нашими войсками и местным населением было незнание последними способов ухода, принятых во Франции. Второй по значению причиной было незнание традиций питания. Проведенные нами опросы показывают, что недобрые чувства, порождаемые трениями подобного рода, могут возыметь решающее политическое значение, и у восьмидесяти процентов опрошенных французских подданных это недоброе чувство перевесило признательность за оказанную им военную и экономическую помощь.

— И вы думаете, что в армии следовало бы ввести курсы по обучению французскому уходу для всего личного состава?

— Да, сэр, — отвечал Дженкинс, сдувая пылинки с очков. — Подобные курсы могли бы оказать благотворное воздействие при некоторых случаях утомления в ходе боевых действий.

Катафалк проследовал кладбищенские ворота, и лошади, почувствовав себя, на широкой каштановой аллее, в окружении гранитных и мраморных обелисков, как дома, перешли на благородный шаг, прядая украшенными перьями головами и стараясь более не пачкать дорогу.

— Значение проекта, сэр, — продолжал Дженкинс-младший, — состоит в том, что, придя сюда в прошлый раз, мы не обладали надлежащими представлениями о способах ухода, традициях питания, политической структуре и идиосинкразических традициях местного населения. Эта неподготовленность была вызвана, главным образом, нашим ошибочным предположением, что Европа сможет организовать управление самостоятельно. Поскольку это предположение со всей очевидностью продемонстрировало свою несостоятельность, то стало очевидно, что на этот раз нам придется появиться здесь адекватно подготовленными к задаче интегрирования Европы в структуру, обеспечивающую длительную стабильность, а следовательно, исключаящую третий — простите, сэр, четвертый — мировой катаклизм.

— Боже, — не вытерпел полковник, — как вы можете говорить о присмотре за Европой, когда мы еще не научились присматривать сами за собой?

Дженкинс широко улыбнулся, продемонстрировав крупные зубы, несущие на себе, при всей неровности, печать тщательного ухода.

— Имеется немало аналогий, способных доказать, что недостаточный опыт в ведении собственных дел не является препятствием для того, чтобы эффективно справляться с чужими.

Полковник покачал головой.

— Послушать вас, так управление Европой становится под стать еще одному кладбищенскому проекту.

Дженкинс в последний раз протер очки, проверил результат своих усилий и заметил:

— Оба предмета, сэр, по-видимому, обладают внутренней логической связью.

Процессия въехала на кладбище через главные, южные ворота, выходящие на улицу Рокэтт. Перед самыми воротами, на углу узенькой улочки, носящей подходящее название — улица Отдохновения, в дверях кафе столпились несколько мастеровых, поглядывающих на небо. Они проводили безразличными взглядами потрепанный катафалк, из которого через пробоины в стекле уже вываливались цветы и прочая зелень, и снова задрали головы, дабы констатировать, что к облакам в форме перьев авторучки теперь прибавились белые продольные полосы пара. На их лицах испуг менялся сомнением, сомнение — ухмылкой недоверия; но в глубине их глазниц помимо их воли уже рождалось серое мерцание, напоминающее отблеск свечи в пещере. Вот так же, подумала Хайди, в 999 году от Рождества Христова пялились в небо средневековые толпы, ожидая Кометы.

Однако чем дальше они продвигались внутрь кладбища по направлению к монументу павшим, тем больше все, представавшее их взорам — от древних каштанов до каменных ангелов со сложенными крылами, преклоняющих колена перед семейными склепами, подтверждало правильность столь любезной сердцу мсье Анатоля идеи пре-емс-твен-ности. Следуя маршрутом, начертанным рукой самого мсье Анатоля, длинная процессия стала кружить по кладбищу, отдавая почести славе и безумию прошлого: мимо склепа Абеяра и его Элоизы, мимо могил Мольера и Лафонтена, Сары Бернар, маршала Нея, Бальзака, Виктора Гюго, мимо чужих почетных гостей — Уайлда и Гертруды Стайн. На пути высились монументы павшим в Первой и Второй мировых войнах, а также во франко-прусской войне; дальше шла голая, иссеченная пулями стена, к которой были выведены босыми для расстрела последние защитники Коммуны.

«...Оба предмета, сэр, по-видимому, обладают внутренней логической связью». О каких «предметах» говорил Альберт П. Дженкинс-младший? Хайди не прислушивалась к разговору, но последняя фраза почему-то привлекла ее внимание. По ее разумению, в глубокой связи с похоронами мсье Анатоля состояли лишь те, кто не принимал в них участия. Она вспомнила свою первую встречу с «Тремя воронами» в День Бастилии; с тех пор Борис сошел с ума, а Варди окончил дни на виселице после признания в намерении отравить водопровод. Лев Николаевич Леонтьев, Герой культуры и Радость Народа, валит теперь деревья в приполярном лесу, возможно, в том же лагере, где на вышке его караулит с автоматом наперевес Федя. Какое из пяти знакомых ей выражений принимает в такой момент Федино лицо, бледнеющее в темноте полярной ночи, — осторожный взгляд «с опущенными ставнями», сексуальный вид при воспоминании о долгих часах, проведенных в его квартирке на койке с племянницей отца Милле, или третье, четвертое, пятое?...

Те же, кто пока жив и свободен, всматриваются в небо, дожидаясь Кометы и страдая вожделением... Она снова вспомнила сестру Бутийю, стоящую на ведущей к пруду аллее, и жмурящуюся от ветра, который несет к ее ногам осенние листья. О, если бы она смогла вернуться к бесконечному покою отцов-исповедников и матерей-настоятельниц, к нерушимой иерархии, сулящей наказание и награду, справедливость и смысл! Если бы человеку дано было возвращаться назад! Однако над ней висело проклятие разума, отвергавшего все, способное утолить ее жажду и излечить от мук нетерпения; отвергавшего ответ, но не снимавшего проклятого вопроса. Ибо место Бога оставалось незанятым, и через весь мир тянуло промозглым сквозняком, как бывает в опустевшей квартире до вселения новых жильцов.

Когда процессия достигла назначенного места, завыли сирены. Гости повыскакивали из экипажей, проверяя счетчики Гейгера, судорожно раскрывая зонтики и нащупывая фальшивые удостоверения. Но, как ни выли сирены, никто не был уверен, что означает этот вой: то ли Конец света, то ли очередную репетицию воздушной тревоги.